

Сергей Георгиевич Кара-Мурза «Совок» вспоминает свою жизнь

www.kara-murza.ru

«Совок» вспоминает...»: Алгоритм; Москва; 2002

Аннотация

Сергей Кара-Мурза собрал в этой книжке свои воспоминания, начиная с военных лет, в которых глазами ребенка, а потом молодого и взрослого человека увидены некоторые стороны советского жизнеустройства. Такое лирическое восприятие не дает, конечно, целостной картины, но дополняет и оживляет объективное описание главных структур советской цивилизации.

Сергей Кара-Мурза

«Совок» вспоминает свою жизнь

Предисловие

Во всяком обществе всегда тлеет конфликт идеалов, интересов, вкусов, вдруг разгорается память о старых обидах. Трещины то углубляются, то заделываются совместными усилиями. Наше советское общество возникло в тяжелых «родовых травмах», а потом перенесло тяжелейший удар тотальной изнурительной войны. И усталости, и обид было много. Но мы бы эти раны залечили, не дали бы трещинам превратиться в пропасти. Не получилось — мощные силы были заинтересованы в том, чтобы растравить раны и обиды, превратить их в нашем воображении в чудовищные кошмары. Мы к этому яду были не готовы — и вот, народ наш расколот, дом распадается, а другого у нас нет и не будет.

Части нашего народа настолько ослеплены сегодня своими «истинами», что плохо слышат друг друга и не очень-то охотно вникают в логичные рассуждения и строгие доводы. И возникает сильное желание обратиться друг к другу — и к читателю — с самыми обыденными личными воспоминаниями. Рассказать о наблюдениях обычного «совка», жизнь которого не была отягощена особенными трагедиями, а радости и блага который получал «на общих основаниях». Чего-то побольше соседей, чего-то поменьше.

Эти воспоминания, конечно, лиричны — ведь вспоминаем мы в таком случае себя и своих близких, родных и друзей. Да и вообще хороших людей приходится встречать гораздо чаще, чем плохих — их и вспоминаешь. Поэтому каких-то сильных мыслей в таких книжках искать не приходится. Но, думаю, как общий фон для размышлений о нашей жизни могут они быть полезными. Все равно ведь придется нам наш дом как-то устраивать. Долго с чубайсами и грефами нам не протянуть, так давайте вспомним свою жизнь до раскола народа и до пожара в доме.

Революция и буржуазия

М.М.Пришвин писал в дневнике 16 июля 1917 г.: “Черты лица революции никто не видел, потому что никто не может забежать ей вперед. Те, кто мчится вместе с нею — ничего не могут сказать о ней. А те, мимо кого она проносится, тоже не видят, пыль, мусор и всякий поднятый хлам заслоняют от него свет. И революция, конечно, существо получеловеческое, полужвериное. Те, кто не мчится вместе с ней, видят только огромный, оставляющий после себя нечистоты, зад зверя”.

Это неправда. Даже те, кто не мчался вместе с революцией, в большинстве своем видели

не только нечистоты, оставляемые этим зверем. Ту запись Пришвин сделал в приступе пессимизма, видя, как иссякает импульс его любимой либеральной Февральской революции. Но в тяжелый момент после Октября, 14 декабря 1918 г. он написал так: «Анализировать каждую отдельную личность, и дела настоящего времени получаются дрянью, а в то же время чувствуешь, что под всем этим шевелится совесть народа». Именно это — дело совести народной — видели очень многие.

Официальная история советского периода сильно перегнула палку, представив его зарождение следствием *классового* конфликта между пролетариатом и буржуазией. Мне не встречалось каких-то количественных данных о том, какая часть русской буржуазии приняла революцию, а какая стала ее непримиримым врагом. Офицерство времен Первой мировой войны состояло, в основном, из молодежи средних буржуазных слоев — а оно раскололось примерно пополам. Значит, не просто «отдельные представители» буржуазии изменили своему классу.

Конечно, классовый конфликт имел место, а еще больше он был простым и удобным объяснением того, что происходило в России. Но из того, что нам уже доподлинно известно, следует, на мой взгляд, что этот конфликт никак не был главным. Не тут проходила линия фронта. Речь шла о выборе пути, а не о сведении счетов или «грабеже награбленного». И тот путь, к которому Россию толкнул Октябрь 1917 г., вовсе не был отвергнут всей русской буржуазией «как классом». Она раскололась, как офицерство. И та часть, которая приняла советский строй (пусть и скрепя сердце), вовсе не стала «врагом народа». Это было бы более правильным понятием, чем «классовый враг».

Сошлюсь на историю моих близких со стороны отца. Это, конечно, не научный аргумент. Но все же аргумент, потому что этих близких довольно много и они не обладают какой-то уникальной судьбой. Напротив, все в их жизни типично и никогда у меня не вызывало никакого удивления, а воспринималось как нечто естественное. Кстати, поэтому до сравнительно недавнего времени я и не интересовался социальной историей моих родственников. Знал ее приблизительно, и она мне казалась нормальной.

Бабушка моя, Марья Алексеевна Головкина, была из богатой купеческой и торговой семьи. Настолько богатой и видной, что у них был двухэтажный дом в Ипатьевском переулке — рядом с Кремлем (его снесли, когда строили здание ЦК КПСС). Она вышла замуж за моего деда, Сергея Георгиевича Кара-Мурзу, видного московского адвоката. Жили они в огромной квартире в доме «Россия» на Чистых прудах. Это был очень модный и дорогой дом в Москве. В начале века, до самой революции в их квартире по вторникам собирался литературный салон, о котором написано в воспоминаниях многих писателей и поэтов. Налицо все атрибуты большой семьи из высшего буржуазного общества. Что произошло с ней после революции?

Первым делом, произошло «уплотнение» — в квартиры буржуазии вселили пролетариев, военных и т.д. В дом моих родственников в Ипатьевском переулке сначала подселили семью латышского комиссара, а в 1923 г. всю семью «буржуев» выселили в барак за Рогожской заставой. Правда, у них было свое крылечко с улицы, и получилась маленькая квартирка. Это я уже так в детстве видел. Когда мы с сестрой и матерью вернулись осенью 1943 г. из эвакуации, мы иногда к ним ездили в гости (это называлось «к дядюшке Головкину»). Я это хорошо помню, потому что в их доме осталось много игрушек, и мне там подарили большой деревянный паровоз. Ехать приходилось долго, перебираться через пути, зимой в темноте, в метель — все это запоминалось.

Семья эта, говоря сухим языком, «приняла революцию» — никто не эмигрировал, никто не стал воевать за собственность. Уехали в барак и стали налаживать новую жизнь. В бараке к ним относились хорошо, мою двоюродную бабушку долго продолжали называть «барыня». В 60-е годы, когда началось большое жилищное строительство, им на общих основаниях дали хорошие квартиры.

Что же стало с молодым поколением семьи Головкиных? Их я уже помню хорошо. Никаких препятствий в получении образования и дальнейшем продвижении им не чинилось, и они прошли нормальный трудный советский путь. Один сын стал историком-архивистом, был начальником Государственного архива Туркменской ССР, писал книги. Его сестра училась в самом лучшем гуманитарном вузе СССР, ИФЛИ («лицей в Сокольниках»), но в 1941 г. пошла

на фронт, воевала офицером-зенитчицей, вернулась с орденами, закончила курс уже в МГУ (туда влили ИФЛИ) и стала искусствоведом, она и до сих пор работает. Когда у нее собирается по случаю какого-то семейного торжества многочисленная родня по линии Головкиных, то в ней представлен весь спектр профессий типичной советской интеллигенции.

К слову сказать, ради своего довольно-таки тупого антисоветизма Говорухин вкрапил в модную одно время книгу «Великая криминальная революция» самые незатейливые подтасовки. Вот одна: «75 лет назад в России произошел интеллектуальный переворот. Дети рабочих и крестьян получили право на достойное образование. Дети интеллигенции, духовенства, дворянства не могли поступать в вузы — требовалась справка о рабоче-крестьянском происхождении. Они прожили жизнь в темноте, в нищете...».

Эта обобщающая тирада — ложь самого низкого пошиба. Да, в СССР за счет рабочих и крестьян была *расширена* база интеллигенции, но старая-то в массе своей воспроизвелась. Да возьмите биографии нашего корпуса академиков — почти все они из «родовитой интеллигенции, духовенства, дворянства» — это историкам хорошо известно, да и каждый может эти биографии просмотреть. А вспомним перестроечную книгу «Зубр» — в какой «темноте и нищете» жил дворянин Тимофеев-Ресовский, которого к тому же послали стажироваться в Германию?

Теперь о судьбе моего деда и бабушки, Кара-Мурзы и Головкиной. Их тоже «уплотнили» — сначала в меньшую квартиру на Мясницкой, потом оставили им одну комнату, а остальные заселили людьми из подвалов. Не думаю, чтобы это им понравилось, но они посчитали это справедливым — вот в чем все дело. Теперь это была большая коммунальная квартира, семей на пять, у всех по комнате. Когда я бывал там ребенком, в этих комнатах жили уже, в основном, люди второго поколения, но и старики были. Нередко застолье и разговор в «нашей» комнате затягивались, и меня вели и укладывали спать у соседей — то у одних, то у других. Я там во всех комнатах спал. Везде люди были приветливы и относились к моим родным не просто с уважением, а и с любовью — и те к ним так же относились. Тут о классовой вражде говорить было бы просто нелепо, а ведь «объективно» она вполне могла возникнуть. «Уплотнение» — очень болезненная социальная операция. Кстати, я ребенком в обоих случаях вообще ничего не знал ни о «буржуазии», ни об «уплотнении». Никаких признаков этих заноз я просто не видел.

Скажу об образовании, о том, что «дети интеллигенции не могли поступать в вузы». Отец мой и его два брата нормально кончили вузы. Один брат, художник, учился во ВХУТЕМАСе, в мастерской Фаворского. Был профессором Полиграфического института, членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Никогда он не жил в «темноте и нищете», как теоретизирует Говорухин. Конечно, во время гражданской войны пришлось туго — но не из-за того, что отец был интеллигентом, а мать из крупной буржуазии. Всем было туго и, скорее всего, пролетариям было более туго, чем моим дядьям. Отец мой в 25 лет стал профессором МГУ, и «орабочиться» ему пришлось только для того, чтобы вступить в партию. И заключалось это в том, что он читал на подмосковном заводе лекции по истории культуры. Кстати, как рассказывала мать, это ему очень понравилось — советские рабочие тогда любили слушать такие лекции, С.Говорухин им еще мозги не загадил.

Наконец, младший брат отца, Алексей. Он тоже учился в ИФЛИ. Любопытно, что «по наследству» от старого, «буржуазного» литературного салона его комната на Мясницкой получила уже «комсомольских» поэтов. Они там собирались, и моя дядя был в центре этого кружка. Почти все они одновременно в 1937 г. и попали на Колыму. Дядю, правда, во время волны освобождения 1939 г. выпустили, и он вскоре пошел на фронт. Был он человеком умным и очень жестким. Можно было бы даже назвать его сталинистом — он стал им не из-за социального происхождения, а по зрелому размышлению.

В русской (Октябрьской) революции народ нашел способ предотвратить разделение на антагонистические классы, а после этого классовые различия все больше и больше смягчались. Правда, начиная с 60-х годов стали вновь нарастать различия сословные (между трудящимися и номенклатурой), но это — другая история.

Давайте немного остановимся на этой мысли Говорухина о том, что советская власть дала рабочим и крестьянам слишком большие льготы в образовании — в ущерб бывшим привилегированным сословиям. Эта нота очень сильна во всем антисоветском хоре. На мой

взгляд, она даже гораздо важнее, чем это кажется по силе ее звучания, в ней — скрытая причина ненависти к СССР. Скрытая потому, что даже те антисоветчики, у которых эта нота прорывается, ее стесняются — чувствуют, что здесь говорят их самые темные, позорные комплексы.

Представим себе, за что ненавидят советский строй люди типа Солженицына и Шафаревича (чубайсы и кохи — другая категория). Ведь, наверное, не за мелочи, не за ошибки и эксцессы, а за что-то главное — за фундаментальные принципы жизнеустройства. Эти принципы — не в идеологической кожуре марксизма и даже не в политическом устройстве. В принципе, мог существовать советский строй и при монархии, как оно почти и было в самый критический период (сталинизм). Эти принципы — в представлении о человеке, его правах и обязанностях. Что же так возмутило наших аристократов духа, что они посчитали делом жизни уничтожение этого строя? Допустим, Солженицына обидели, а он человек, судя по всему, злопамятный. Но Шафаревич был обласкан с юности, как множество таких же представителей элиты, возненавидевших советский строй.

Я долго думал над этим странным явлением, спрашивал всех, кто мог подать мысль. Многие, с кем я говорил, сошлись на том, что сильнее всего таких людей оскорбляло и угнетало как раз то, что при советском строе “хамы, кухаркины дети” пошли в университет. Хамы забыли свое место, смешались с духовной аристократией, растворили ее в себе, портили ее расу. Вряд ли кто-нибудь из них в таких комплексах признается, но мечты наших “белых патриотов” о монархии и возрождении сословного общества, выступления типа говорухинского косвенно это подтверждают.

На словах, думаю, каждый признает, что охранять свои сословные привилегии, затрудняя детям из других социальных групп доступ к образованию, подло. Но ведь советская власть лишь частично помогла детям рабочих и крестьян преодолеть тот громадный разрыв в “стартовых возможностях”, какой был у них по сравнению с детьми интеллигенции и имущих классов. Этот разрыв далеко еще не был преодолен, пробились лишь самые способные и упорные — через рабфаки, курсы и даже льготы. И даже это вызывает ненависть!

В детстве, после войны, я по уровню материального благосостояния мало отличался от моих сверстников — без отца, мать преподавательница техникума. Но я уже тогда видел, какими огромными преимуществами я обладал по сравнению с моими товарищами из рабочих семей. У меня дома была огромная библиотека, оставшаяся от отца. Я жил в атмосфере этих книг, энциклопедий, рукописей. Я жил в атмосфере разговоров моих родных — всех с высшим образованием, порой не с одним. В меня ежечасно, без труда, входили идеи, знания, символы, к которым мой сверстник из рабочей семьи должен был продираться с большим трудом, спотыкаясь, не имея впитанных с раннего детства навыков. Ему было трудно даже при формально одинаковом со мною доступе к знаниям. И вот за то, что советская власть проявила об этих детях небольшую дополнительную заботу — Говорухин ее проклинает. И после этого я должен считать его патриотом?

Кстати, тот факт, что сегодня энтузиастами школьной реформы, которая отделит большинство детей нашего народа от хорошего образования, являются как раз те, кто при Советской власти вышел из низов, не меняет дела. Очень часто именно тот, кто поднялся “из грязи да в князи”, становится самым подлым душеителем и угнетателем простонародья.

Каковы же «концептуальные» аргументы этого антисоветизма в связи с культурой? Вот, статья Н.Козловой, ст.н.с. Института философии АН СССР, в престижном академическом издании «Общественные науки и современность» (1991, № 2). Эта статья попала на глаза случайно, но таких статей тьма, и эта вполне представительна. В ней, в целом, отвергается все культурное строительство в СССР, советский тип образования и, в общем, тип советского образованного человека. Автор проводит, как он выражается, «культурно-антропологический анализ». Исходный тезис такой: «В 20-е годы культурный уровень общества в целом существенно понизился».

Статья содержит местами верные наблюдения и переполнена злобой — к чему? К тем, кого советская власть ввела в круг универсальной культуры: «Ветер революции вымел на поверхность исторической жизни множество людей, живших в мире связей личного типа, характерных для традиционных доиндустриальных обществ. Это — люди безъязыкие,

молчание „от дурости и угнетения“... О какой науке они мечтали — сказать трудно». Далее следует издевательский анекдот, мол, «страна мечтателей, страна героев». То ли дело на Западе, где все делалось правильно.

И опять верные наблюдения вперемешку со злобой: "В результате оказалась освобожденной архетипическая фантазия низов, которая выплеснулась из цивилизационных рамок и «разлилась» по поверхности общества... Открылись десятки университетов, появились новые тысячи научных работников. Организация образования для тех слоев, которые ранее были отчуждены от культуры, стала способом достижения всеобщего равенства... Новых, «красных» студентов отличал удивительно низкий уровень грамотности, результатом же стала деградация университетов...".

Подобную же селекцию производит и «демократ» С.Аверинцев: «Нельзя сказать, что среди этой новой получившейся среды, новосозданной среды научных работников и работников умственного труда совсем не оказалось людей с задатками интеллигентов. Мы знаем, что оказались. Но... единицы» («Независимая газета», 03.01.92).

За всем этим — ностальгия по мифической царской России с высоким культурным сообществом: "Вхождение в это сообщество требовало длительного систематического труда. Кроме того, существовал и действовал закон о кухаркиных детях". Странно еще, что советская философия не сожалеет о телесных наказаниях — и ведь наверняка считает себя демократкой.

Философский пафос этого антисоветизма, на мой взгляд, заключается в отрицании народной культуры в пользу культуры сословной, культуры для какого-то привилегированного меньшинства. Об этом различии двух видов искусства писал Георгий Свиридов в своих «Записках» в 1979 г.: «1) Народное — которое способно восприниматься нацией целиком и само адресовано народу/нации как целому. 2) Сословное искусство — адресуемое наднациональной элите, своего рода “сливкам общества” или, как их называл А. Блок, “подонкам общества”...».

Статья Н.Козловой примечательна тем, что в ней самым наглядным образом предстает раскол, который произошел в нашем народе. Мы как будто говорим на двух разных языках. Мне, например, кажется дикой сама идея, будто ликвидация неграмотности почти сотни миллионов человек совместима с формулой “общее снижение культурного уровня”. Дело в том, что Козловой интересно лишь то, что происходит в тонком слое элиты, а 85% населения, крестьяне, для нее как будто вообще не существуют. Как не существуют и миллионы жителей Азии.

Но поговорим сначала о русских. В середине 20-х годов резко снизилась младенческая смертность в России, которая в самом конце XIX века составляла 425 умерших на 1 тыс. родившихся. В результате средняя продолжительность жизни русских сразу подскочила на 12 лет. Это было достигнуто интенсивной культурно-просветительной работой. Врач и демограф С.А.Новосельский писал в 1916 г.: “Высокая детская смертность у православного, т.е. преимущественно русского населения состоит, помимо общеизвестных причин, в связи с деревенскими обычаями крайне рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка давать ему кроме материнского молока жеваный хлеб, кашу и т.п. Сравнительно низкая смертность магометан, живущих в общем в весьма антисанитарных условиях, зависит от обязательного грудного вскармливания детей в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Корана”¹. Замечу, что у мусульман в 1897 г. детская смертность составляла 166 на 1 тыс.

Так давайте определимся, считать ли отказ русских крестьян от привычки давать новорожденному ребенку жеваный хлеб, от чего умирала треть младенцев, положительным явлением культуры — или это к культуре отношения не имеет? Считать ли явлением культуры ликвидацию в 20-е годы массового детского (“бытового”) сифилиса, вызванного элементарным незнанием правил гигиены? Для Козловой это — ничто. А для меня — именно то, что выражается суконой формулой “общее повышение культурного уровня”. И оно могло быть достигнуто именно благодаря советскому строю, ибо в царской России слишком большая часть чиновников думала именно так, как философ-демократ Козлова.

Козлова с плохо скрытым злорадством говорит о низком уровне грамотности “красных” студентов. Допустим, низкий, не хочу спорить. Но разве он у них был ниже, чем у массы их старших братьев пять-шесть лет назад, когда эти братья и мечтать не могли об университете?

Ведь ясно, что благодаря рабфакам уровень грамотности и культуры у существенной части молодежи резко вырос. Почему же злорадство, почему это ставится в вину советскому строю? Хотелось бы мне проникнуть в душу таких людей и понять, почему явное улучшение жизни немалой части народа вызывает такую неприязнь. Фрейда бы на них напустить, покопаться в их подсознании.

Видимо, не знает г-жа Козлова, что “красные” студенты в ходе учебы и работы очень быстро повышали свой “уровень грамотности”, и из их среды вышли блестящие интеллигенты, в том числе гуманитарии. Начиная с некоторого порогового уровня знания главным фактором становятся природные способности и желание человека — при благоприятных социальных условиях. Это — обычное дело, все мы это наблюдали в вузах. Или даже такой тривиальной вещи не заметила г-жа Козлова в свои студенческие годы?

Но попробуем встать на элитарную точку зрения, с которой смотрит г-жа Козлова. Не будем о хлебной жамке и сифилисе. Что произошло с культурой в “высоком” смысле слова? Тут, грубо говоря, философ говорит неправду. В 20-е годы произошел взрыв, протуберанец культурной деятельности высокого накала. Видимо, философ не считает науку частью культуры, поэтому о становлении советской науки не будем, хотя во многих отношениях это было замечательное явление. Но как можно говорить о падении уровня, например, литературы! Это просто немыслимо. Окиньте взором свои книжные полки, посмотрите на даты. Маяковский и Пастернак, Есенин и Заболоцкий, Клюев и Васильев, Мандельштам и Ахматова — и так далее. В каком смысле можно сказать, что их стихи 20-х годов — низкого уровня? А ведь так безапелляционно заявляют, что люди просто не осмеливаются не поверить. О театре и кино говорить нечего — советские мастера были участниками ведущей мировой бригады, никто в этом не сомневался. Тогда же начинался расцвет нашей музыки. Откуда взялись Прокофьев, Шостакович, композиторы-песенники? Из 20-х годов. Или нас будут уверять, что в СССР всегда был низок уровень музыкальной культуры?

Считается, что по сравнению с другими видами высокой культуры тогда отстала живопись. Может, и отстала, но ведь никак не низок был ее уровень. У меня дядя был довольно известный художник, я интересовался книгами по искусству того времени. Общее мнение таково, что 20-е годы были очень важным и интересным периодом. Кстати, развитие всех видов искусства в немалой степени было подкреплено тем прозаическим обстоятельством, что на них вследствие появления массы “красных” студентов возник массовый спрос. Например, искусствоведы отмечают, что небывалый наплыв в 20-е годы посетителей в картинные галереи побудил правительство выделить довольно большие деньги на поддержку художников. Рынок не рынок, а общественная потребность — дело великое.

Конечно, революция — это катастрофа, в том числе для культуры. Кто-то погиб, кто-то эмигрировал, у кого-то опустились руки. Но надо же судить по главному признаку — вызвали ли действия главных сил революции разрыв непрерывности в развитии культуры или нет. Соединить старую культуру с революционной молодежью — дело очень непростое. И бесспорно, что в русской революции это удалось сделать в огромной степени. Это надо оценить и над этим задуматься. Посмотрите, господа, что творится сегодня, как легко и бездумно вы ломаете то, что строили наши отцы. Не только втаптываете в ничтожество миллионы честных людей, но и разрушаете, как вандалы, великие культурные ценности. Вам ли упрекать кого-то...

В советской культуре произошло то, чего до этого не наблюдалось нигде — культуру высокого, “университетского” типа открыли для массы трудящихся, их не стали отделять от элиты типом культуры. Это — именно то, о чем мечтали русские просветители, наши духовные наставники. Сегодня впервые в политической верхушке взят курс на разделение народа на классы по культурному признаку. Как раз в 20-е годы, когда обсуждалась школьная и культурная политика, началось это небывалое дело — снятие классовых различий через освоение единого мира символов и единого языка. Тот, кто жил на Западе, знает, что там об этом и помыслить невозможно.

Когда я начал писать этот раздел, именно обежал взглядом книжные полки, мои любимые книги, особенно издания 20-х годов, раз уж о них речь. Вот затрепанная, постоянно читаемая книга — переводы рассказов китайского писателя 17-го века Пу Сун-лина “Лисьи чары”. Это — одно из сокровищ великой китайской литературы, вещь исключительно тонкая. На Западе о ней

мало кто знает, это достояние рафинированной элиты. Только у Ивлиана Во один из его таких рафинированных персонажей берет в руки эту книгу — так автор подчеркивает исключительность этого героя.

В русскую культуру этот шедевр ввел “выдающийся советский знаток и исследователь китайской литературы” В.М.Алексеев (с 1918 г. профессор Петроградского университета, с 1929 — член АН СССР). “Лисьи чары” вышли в СССР в 1922 г., вторая часть собрания Пу Сун-лина “Монахи-волшебники” — в 1923, тиражом 5150 экз., с замечательным предисловием В.М.Алексеева, которое само по себе есть произведение высокой культуры. Эти книги сразу стали библиографической редкостью, и в 50-е годы их переиздали уже большими тиражами. А я помимо первых изданий, от отца, купил издание 1970 г., тиражом 50 тыс., которое тоже разошлось за несколько дней.

Наши философы-демократы ничего этого не видят. Почему? Я думаю, просто злоба застит им глаза, и они жизнь видят в чудовищно искаженном образе — недобром и несправедливом. Понятно, что после любой большой революции часть людей и их дети не могут принять новый порядок — не лежит душа, и все тут. Болят душевные раны, и тут уж логикой не возьмешь. Но если эти люди честны и благородны, то они не лезут со своими старыми ранами отравлять жизнь другим. Они даже в душе признают, что это неприятие у них — вещь сугубо личная, интимная. А если они по роду занятий и темперамента вынуждены обращаться к людям, то предупреждают их об этой своей личной антипатии, а в наблюдениях стараются быть объективными.

Пример — М.М.Пришвин, писатель и острый наблюдатель своего времени. На дух не терпел коммунистов и советскую власть, в своих дневниках не скрывал этого — но всегда при этом оговаривался, что никакая другая власть не вытащила бы Россию из ямы. 26 сентября 1921 г. записал в дневник очередной крик души: “Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она, такая и никакая другая, сдвинет Русь со своей мертвой точки, я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю”. А позже добавил: “Чувствую, однако, что философия моя как-то краешком и очень неудачно прицепляется к моему личному раздражению...”. Такую позицию можно уважать — человек покопался в себе и предупреждает, что его нелюбовь есть плод душевных мук, а не ума. А сейчас у нас в академических журналах, со всем авторитетом якобы научного знания вбрасывают в общество совершенно иррациональные утверждения — и хоть бы малейшая оговорка. Может, у них это не плод ни ума, ни души? Актеры на сдельной оплате?

Но это, конечно, неважно — антисоветская интеллигенция, независимо от личной внутренней мотивации каждого приняла вполне определенную философскую антропологию, представление о сущности человека и его правах. В этой философии “низшие чины” человечества как бы вообще не существуют. Во всяком случае, их самые простые, фундаментальные жизненные потребности ставятся несравненно ниже права элиты на духовный комфорт — а уж о пище или жилье элиты и речи нет. Ах, нас заставили жить в коммунальных квартирах!

Сам же Пришвин подметил эту установку еще до революции. Он писал о Мережковском: “Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим. В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:

— Накормите меня.

Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал:

— Падаль, падаль!

Это была, конечно, чисто философская “падаль”, то есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую — и пошло, пошло”.

Так вот, наши философы-демократы горазды рассуждать о бессмертии, но им претит разговор о хлебе насущном, о самом простом и прозаическом голоде людей.

Наконец, хочу обратить внимание еще на одну сторону проблемы. И Российская Империя, и СССР были большими *многонациональными* государствами. Об этом сейчас вообще стараются забыть, но как шло строительство культуры других, нерусских народов при советской власти? В принципе, это, на мой взгляд, просто заострение того вопроса, с которого

начали, потому что нынешние демократы и к русскому простонародью относятся как к иной расе, как к особым живучим индейцам, которые только-только догадались начать вымирать.

Мать моя из Семиречья, в детстве и юности навидалась, как жили простые казахи и киргизы — не баи и не муллы. И всю жизнь она с радостью замечала, как там меняется жизнь, как исчезает трахома, как здоровеют дети, какая подрастает красивая и тонкая интеллигенция. Я подрастал, а эти замечания мельком моей матери откладывались в памяти. Потом и друзья появились, и в университете, и в лаборатории из АН Таджикской ССР. Так что скажу немного о таджиках.

Сейчас об их культурной эволюции появилось довольно много литературы. Таджикистан стал острием атаки панисламистов, там возник необычный альянс демократической интеллигенции (“московских таджиков”) с радикальной молодежью из сословия ишанов (дервишей) — привилегированной исламской элиты, которая в 20-е годы организовала вооруженную борьбу против советской власти, потом нашла с ней компромисс и превратилась в местную советскую элиту. Теперь ее уговорили вновь взяться за оружие, и возникла небывалая химера — “демо-исламисты”, которые в начале 90-х годов привели к тяжелой и опасной гражданской войне. Она приобрела международный характер, получив базы в Афганистане, и возник объект интенсивных исследований. Их результаты поучительны.

Таджики — большой народ иранской группы, в 20-е годы в Туркестане и Бухаре их насчитывалось более 1,2 миллионов. Но они, окруженные узбеками, оказались под сильным давлением идеологии пантюркизма, так что даже малочисленная таджикская интеллигенция принимала идею “обузбечивания” и считала бесперспективным развитие своей культуры. Но в советской национальной политике, которая складывалась стихийно, из общих представлений о народе, не было курса на ассимиляцию. Проводить советские установки было очень трудно — в Средней Азии были популярны идеи Ататюрка о государстве-нации «по-тюрки», и этим идеям были привержены руководители узбекских коммунистов. Они считали, что сила региона зависит от его единства, а оно во многом укрепляется языковой общностью — и отвергали культурное обособление таджиков от тюрков. Под все это подводилось «научно-материалистическое» обоснование. Укрепление советской власти послужило тому, что таджикские интеллигенты стали преодолевать и пантюркизм, и джадидизм — течение либеральных модернизаторов, идущих в русле младотурок. Одним из первых таких таджиков был писатель Садриддин Айни.

В 1924 г. стал издаваться журнал “Голос таджикского бедняка”, орган обкома партии и исполкома Самарканда, потом еще два журнала. “Голос бедняка” стал, по сути, создавать историографию таджиков, которые до этого и не знали, что они таджики, не имели национального самосознания (“я — мусульманин, персоязычный”). Журнал стал печатать переводы выдержек из трудов русского востоковеда В.Бартольда. Статьи в журнале начинались с таких разъяснений: “Вот кто мы, вот где мы географически расположены, в каких районах проживаем, в каком районе что выращивается”.

Потом стали создавать газету на таджикском языке. О ней “Голос бедняка писал” в 1924 г.: “Газета — это язык народа, волшебный шар, в котором отражается мир, подруга в уединении, защитница угнетенных. Газета — источник бдительности, пробуждения народа. Да здравствует образование, да здравствует печать”. Печать помогла становлению таджикской светской школы. Как писал в стихах Айни, «лишь отсутствие школы в ту эпоху немного задержало полет таджика».

Говорят, «уровень культуры снизился в 20-е годы». Вот как обстояло дело со школами в Таджикистане:

Школьное образование в Таджикистане (1921-1929)

Годы	Число школ	Преподавателей
1921/22	31	61
1925/26	62	85
1926/27	154	184
1927/28	258	?
1928/29	307	393

Ликбезы

Годы	Число ликбезов
1925/26	63
1926/27	140
1927/28	271
1928/29	318

И установка была, опять же, на развитие народной, а не сословной, культуры. В декабре 1924 г. наркомпрос образовал свой журнал на таджикском языке и писал: «Наш журнал должен быть справочником, в любой момент полезным учителю. Поскольку школьное дело в Таджикистане еще очень молодо и таджики не вполне понимают настоящий литературный персидский язык, наш журнал должен быть несложным и доступным для простого народа. Пусть нас не будут считать людьми высокого слога, но пусть каждый учитель сможет понять нас»².

Надо сказать, что к 1929 г. в начальную школу пошло только 12% таджикских детей школьного возраста — но это уже были 12%! А не 0,9%, как в 1922 г.

В 1929 г. был открыт первый таджикский драматический театр, в 1931 г. первый вуз — Педагогический университет с одним факультетом и 12 преподавателями, а затем в том же году

— Университет сельского хозяйства. Таджики стали *народом*. Это показали дотошные исследования документов и устных заявлений обеих противоборствующих сторон в гражданской войне 1992-1994 гг. Более того, изучение этих документов (например, некрологов по погибшим борцам) показало, что, независимо от конъюнктурной политической позиции, все части расколотого таджикского народа имели *советский* тип культуры³.

Завершая это отступление, я скажу, что «сытое презрение» к тому, что сделала советская власть в сфере культуры для крестьян, «кухаркиных детей», таджиков и т.д., постоянное третирующее «красных» студентов и интеллигенции как «образованцев» есть, на мой взгляд, проявление низкого мещанского комплекса неполноценности — комплекса в той же мере антидемократического, как и антиаристократического. Через музыку это так воспринял Георгий Свиридов в своих «записках» 1979 года:

«Тип лирического героя, открытый Стравинским в “Петрушке” (жалкая кукла вместо человека), оказался удивительно к месту и времени. Он как нельзя более соответствовал складу и типу характера, сложившегося в русском (достаточно, впрочем, пестром по художественному составу!) интеллигентском обществе. Дальнейшее развитие этот тип получил и в музыке, например у Шостаковича — “Петрушка на войне” (когда-то я слышал эту мысль у С. Городецкого, но на нее никто не обратил внимания, а между тем она верна!). Тип этот, вызывающий жалость (вместо сострадания!), действительно был жалок, униженный, третируемый, как скоморох (что вполне заслуженно!), в годы народного бедствия. Но получив известную свободу действий, он более полно проявил свой характер. Тут сказались нетерпимость ко всему на свете, сознание своей избранности, самодовольное, сытое презрение к более низкому и к более высокому социальным слоям, непомерное честолюбие и ужасающий душевный холод и злоба. Безбожие и органически с ним связанное бездушие».

Жизнь по законам «быта военного времени»

Родился я в 1939 году в Москве. Первый год, за который, как говорят, на всю жизнь формируется характер, я не помню. Судя по всему, он был счастливым — на детских фотографиях я радостно улыбаюсь. Отца вновь приняли на работу в Академию наук и Московский университет. Ему повезло — его исключили из партии и уволили с работы в 1934 году, до начала смертельных репрессий, и он просто исчез из поля зрения. Мать, не пожелавшая расстаться с неблагонадежной фигурой, тоже потеряла работу. Три года прожила семья без всяких источников дохода, только скудной помощью друзей и родных, которые и сами были в подобном положении. А вскоре после моего рождения пришел в дом достаток — в университеты и научные учреждения стали возвращать репрессированные кадры, страна повернулась на подготовку к войне.

Первые четкие воспоминания у меня остались от предвоенного лета 1941 года. Быть может, по контрасту с последующими впечатлениями, но от того лета у меня осталось ощущение счастья. Вот на даче отец берет меня на руки. А вот мы ждем на пристани около Парка культуры пароход, чтобы плыть в воскресенье по Москве-реке, и этот пароход приближается под музыку. Я был восхищен — белый пароход казался мне живым, плывет к нам по реке и поет.

Потом — война, которая разделила всю жизнь нескольких поколений на две части: до войны — и все, что было после этого. Даже много лет спустя дети рассказывали друг другу легенды о том, как все прекрасно было *до войны*.

Вспоминаю себя в момент эвакуации из Москвы осенью 1941 года. Иду я и несу на спине вещмешок с моими “личными вещами”. А какая-то старуха на тротуаре плачет и протягивает мне руки. Потом, спустя годы, мать мне объяснила, когда я вспомнил этот случай: старуха плакала потому, что ей было страшно, что мальчик в два с половиной года несет на спине большой мешок с вещами. Зато в суровые морозы я гулял в моей любимой меховой шубе. Ее купили перед войной и даже не отрезали большую свинцовую пломбу, она болталась внутри на шнурке. Я иногда ее вынимал и смотрел на нее. Тогда у мужчин часы были в основном карманные, и мне казалось, что у меня тоже часы.

Из Москвы семьи своих работников эвакуировали предприятия. Ехали в товарных

вагонах, трудно, и долго. Помню, снимали на доске тело умершей женщины. Потом как-то ушла мать, а поезд тронулся, она бежала за вагоном, и женщины ей подали доску и втащили. Я стоял рядом и боялся, что она сорвется под колеса. Эти образы выплывают из памяти, как из тумана. Помню, ехал в вагоне мужчина (видимо, была бронь). Он на остановках покупал в бутылку молоко, потом вынимал кружку, садился в вагоне и пил маленькими глотками. Дети подходили к нему и плакали, среди них моя сестра. Матери уговаривали их не плакать, и они плакали тихо, почти неслышно, стеснялись. Эти подробности тоже потом мне рассказала мать. А саму картину я помнил, и помню, что жалко было этих детей, а мужчин таких сегодня что-то много развелось. А так мне всегда казалось, что тот один только и был в СССР.

Мы ехали с надеждой попасть в райский уголок — Академия наук имела научную базу в уникальном курорте Боровое, в Казахстане. С озерами и реликтовым лесом (я в 1961 г. туда добрался). Но президент Академии наук, замечательный ученый-полярник, Отто Юльевич Шмидт, был рассеянным человеком. Он написал на путевом листе *Боровское* — а это райцентр в глухой степи Кустанайской области, в совершенно другом конце огромного Казахстана. Туда нас в конце концов и привезли. С этого момента вся моя жизнь — как на ладони, я стал сознательным человеком. Мне кажется даже, что с тех пор я лишь накапливал опыт, а мой ум и представление о людях не менялись. Из Боровского повезли нас в село Михайловское, на тракторных телегах. Почему-то они шли по степи не колонной, а цепью, в один ряд, и это было очень радостно.

В селе уже не было мужчин — старики, женщины и дети. Русские и казахи. И мы, как говорили в деревне, выковырянные (эвакуированные). Нас разместили по колхозным избам. Хозяином у нас оказался старик с девочкой-внучкой, Веркой. Вскоре к нему поместили еще одну семью — немцев, выселенных из Поволжья. Матери наши сразу пошли работать, зимой в школе, а летом в поле. А мы играли и, играючи, помогали взрослым. Играли мы вместе — русские, казахи, немцы и евреи, были и других национальностей. В Академии наук всякие были. У нас не образовался этнический тигель, мы не были вненациональны, но и мысли ни у кого не появлялось обидеть друг друга, используя это различие. В нашей детской жизни отражалась жизнь взрослых, а там шовинизма не было ни в традиции, ни в идеологии — как бы иначе русские ужились в этой степи. Казалось бы, наши отцы в то время массами гибли под ударами немцев, а здесь — вот они, немцы, отселенные с Запада как потенциальные союзники наступавших гитлеровских войск. Но ни у кого и в мыслях не было их подозревать. И играли, и дрались, не проводя никаких параллелей с войной.

Как-то наш хозяин ездил с обозом на санях в Кустанай и привез четыре пряника — своей внучке, мне, моей сестре и мальчику-немцу. Старику и думать об этом не пришлось — будь у него денег на один пряник, он разделил бы его на четыре части.

Это сегодня мне приходится об этом думать, когда мой коллега, философ и историк Д.Е.Фурман пишет с непонятным злорадством в престижном академическом журнале, что “хотя русские ограбили немцев в результате войны, хотя они выбросили немцев Поволжья умирать в казахстанской степи, все равно немецкий крестьянин жил, живет и будет жить лучше русского”. И думаю я об этих словах потому, что этот профессор — не дешевый идеолог, продавший свое перо очередной власти, а типичный интеллигент и себя уважает. Я даже могу понять его антирусский пафос — поддался (быть может, бессознательно) идеологической конъюнктуре. Я поражаюсь инверсии критериев. Ведь когда он говорит “жить лучше”, он сравнивает лишь то, что у русского и немца в тарелке. Вот если бы я знал, что немецкий крестьянин во время войны привез из города два пряника и отдал один своему сыну, а другой русскому или украинскому мальчику (а около миллиона советских мальчиков и девочек фашисты вывезли во время войны для работы у немецких крестьян) — и это было нормой, — тогда бы я сказал, что немец и мой старик-хозяин живут в одном измерении, и их жизнь можно сравнивать по другим показателям. А без этого — понятия лучше или хуже не имеют смысла. Раньше человеку, претендующему на звание интеллигента, это было очевидно.

Быть может, это счастливая особенность детства, но когда я вспоминаю эвакуацию и послевоенные годы, меня охватывает ощущение надежности человеческого братства. Люди, с которыми я, ребенок, сталкивался, были для меня родными и делали все, чтобы меня обогреть, порадовать, а нередко и спасти. И в круговороте войны это были люди множества

национальностей, с самыми разными типами лица. Вот бреду я летом 1942 года по степи — мать на току, я поиграл с пшеницей и пошел путешествовать. Ушел далеко, ничего не видно кругом, и пришел к странному домику. В нем что-то стучит, работает машина. Открылось окошечко и показалось сморщенное лицо старухи-казашки. Посмотрела она на меня, потом исчезла, а потом опять выглянула в окошечко и протягивает мне вниз кусочек хлеба с маслом. Это была маслобойка, и все масло до грамма шло на фронт. В последний раз я ел масло до войны и не помнил его вкуса, а теперь попробовал его в “сознательном возрасте”. Ничего вкуснее не приходилось мне пробовать с тех пор.

Мы не обмолвились со старухой ни словом, она вернулась к своей машине, а я пошел дальше. Но когда мне сегодня говорят, что Советский Союз взорван непримиримыми противоречиями национальных интересов, мне это смешно слышать.

Неправильно, конечно, было бы сказать, что я в то время, ребенком, чувствовал себя хозяином всей страны. Но, как я ни вспоминаю себя, эти слова были бы самыми правильными. Мне казалось, что я могу идти по СССР, как в степи под Михайловкой, всю жизнь, и везде будет мне дом, и все люди будут для меня, как хозяин нашей избы или та старуха-казашка на маслобойне. Такое было ощущение от встреч со всеми и каждым. Границы семьи по крови расширились до границ семьи-народа.

И это при том, что отношение к людям было суровое, скидки никто не ждал. Например, потерять карточки было настоящей трагедией. Помню, сестра, старше меня на три года, потеряла карточки на хлеб. Мать, придя с работы, до ночи бродила вместе с нами по всем дворам, где мы за день бегали, поднимала решетки у подвальных окон и спускалась вниз (в “приямки”), искала среди бумажного мусора. Глубокой ночью пришли домой полуживые, сестра сняла берет, а карточки оказались приколоты к волосам. Она сама изобрела, как их не потерять, приколола, надела берет и забыла.

Когда я стал постарше и стал задумываться, меня удивляло, как надежно было все устроено в государстве. Сейчас это кажется чудом, как будто мы были совсем другим народом. Все было скудно, на грани, но надежно. Карточки — значит карточки. Полагается тебе на месяц столько-то рыбы, пусть немного, — ты ее получишь. За месячной нормой мы ходили, уже в Москве, в 1944 г., далеко от дома, мать везла меня на санках. Когда не было рыбы, в магазине был чрезвычайный запас — красная икра. Шла, как рыба. И один раз в наш день не оказалось рыбы, и нам дали за нее целый бидон красной икры. Так что я в моей жизни поел икры.

Другая служба, с которой я сталкивался, как ребенок — медицина. Казалось бы, все врачи на фронте. Нет, регулярно нас, детей, осматривали врачи, в большинстве случаев очень преклонных лет. Осматривали внимательно, делали прививки. Болеть тогда приходилось, бывало и очень тяжело. И на дом врач идет, и в больницу мать везет на санках, и лечат тебя, вытаскивают с того света. Тогда это не удивляло, а сейчас это меня удивляет. Сейчас, глядя вокруг — и у нас, и даже на Западе, я вынужден признать, что система сохранения людей, которая была создана в СССР и действовала даже во время войны, была явлением исключительным. И она жила, покуда ее ценили люди. А потом, когда перестали ценить, умерла. Видно, людская любовь ей была нужна. За деньги такую систему не купишь.

У демократической интеллигенции в России брэнчала в голове одна подсказанная телевидением мысль: советский режим, дескать, так исковеркал людей, что у них вплоть до перестройки не было *сострадания*. Теперь, мол, будут другие порядки — и в доказательство несравненного благородства Запада телевизор мучил людей зрелищем посылок с гуманитарной помощью, собранных добрыми и наивными немцами и американцами. За доброту им спасибо. Наши старики эти посылки, когда их не разговаривали молодые предприниматели, брали с удивительной душевной чуткостью. Считалось, что немцы и американцы ощущали потребность почувствовать себя добрыми, нужными далеким русским людям. А может быть, собрав посылку, они снимали какой-то камень с души. Наши старики были рады им помочь. Хотя следовало бы немцам задуматься — почему это в России, не пережившей никакой природной катастрофы или разрушительной войны, собравшей богатый урожай, старики и дети голодают? Что там происходит, что это за перестройка такая? Но нет, таких вопросов у доброго немца не возникало. Но не о немцах речь — с какой стати беспокоиться им о наших делах.

С какой целью убеждали нас новые комиссары в том, что мы очень плохие и черствые

душой? Ведь с таким жаром убеждали, что многие им поверили и просто ходить по земле стеснялись. Поначалу мне было очень жаль этих молодых обличителей. Я думал, что они принадлежат к какой-то неизвестной мне части нового поколения, которая недополучила любви, которой страшно не повезло в жизни. Где они жили, в каком обществе вращались? На память приходил рассказ Достоевского “Мужик Марей”. Ребенком Достоевский безумно испугался в лесу волка и бросился бежать. Он подбежал к крепостному крестьянину его отца Марейю, который на поляне пахал землю. Крестьянин успокоил ребенка и ласково погладил грязным от земли пальцем его дрожащие губы. Но так погладил, что воспоминание о нем поддерживало Достоевского в самые трудные моменты жизни. И когда на каторге он встретил озлобленного поляка, он пожалел его, поняв, что у того не встретилось в жизни его мужика Марейя, на которого он мог бы опереться.

Так и мне казалось, что те публицисты, которые вышли на передний план в годы перестройки и стали обличать советский народ, просто были обижены судьбой и нуждались в особенно бережном отношении общества. Но когда я столкнулся с этими людьми ближе и познакомился короче, обнаружилось явление, неизвестное Достоевскому. Эти люди прожили нормальную жизнь, не раз были поддержаны, а то и спасены каждый своим мужиком Мареем — но в памяти у них остался лишь его грязный палец. И этим людям советская тоталитарная система вручила тотальную же власть над средствами массовой информации, возможность промывать мозги сотням миллионов людей. Вот от них-то, действительно, сострадания не дождешься — а лишь благотворительность, да и то если она не облагается налогом.

Я же прожил всю свою жизнь, всегда находясь во всенародном поле сострадания, всегда надеясь на помощь людей и спокойно ее принимая, вовсе не предполагая отплатить именно дающему. Я уверен, что выгадал — получил гораздо больше, чем отдал. Таков кооперативный эффект солидарных систем. Советский народ жил очень трудно, вплоть до 60-х годов избытка не было почти ни у кого. А были, почти у всех, такие периоды, что без сострадания людей посторонних, с иными взглядами, из иной среды — и выжить было бы нельзя.

Помню, из Казахстана в конце 1942 года мы переехали на Урал, в промышленный Челябинск. В квартире жило несколько семей. У одной женщины была собака, которую она выращивала для фронта. Мы все кормились около этой собаки — ей полагался обильный паек овсянки. Зато и любили мы ее по-особому — и она нас любила.

В пустующую комнату поселили молодого безногого солдата Павла — он долечивался после госпиталя. Он дал мне звездочку на шапку и сделал деревянный автомат — замечательный, с диском. Привязал веревку, и я его носил за спиной. Получил он из дому баночку меда, и каждое утро все дети являлись к нему в комнату. Он съедал одну ложечку сам и по ложечке давал каждому из нас. А потом, когда оставалось совсем на доньшке, один из нас (я даже знаю, кто) не выдержал, пробрался в комнату солдата и съел весь мед. Я помню, как Павел пришел к нам на кухню на костылях, с пустой банкой, в ярости и чуть не плача. И мы все ревели, глядя на него. Он тыкал пустую банку всем под нос и кричал: “Это что? Это что?”

Мать работала с утра до ночи, а я проводил день на улице с мальчишками. Недалеко был вокзал, и каждый день мы провожали солдат на фронт, маршировали рядом с оркестром. Казалось, что у России бесконечные запасы мужчин. Да и девочек-санитарок много шло в строю. Иные совсем маленькие, школьницы еще, очень красивые в своих гимнастерках. Потом, когда я уже учился в школе, я понял, что эти людские запасы сгорели почти полностью. В нашем классе было сорок мальчиков — и только у четверых были живы отцы.

Часто видели мы и печальное зрелище — как конвоир с каменным лицом ведет дезертира, уткнув штык своей винтовки ему в спину. Их вылавливали на чердаках. Мы, мальчишки, были на стороне конвоира, и в то же время дезертиры с тоскливым и отрешенным взглядом, все почему-то в серой одежде, казались нам родными. Можно даже сказать, что казались родными, чуть ли не одним целым, солдат-конвоир и дезертир. И потом, уже взрослым, я у многих людей замечал: при виде человека под конвоем, заключенного, они смотрели на него таким взглядом, словно это их родной брат.

Испытал я тогда и силу сострадания. Мальчишки постарше стали посылать меня нищенствовать — маленьким лучше подают. Мне надевали сумку, и я ходил по квартирам, просил хлеба, а они поджидали меня за углом. Но дело оказалось трудным. Очень многие

женщины, которые открывали дверь, заводили меня в комнату, разогревали еду и усаживали меня обедать. После того, как я из-за дверей просил “подать голодному кусочек хлеба”, отказаться от еды я не мог. Я заставлял себя съедать один обед за другим и, пройдя один дом, чувствовал себя совершенно больным. А однажды мне досталась, видно, последняя порция супа, со дна кастрюли, и в нем было очень много перца горошком. Я полагал, что нищий должен быть очень скромным и ничего не выплевывать, и жевал и проглатывал весь этот перец. Кончилось тем, что я пообедал у одной учительницы, которая работала вместе с моей матерью и меня знала. Моей матери собрали, сколько могли, продуктов, чем ее удивили — мы жили не хуже других. Дело выяснилось, и пришлось мне моим приятелям отказать.

Сейчас в Москве другое сострадание и другие нищие. Многие им подают, считают это велением времени. У меня рука не всегда поднимается. В трудные годы мы не подавали, а делились. Помню, проехал через Челябинск, на будущий фронт войны с Японией мой отец, был у нас такой праздник. Привез нам с сестрой плитку шоколада. Сестра свою часть быстро съела, я только попробовал, а четыре дольки положил в запас. Как-то утром слышу — под окном кто-то играет на скрипке. Посмотрел — седой старик в шляпе. Мать говорит: “Надо бы что-нибудь дать старику, но совершенно ничего нет в доме”. А у меня как раз остался шоколад. Я боялся, что мать не разрешит — мне самому надо, да и сестре как хотелось сладкого. Но она сказала: “Конечно, пойд и дай”, — и я ей всю жизнь был за это благодарен. Пошел и отдал две дольки.

Знаю, что бывал я и жаден, и несправедлив, обижал людей и сам обижался, но когда я сейчас думаю, как объяснить, что такое был Советский Союз, я вспоминаю, как кормили меня незнакомые люди и с каким достоинством взял у меня шоколадку старик-скрипач.

Кстати, тогда же я познакомился и с рыночной экономикой, которой якобы у нас не было, как и сострадания. Часть хлеба, который мы получали, мать нарезала ломтиками, мазала лярдом, а я шел на рынок и продавал эти бутерброды и кое-что из вещей. Мне было четыре года, но я был удачливым коммерсантом, хотя и не акулой бизнеса. Акул на тех рынках не было. Много было раненых солдат на костылях — они поправлялись после госпиталя, прежде чем поехать домой. На рынке они покупали кружку молока и кусок хлеба и ели молча и неторопливо. И любовь, которой окружал их весь рынок, казалась каким-то особым видом энергии, силовые линии этого поля были почти осязаемы. Тогда я, конечно, ничего этого не думал — это я сейчас пытаюсь передать мои детские, по сути, биологические ощущения. Но если бы меня сегодня спросили, в чем для меня образ русского человека, я бы назвал именно это — раненый солдат на том рынке, с кружкой молока и куском черного хлеба, в этом энергетическом поле любви. И суть религиозности для меня — не в сутане или рясе, а в том, как этот солдат пил молоко и держал хлеб.

На вырученные деньги я покупал отруби и бутылку патоки. В патоке на танковом заводе закаляли стальные детали, и работницы понемногу выносили ее на продажу, хотя порой она и пахла керосином (говорят, его специально подливали в патоку, чтобы не уносили). Вспомнил я эту патоку и подумал, что это мелкое воровство с заводов оказалось увесистым камнем в праще перестройки. Им в последние годы умело били по сознанию советского человека. Ему внедрили в сознание мысль, что при отсутствии частной собственности на заводы и фабрики он потерял чувство хозяина и превратился в вора. Что экономика СССР разворована самими трудящимися и единственное спасение — немедленная приватизация и передача заводов кому угодно, хоть бы и заведомым преступникам, но хозяевам.

Образ военного времени, в котором прошло мое детство, всегда присутствовал в жизни страны (только на поколении моих детей он сказывается уже меньше). Но Запад глубоко заблуждался, видя в этом угрозу. За всю жизнь не видел я ни в ком воинственности и поэтизации военных действий. Более того, много родных и близких возвращалось с фронта, много и потом переговорено с фронтовиками. Сейчас я с удивлением вспоминаю: ни один из них ничего не рассказал о своих победных приключениях. Рассказывали, кто со смехом, кто с горечью, о том, как били нас. Никто ни разу не ответил на глупый детский вопрос: “А ты убил немца?”. Поразительно, как во всех слоях многонационального народа, который представлялся атеистическим, обезбоженным (выражение перестройки), строго соблюдалось негласное, никем явно не предписанное табу.

Так что война осветила мою жизнь, как и жизнь все-таки подавляющего большинства населения, не выстрелами и ужасами зрелища смерти, а особым всеобщим душевным состоянием. Оно не появилось в результате войны, оно ею лишь проявилось. Вспоминается, что сказал Дмитрий Иванович Менделеев, наш великий ученый и мыслитель (его считали реакционером и вульгарные марксисты, и нынешние либеральные демократы: первые за то, что он предложил программу развития русского *капитализма*, а вторые — за то, что он предложил программу развития *русского* капитализма). Он говорил о том, как много значит для России “быт военного времени”. Но ведь она не по своей воле, но живет этим бытом уже тысячу лет. Когда я бываю на Западе, разговариваю с друзьями, я вижу, что они и отдаленно не представляют, что это такое. Теперь такое же точно непонимание я вижу у молодых демократов.

“Зачем?” — удивляются они. — “Да пусть бы нас кто-нибудь завоевал!”. Вот любимый анекдот гуманитарной интеллигенции. Подходит ветеран-инвалид к пивному ларьку (дело было в начале перестройки, и пиво в СССР еще производилось). Спрашивает у ожидающих: какое пиво завезли? А ему в ответ: “Ты, дед, хорошо на фронте воевал?”. “Хорошо”, — говорит и показывает медали. “Ну и дурак! Если бы похуже воевал, сейчас бы мы баварское пиво пили”. Рассказывал это в Мюнхене известный философ и мой коллега Вадим Рабинович и весело смеялся (при этом русских сейчас принято называть фашистами, ибо они недостаточно часто вспоминают о погибших в нацистских лагерях евреях). А известный писатель-эмигрант пишет из Иерусалима: русские думали, что воюют за правое дело, а дело-то оказалось неправое! Но это все, конечно, несущественно — ведь не ради похвалы Рабиновича воевали русские с Гитлером, и папу или дядю его спасали от нацистов совершенно независимо от того, как они через сорок лет будут это оценивать. Это — их проблемы (да, скорее всего, миллионы евреев так и не думают, просто при нынешней конъюнктуре они считают за лучшее помалкивать).

Я здесь вообще не касаюсь войны как политического столкновения. Я говорю о том, что привычный для нас “быт военного времени” сформировал особое мышление и придал защите Отечества характер совершенно религиозной идеи. Сейчас молодежь думает по-другому? Прекрасно, пусть живет так, как ей нравится. Но издеваться над тем, что бедная страна ввязалась в гонку вооружений вместо того, чтобы покупать баварское пиво — глупо. Я даже не говорю о политике, она обязана быть рациональной. Но сейчас молоденькие идеологи издеваются над “иррациональной массой”, которая политику гонки вооружений приняла. А на уровне массы такие вещи рациональному выбору и не поддаются. Рационально современное гражданское общество, а наше таковым не было. В 1941 году многие солдаты шли в атаку, имея одну винтовку на троих — бежали рядом и ждали, когда убьют товарища с винтовкой, чтобы ее забрать. И самой печальной жертвой была смерть того, кто винтовки не дождался. И люди не хотели, чтобы такое повторилось (тем более что “холодная война” была вовсе не безоблачным временем).

Сейчас наш молодой демократ, начитавшийся прессы, говорит: а я никуда и не побегу, ни с винтовкой, ни без винтовки. Пусть приходит в Россию, кто хочет — они все друзья, тоже демократы, а пиво баварское куда как лучше. Кто же с этим молодым человеком будет спорить — ему жить и отвечать за страну. Мы так не думали (хотя и у наших отцов поначалу были иллюзии — никто не мог поверить, что немецкие рабочие станут стрелять в своих братьев по классу). Обидно будет, если своими иллюзиями новое поколение русских спровоцирует “друзей” на необдуманные действия. Ведь либеральная шкурка на наших демократах тонка, и когда их опять прижмут к Волге, начнут работать старые архетипы.

О моем собственном “имперском мышлении” говорю спокойно, хотя многим читателям оно, наверное, и не понравится. Но ведь нам, чтобы ужиться на Земле, не обязательно нравиться друг другу — важнее иметь друг о друге верное представление.

Сегодня демократическая пресса убеждает русских, что они должны изжить “синдром осажденной крепости” и что Запад их любит. “Независимая газета” даже публикует плакаты времен Отечественной войны, чтобы показать, как проклятый сталинизм разжигал ненависть к нашим друзьям-немцам. По мне, вспоминать войну в таком контексте — свинство, другого слова и не подберешь (если, конечно, не считать редакторов “Независимой газеты” сознательными ненавистниками России). От многих немцев (в том числе из “войск

противника”) я слышал, что их как раз удивляло отсутствие у русских этнической ненависти к немцам. Удивляло, насколько быстро они отходили после боя и начинали ободрять пленных и угощать их сигаретами. Да вот маленький эпизод: рассказ Конрада Лоренца, в изложении его английского биографа А.Нисбетта, о том, как он попал в плен под Витебском в июне 1944 года. Он брел ночью, стараясь выйти из окружения и ориентируясь по направлению огня советских войск. После того, что он видел в оккупированных областях Белоруссии, попадать в плен к русским ему не хотелось. Наконец впереди показалась траншея, откуда стреляли по русским. Значит, там немцы. Биограф пишет:

“... Он побежал к ней, крича: “Nicht schissen! Deutscher Soldat!”, и люди в траншее прекратили огонь. Глубоко вздохнул и подбежал к траншее — и тут увидел, что на солдатах, которые его приветствовали, советские каски. Русские стреляли друг в друга. Опять бросился бежать, пуля ударила ему в левое плечо. В конце концов оказался на пшеничном поле и, не выдержав напряжения, заснул. Разбудили его советские солдаты, которые кричали: “Komme heraus, Kamerad!” (“Выходи, приятель”). “Со мной обошлись очень хорошо”, — вспоминает Лоренц. Один из солдат, который был в последней траншее, узнал его и объяснил, что произошло: русские сделали бросок, чтобы не дать немцам просочиться из окружения, и концы клещей сомкнулись так быстро, что люди не разобрались и начали стрелять друг в друга.

... В лагере для военнопленных советские не проявили враждебности к Конраду... По его мнению, советские никогда не были жестокими по отношению к пленным. Позже он слышал ужасающие рассказы о некоторых американских и особенно французских лагерях, в то время как в Советском Союзе не было никакого садизма. Лоренц никогда не чувствовал себя жертвой преследования и не было никаких признаков враждебности со стороны охранников”.

Представьте: солдат, берущий после боя в плен противника, с простодушием объясняет ему, какая получилась незадача и как они стреляли друг в друга, ненароком зацепив и “камрада”. А вот курьезное продолжение записи рассказов Лоренца. Его отправили в лагерь под Ереваном. И однажды он поймал огромного тарантула. Часовой подошел и доброжелательно предупредил, что тарантул очень опасен. Но любящий добрую шутку биолог Лоренц взял и съел паука. И биограф завершает рассказ: “Надо было видеть этого бедного русского солдата, который с криком помчался по *казахстанской* степи”. Правь, Британия, морями, в степях ты не разбираешься.

Вообще, записки Лоренца о плене очень поучительны — он видел у нас то, чего не видели и не понимали мы сами. Людям свойственно судить по внешним признакам, и слишком часто мы не видим того ценного, что имеем. На фронте Лоренц был врачом, и когда его взяли в плен, то в прифронтовом лагере назначили помогать советскому врачу. Шли тяжелые бои, раненых было много, и Лоренц с горечью увидел, что советский врач отказывается делать ампутации немцам. Понятно, подумал Лоренц, он их обрекает на смерть — за то, что они натворили в Белоруссии. И даже признал это естественным. Через какое-то время он с удивлением увидел, что эти раненые, которым по нормам немецкого врача полагалась ампутация, выздоравливают. Он выбрал момент, объяснился с врачом и узнал, что в советской медицине такие ранения должны излечиваться без ампутации. Для него это было потрясением, побудившим к важным размышлениям о разных типах общества и отношения к человеку. Правда, английский биограф к этому рассказу дал свой комментарий, который никак из рассказа Лоренца не следовал. Он объяснил это отличие советского подхода к ампутации тем, что русские привыкли жить в грязи, и поэтому их раны устойчивы против нагноения. Это объяснение нелогично, поскольку в лагере для пленных вылечивались без ампутации нежные цивилизованные немцы.

Я считаю, что когда сегодня наши “демократы” со всей мощью их партийного телевидения убеждают молодежь в том, что их деды относились к немцам как садисты, они совершают преступление против молодежи. И стыдно за немцев, которые не находят в себе мужества опровергнуть эту опасную для всего мира ложь. Ведь так ликвидируется огромная мировая ценность — проверенный в мировой практике стереотип поведения победителя. К слову сказать, Запад как победитель просто никуда не годится. Ребенок с мускулами гориллы.

Я помню себя мальчишкой в 1944 году. У многих ребят в нашем дворе уже не было отцов. И заходили к нам пленные немцы — они работали в Москве на стройке и ходили без охраны. Огромные, сытые, довольные. Делали из алюминия всякие безделушки — кольца, зажигалки —

и приходили продавать. Мы их окружали, с ними разговаривали, девушки покупали колечки. И между нами был негласный уговор — как бы чем не обидеть бедных побежденных противников. Ведь в плену несладко. Сейчас, глядя как бы со стороны, через время, я с удивлением вижу, что те немцы (разумеется, не все и т.д.) вели себя так, будто победители — они. А наши стеснительные девушки походили на побежденных. Ничего не поняли ни немцы, ни демократы.

Конец войны

В моих детских впечатлениях победный этап войны (с конца 1943 г.) и первые послевоенные годы — до конца 1947 г. — сливаются в один период. По настроению и по типу жизни. Уже возвращение домой из эвакуации было признаком перелома, а уж потом эти признаки нарастали. Отменили светомаскировку в Москве — не надо уже было вечером завешивать окна. Значит, не могли уже немецкие самолеты долететь до Москвы. Поначалу еще ходили под вечер по улицам девушки в гимнастерках, вели, держась за веревки, огромные аэростаты, которые на ночь поднимали в разных местах города, чтобы самолеты не могли летать. Мы за ними бегали гурьбой. Потом и это кончилось. Появилось много пленных немцев, стали они разбирать руины от бомбежек. А потом и строить на этом месте новые здания.

Летом 1944 г. начались салюты в честь освобождения городов. Чуть ли не ежедневно, а порой и несколько салютов в день, так что приходилось их начинать засветло. Помню, однажды в четыре часа дня начали — и до ночи. Один кончится, другой начинается, в честь другого города. Какое счастье! С Белорусского вокзала проводили немецких пленных, иногда они шли часами, колонна во всю ширину улицы. Они ночевали на ипподроме. Однажды вели большую колонну одних офицеров, а впереди большой “отряд” из генералов. Красиво шагали, люди спокойно смотрели. Насколько я помню войну, никто не сомневался, что так и будет — и теперь не удивлялись, глядя на пленных немцев.

Зимой жить было трудно, но не унывали. Отопления не было, спали в валенках. На кухне как осенью разлилась на полу вода, так всю зиму был лед, как каток. Дядя Митя (полотер, слесарь и вообще мастер по всем делам в доме) сложил нам печку, трубу вывел в форточку. Ходил дядя Митя по двору всегда чуть пьяный, с трубкой в зубах, а за ним бежал маленький мальчик, очень чисто и красиво одетый — он его усыновил, жили вдвоем. Дымила наша печка сильно — не было тяги. Взрослые уходили на работу рано, до ночи, а я сидел с маленькой двоюродной сестрой, она только стала ползать, и мы вместе ползали по полу, потому что в полуметре от пола уже был такой дым, что дышать было нельзя. Граница дыма была резкая.

Я вырос, нужна была обувь, и мы поехали куда-то далеко, в темноте, заказывать мне чоботы. Их делал один человек, на окраине, у него была целая мастерская. Мы привезли ему ткани от старых пальто, ваты, и он мне сделал хорошие стеганые чоботы, на них добыли галоши, и я был очень доволен. Портнихи ходили шить по домам. Все люди перешивали вещи детям из военной формы. Мне сделали хороший китель. Запасы обмундирования в семьях были такие большие, что из нее шили до середины 50-х годов. В университет я, например, пошел в прекрасных брюках из зеленого сукна — только голубые кантики выпороли. И куртку мне сшили составную, с молнией. Выделялись как раз те, кто ходил в костюме не из военной ткани.

Работы у портних было много, они со всеми дружили и очень боялись “фина”, всегда об этом говорили. Я тогда уже начал читать, да и по радио хорошие вещи передавали, я знал про фина в “Руслане и Людмиле” и немного удивлялся, что его боялись. Слово “фининспектор” тогда не употреблялось. К нам ходила портниха — татарка из Крыма. Фамилия Кара-Мурза там известна, мой дед по отцу был из Крыма, и она к моей матери была расположена, с доверием. Когда Крым освободили, она плакала, говорила очень взволнованно. Потом успокоилась, все повторяла: “Слава богу! Слава богу!”. Я не очень-то понимал, о чем речь, потом только сопоставил и понял. Портниха боялась за родственников-татар. Думала, что их будут судить за сотрудничество с немцами, а это по законам военного времени была бы верная смерть. Когда стало известно, что лично судить никого не стали, а всех татар выселили из Крыма, она была счастлива. Когда пришло сообщение о гибели моего отца, эта портниха сильно плакала.

Такие сообщения почему-то сразу становились известны во дворе, всем сверстникам.

Даже не знаю, как. Сочувствие и поддержка двора оказывали очень сильное действие. Сверстников, которые составляли одну группу, было у нас человек двадцать, старших мы не касались, младших тоже мало, только если приходилось за ними присматривать. Трудно сказать, в чем заключалась поддержка то одному, то другому осиротевшему. Никаких видимых ее признаков или особых выражений я припомнить не могу, все эти признаки в отдельности были небольшими. Но точно помню, что это была большая сила. Жаль, научиться ей, видимо, нельзя, с возрастом пропадает.

Когда погиб в Манчжурии отец (это было 22 августа 1945 г., война уже почти кончилась, и самолет, на котором он летел, видимо, сбила какая-то из разрозненных групп японцев), мы поехали к родителям отца. Бабушка сказала нам с сестрой: “Дети, ваш папа выпрыгнул с парашютом и сломал ногу. Сейчас он лежит в госпитале”. Я слушал и думал: зачем она это говорит? Может быть, сама надеется? И пришлось весь вечер делать вид, что я в это верю.

В последний год войны в Москве было совсем мало мужчин, а здоровых почти не было. Если на улице попадался мужчина в штатском без костылей, с руками и ногами, на него оглядывались с удивлением и недоверием. Такой человек воспринимался как что-то странное, ненормальное, я помню это ощущение. Через Москву пролегали пути многих военных — и в отпуск, и по службе, и, после войны, с фронта. И у нас дома всегда кто-то ночевал из родственников или их друзей. Как ни проснешься утром — кто-то спит на полу, рядом сапоги, на стуле портупей. Больше офицеры, но иногда и солдаты — в углу винтовка, русский штык острием вниз. Подойду, потрогаю пальцем кончик штыка. Острый. Бывали и девушки-медсестры. В шинели, пилотке они были красавицами. На одной женился мой дядя Ваня.

Другой дядя, Николай, летчик, много раз приезжал в Москву получать ордена, даже в Кремле — ордена Ленина. Родственники, кто мог, собирались, праздновали, орден подвешивали на нитку, окунали в водку. Однажды он позвал меня полететь с ним в кабине его самолета в Ленинград, потом вернуться. Он летел с каким-то срочным заданием. Но мать была на работе, и я не решился без спросу. Потом часто жалел.

Летчиком дядя мой был классным, новатором, разработал особый способ выхода из штопора. Приехал он в Москву учиться на математика, поступил в вуз, но тут призыв добровольцев в авиацию, и он ушел, хотя математику очень любил. После войны окончил еще одну военную Академию и был назначен командиром полка стратегических бомбардировщиков в Пярну, в Эстонии. Я после 9 класса, в 1955 г., ездил к нему на мотоцикле, торчал у него на аэродроме, видел их жизнь. Дома он почти не бывал, все время в полку, да и сам летал. Вышел в запас в 42 года, с выслугой в 40 лет службы — за счет полетов. Мне казался в тот год глубоким стариком. Наконец смог пойти учиться на математический факультет и стал учителем математики. Умер он в начале перестройки. На похороны пришел взвод солдат, давать салют тремя залпами. Солдаты переговаривались, удивлялись, сколько у покойника орденов. Тогда как раз начали кампанию против “военной номенклатуры”. Я стоял около тех солдат и думал, соображают ли они что-нибудь. Хоронили они типичного представителя советской военной номенклатуры. После смерти он не оставил никакого имущества. Даже старый летный шлем, что он мне дал в Москве зимой 1945 г., когда в комнатах была температура ниже нуля, и я в нем спал, а потом ходил в нем в школу, он у меня забрал, когда выходил в запас — пришлось вернуть.

Жили мы на Ленинградском проспекте, около бывшего ресторана “Яр”. В нем, кстати, после войны заседали представители держав-победительниц — Бевин, Бидо, Маршалл и Молотов. Тогда шутили: “Отгадай загадку: два Бе, два Ме, а вместе ни бе ни ме”. К “Яру” подкатывали большие машины с флажками, мальчишки собрались посмотреть. Не знаю, какой черт меня дернул, но я нашел какой-то железный цилиндр типа небольшого школьного пенала, крутил его в руках и вдруг взял и кинул его катиться по мостовой, как раз где шли машины. Какой-то человек кинулся и схватил цилиндр, а другой подскочил ко мне со злым лицом. Я и не думал убежать. Первый принес эту штучку, они ее посмотрели, и один погрозил мне пальцем. Тогда я даже не сообразил, как могла быть понята моя глупая выходка.

Дом, где мы жили, был заложен в начале 30-х годов как первый в Москве кооперативный дом. Точнее, половина дома — “академическая”. Другая половина называлась “генеральский

дом». Дом был очень хороший, но строился медленно. Сдавали его в 1937 г. Отец и мать тогда не работали, отец был исключен из партии, мать тоже могла работать только месяца по два, пока не приходили документы из парторганизации по старому месту работы. Тогда ее просили по-хорошему уйти, не поднимая шума, что она и делала. Но в кооперативе они оставались, деньги были уже внесены раньше, когда отец работал в Академии наук (и еще профессором МГУ). И вдруг, накануне вселения, кооператив закрыли, дом передали в Моссовет, а пайщикам велели забирать деньги. Это была трагедия, потому что родители с моей сестрой и младшей сестрой матери скитались, снимая комнату. Они бросились к дому. Какие-то посторонние люди, заранее знавшие об этом решении, вселялись в квартиры без всяких документов. Дворник сказал отцу: вселяйся куда угодно, пока можно. Так мои родители захватили жилплощадь, но уже не свою, отдельную, квартиру, а две смежные комнаты. Захватили и стали там сидеть, боясь даже ехать за вещами. Другие три комнаты заняла семья украинцев — старики, их взрослая дочь и внучка. Я их узнал уже вернувшись из эвакуации в 1943 г., а остальное рассказываю со слов матери.

Фамилия наших соседей была Шевченко, и большой портрет Шевченко у них висел в комнате. Старики были из кулаков, но “самораскулачились” — вовремя раздали имущество родственникам и приехали в Москву, где училась в вузе их дочь. Она стала доктором медицинских наук, влиятельным человеком. Мать моя говорила, что она спасла мне жизнь и была ей очень признательна. Зимой 1945 г. я заболел после кори менингитом, как-то сразу и тяжело. Голова просто раскалывалась. Наша соседка быстро, без формальностей и даже не вызывая врача, меня отправила в больницу на Соколиной горе. Помню, мы долго ехали на метро, потом мать везла меня на санках. Но быстрота помогла делу, я поправился (тем более, что брат отца передал для меня несколько таблеток трофейного сульфидина, который на не привыкших к нему микробов действовал безотказно).

Как только освободили Украину, к нашим соседям стали приезжать худые люди с мешками. Это их родственники привозили им продукты — пшено, сало, лук. Они добирались с невероятными трудностями, на них было страшно смотреть — в грязи, почерневшие, с воспаленными глазами. Привезут — и обратно, редко когда ночевали. Помню, один такой человек приехал вечером. А мне мать сделала ванну, и я сидел, играл с корабликами из мыльниц. Этот человек зашел ко мне и спросил: “Мальчик, можно я помою ноги?”. Я сказал, что конечно можно. Он помыл ноги, и вода в ванной стала совершенно черной, вся. Заглянула одна дама, очень модная, работавшая на радио, она бывала в гостях у соседей. Закричала, схватила этого человека, стала вытягивать его ногу из ванны. Он оправдывался усталым, вялым голосом: “Мальчик мне разрешил”. Мне казалось, что я его подвел. Хорошо, что мать не стала вмешиваться, не пришла.

Понятно, что потребление у нас было скромное, но человеку не так много надо, если настроение хорошее. Мать работала до позднего вечера, приходила усталая, и я рано стал готовить сам, полюбил жарить картошку. Зато простота пищи во все дни позволяла накопить продуктов для праздника, и в войну часто собирались родные и множество знакомых, которые проходили через нашу жизнь, исчезали, но от каждого оставалось что-то особенное, какая-то искра. Собирались весело и разговаривали много, как-то поэтически, и все участвовали в одном разговоре. Все друг друга слышали.

Покупать вещи без крайней необходимости тогда еще не любили. У меня был богатый дядюшка, Павел. Он был доктор наук, известный специалист в редкой области — экономике кочевого хозяйства. Я в 1978 г. был в Монголии, в Академии наук, и там его все вспоминали — через 30 лет после того, как он там работал. А когда я сказал, что это мой дядя, то приобрел массу друзей, включая президента Академии. Так вот, этот дядя, когда я пошел в школу, завел такой порядок: я весной к нему приезжал, и он посылал со мной свою домработницу пойти по магазинам и купить мне костюм и башмаки. Мы шли и быстро приходили к общему мнению, что нечего мудрить, а надо в первом же магазине купить дешевый костюм из прочной ткани и брезентовые башмаки — я в этой одежде чувствовал себя очень хорошо. Когда возвращались, дядя ругался. Наконец, решил сам пойти со мной. Ходили весь день, измучились — я не хотел покупать дорогой костюм. Потом купили шерстяной матросский костюм, зашли в ресторан и истратили такую сумму, что я впал в уныние. Матроску эту я надел всего два-три, потом

кому-то отдали. Росли мы быстро.

Вообще, этот способ жизни — скудость в будние дни и безоглядные траты в праздники — был, по-моему, присущ тогда большинству людей. И он продлился надолго, и лишь потом, к концу 50-х, стали переходить на нынешний стиль. Хотя и тогда, заходя в дома товарищей по школе, с удивлением видел, что существует меньшинство, которое тратило деньги “равномерно” — на ненужные в будни продукты и вообще вещи. А на праздники им вроде бы не хватало. Мать нас учила быть такими “неравномерными” во всех тратах, в широком смысле слова. Нам с сестрой шла пенсия за отца, по 30 рублей в месяц (в позднем, после 1961 г., исчислении). Но мать ее не трогала, жили на ее зарплату преподавателя техникума (120 руб.). Зато мне первому во дворе купили велосипед. А потом я себе купил велосипед с мотором, а потом — и мотоцикл. И каждый год, начиная с 1947, мы в отпуск матери ехали куда-нибудь далеко, в хорошее место — на Оку, на Волгу, на море. Мать говорила: не транжирьте на ненужное, но не жалейте на то, чего очень хочется или очень нужно.

Свет ничего почти не стоил, но мать говорила, чтобы выключали каждую ненужную лампочку — а если надо, то хоть все зажги. Свет, мол, общее благо, не в деньгах дело. Тогда почти все так мыслили, и это вошло в привычку. Я в 1989 г. работал в Испании, в университете. Мне тяжело было смотреть, как студенты выходят из большой аудитории, в которой горит сотни две ламп, и ни один не поднимет руку, чтобы выключить. А дома у них все комнаты темны — экономят. Я не мог терпеть и, идя по факультету, заходил в аудитории и щелкал выключателем. Это сильно раздражало и коллег, и студентов — как будто я им колол этим глаза. Когда я им повторил слова моей матери, что, мол, каждая лампочка — это нефть, которую приходится выдавливать из земли, это им показалось так странно, будто я придумал что-то чрезвычайно оригинальное.

Помню, классе в шестом я решил устроить себе, только себе, маленький праздник, хладнокровно эгоистический. Не знаю, что на меня нашло. Я был дома один, учился во вторую смену. Пошел в магазин и купил 100 г. полукопченой колбасы, вернулся, скипятил чайник, порезал колбасу и всю съел один. Размеренно, со вкусом. Никогда больше у меня такого желания не возникало, и я не раскаивался в том случае, но почему-то он со мной произошел. Я как будто опыт на себе поставил. А деньги у меня были — сберкнижка с пенсией за отца была на мое имя, и я тайком давал с нее взаймы школьным друзьям. Не все вернули долг, но было не жалко, потому что зря не просили.

Я и сам стал рано зарабатывать. Как-то, еще в младших классах, мать подарила мне пишущую машинку — трофейную, “Олимпия”. Я печатал одним пальцем заметки для стенгазеты, но классе в седьмом она сказала, что это не дело. Я по объявлению пошел учиться. Одна женщина, в маленькой комнатухе, учила машинописи. Было три девушки и я, мы принесли свои машинки и приходили. Учила она хорошо, я наловчился — вслепую, десятью пальцами. В создании моего благосостояния эта машинка впоследствии сыграла огромную роль. А покуда я раздобыл работу — для Института истории СССР перепечатывать из всяких старых книг пословицы, каждую на отдельную карточку, и номер. За каждую пословицу давали 5 копеек — как раз цена пирожка с повидлом в нашем школьном буфете. Я перед школой быстро печатал десять карточек — на пирожки для нашей компании, по два на брата. Это было замечательно, да и другим кидали через весь класс. К тому же я перечитал огромную массу пословиц, и особенно заковыристые приносил в школу. Школа, кстати, была мужская, с девочками нас соединили только в 9 классе. И то, и другое хорошо, всякое по-своему.

На этой машинке “Олимпии” я подрабатывал и студентом, делал рефераты химических журналов, и позже. В 1976 г. меня попросил сделать обзор испанских материалов Юлиан Семенов. Он руководил открытым в Испании советским корпунктом и привез целый сундук журналов. В Испании тогда шла реформа, читать было очень интересно. Потом он привез книгу мемуаров знаменитого боевика Гитлера Отто Скорцени — с дарственной надписью. Скорцени жил в Испании, и там Семенов с ним познакомился. Я выбрал из книги самые интересные места и перевел для Семенова. Отдавая мне деньги, он упрекнул меня: “Буква “ы” у вас в машинке подпрыгивает, в издательстве очень ругались”. Я никак не думал, что мои куски он отдавал в издательство, даже не перепечатывая. А мне все время было лень пойти и припаять букву. На эти деньги я купил новую машинку.

Раз уж я вспомнил Юлиана Семенова, скажу о нем пару слов. Он, принадлежа к большому клану Михалковых, был, по-моему, добрым и достойным человеком. В нем не было той пошлости и низости, что прорывается у молодых Михалковых — Никиты и Андрона. Но в одном важном вопросе я не согласился с Юлианом Семеновым и сейчас не согласен. Он был популярным писателем и писал о современном Западе. Тогда в США стали издаваться очень хорошие дайджесты важных статей на фундаментальные темы — для научной интеллигенции. В них отражался передний фронт общественной мысли Запада. Я предложил Юлиану Семенову брать оттуда материал для диалогов, разговоров и внутренних монологов западных персонажей. А то он брал такой материал из простейших учебников по социальной психологии. “Это, — говорю — сильно повысит качество ваших книг, а нам будет большая польза, потому что мы плохо знаем Запад. Через ваши книги к нам будут поступать самые интересные их идеи”. Он обдумал это предложение и сказал: “Да, качество повысится. Но мне, Сережа, как раз не надо качество поднимать. Я работаю точно на том уровне, что доступен массе”. Я впервые видел писателя, который отказывался поднимать уровень массы, хотя сама масса тогда этого желала. Думаю, популярность Юлиана Семенова от этого несколько не упала бы. Но тут я забежал вперед.

В школу я в первый класс не ходил, нашу ближнюю разбомбили и еще не восстановили, а в дальнюю меня мать пускать не хотела — очень далеко, и переходить большие улицы. Я учился дома, какое-то время ко мне приходил старик, устраивал что-то вроде уроков, но больше мы с ним разговаривали на самые разные темы, а читать я давно умел. Когда я болел, мать уходила на работу, а мне давала том энциклопедии, и я ее читал, если большой температуры не было. Когда температура поднималась, я это узнавал по тому, что на потолке появлялся волчок, он крутился, жужжал и двигался по потолку, и меня охватывала тоска. Старик-учитель был хороший, говорил спокойно. Мать оставляла нам хлеб, сахар, и мы вместе пили чай.

А до этого я подолгу жил в деревне у моего дедушки Василия Архиповича. Он, вместе с матерью, стал для меня главным воспитателем. Он много знал и все умел делать, что надо для жизни — не очень хорошо, но зато все. Со мной, пятилетним, он не заигрывал, а советовался, если надо. Вечерами зимой он пел мне песни, которые были в ходу у казаков в Семиречье. Может, и сам придумывал, по киргизскому обычаю. Помню, как-то спел мне долгую-долгую песню про Ивана Сусанина, всю историю. Видимо, как-то заучил стихи, а мотив был простой, заунывный. Как рассказывала мать, казаком он был бедным, не мог содержать для сыновей строевых лошадей и снаряжения, и даже подрабатывал сторожем в школе. И очень любил слушать уроки. А когда учителя не было, сам ученикам объяснял предметы, и ученики это очень любили. Так он и мне все время что-то рассказывал о мире, о природе, истории, и над всем этим он прежде долго думал. Дома, в Семиречье, у него была одна страсть — пчелы. В горах места много, и он держал хорошую пасеку. Дохода от нее было мало, пчелы были почти у всех и продавать мед надо было в Китай, через перекупщиков. Но он просто любил это дело, выписывал журналы по пчеловодству и даже покупал за границей пчел-маток, через какое-то международное общество. Приходили они по почте в коробочке.

В конце 1944 г. дедушка стал болеть, в московской квартире сидел тоскливо, и младший его сын, Петр, позвал его жить к себе — он был секретарем горкома Небит-Дага, жил в маленьком доме с садом. Помню, дедушка уже оделся в передней, надел шапку. И я вышел проститься, говорю: “До свиданья, дедушка”. А он мне отвечает: “Не до свиданья, Сережа, а прощай”. Это меня потрясло, я как-то моментально осознал, что такое безвозвратность. Сейчас, пытаюсь вспомнить то чувство, я сказал бы так: будто кто-то с неба пальцем ткнул между дедушкой и мной. В голове не умещалось, но приходилось принять. Как будто какая-то черта в моей жизни прошла, и детство кончилось. И все это люди переносят, стараясь не показать виду.

И скажу еще об одном случае, который, теперь думаю, поразил меня. Сразу летом после войны моя мать и еще одна учительница поехали в глухую деревню, довольно далеко от Москвы, и меня взяли с собой. Как-то узнали, что в этой деревне остался мальчик-сирота со старой прабабкой, и она хотела бы его отдать в семью. Подруга моей матери стала вдовой и хотела усыновить мальчика. Полдня ехали на поезде, потом шли десять километров через лес.

Мы пришли, нас встретила старуха, мальчик где-то бегал, играл. Изба совсем вросла в землю — чистая, но совершенно пустая, без вещей. Старухе было 85 лет. Женщина ей

понравилась, и она была рада ей отдать мальчика. “Мне, — говорит — жаль расставаться, да кормить трудно и боюсь, помру и его напугаю”. Позвали мальчика, моего возраста, лет шесть. Старуха ему говорит: “Ваня, поезжай с этой тетей в Москву. Она добрая, тебя любить будет. Будешь каждый день лапшу есть”. И видно было, что и ему понравилась эта женщина. Но он нахмурился и сказал: “Нет, бабушка. Если я уеду, ты сразу без меня помрешь”.

В том возрасте я мало что понимал, но осталось от той встречи ощущение счастья, будто прикоснулся к чему-то святому. На моих глазах два человека выразили такую любовь и такое достоинство, что не всегда в жизни удастся увидеть. А ведь та старуха родилась при крепостном праве, прожила всю жизнь в этой глухой маленькой деревне, без электричества, по своему подобию воспитала в голодные военные годы мальчика Ваню.

В конце войны и несколько лет после нее существенным подспорьем для горожан были участки, которые им давали через предприятия. Техникуму, где работала моя мать, отвели землю как раз там, где теперь стоит МГУ на Ленинских горах (тогда Воробьевы горы). Летом мы ездили на троллейбусе с тямками — окучивать. Осенью убирали, техникум давал грузовик, и мешки с картошкой развозили по домам.

В те времена экономика так была устроена, что «дефицита» не было. Правительство понимало, что людям бывает необходимо что-то срочно и свободно купить. Были и рынки и, главное, коммерческие магазины. Все было, но по высоким ценам, как сейчас. Только сейчас по карточкам необходимого не дают. А тогда по карточкам получали необходимое, но практически все когда-то пользовались и свободной торговлей, особенно если кто-то вдруг приехал с фронта. Бывало, человек на один день домой заскакивал.

После войны понадобились людям вещи, продавали одно, покупали другое. Жулики были виртуозные. Муж тетки пришел с фронта, решил продать сапоги и купить себе часы. Такая блажь была. Пошел на Тишинский рынок, приносит карманные часы. Прикладываем к уху — тикают. Но стрелки не двигаются. Он своим ножичком стал открывать крышку, открыл, а внутри никакого механизма нет, а сидит черный жучок и издает такой звук, в точности как будто тикают часы. Пропали сапоги. Но в то же время все были в восхищении.

Через пару дней пошли мы с матерью продать костюм отца. Быстро нашелся покупатель, очень интеллигентный. Зашли в подъезд, он отсчитал две с половиной тысячи рублей сотнями (250 последними советскими). Большая пачка, деньги тогда большими были. Мать пересчитала, и я внимательно смотрел. Пачка рыхлая, он говорит: давайте резинку надену. Мы смотрим во все глаза, он надел резинку, взяли деньги, а дома открываем — сверху две сотни, а потом рубли. Кукла. Невероятно — все было перед глазами, да и мы были настороже. А вообще денег, видимо, не хватало. Помню, мать страшно хотела курить, и тут как раз я нашел на улице рубль. Она сразу купила себе одну папиросу, и ей стало легче. Как бывает кстати находка.

В школе почти все мы были одного поля ягоды. Выделялись лишь те, у кого были живы отцы, их жизнь была полегче. Точнее, у тех, у кого отцы были живы и здоровы. Израненные и контуженные жили очень трудно. Многие не выдерживали, начинали пить — еще горе семье. Многие из дальних родственников или знакомых, которые бывали у нас дома, страдали от ран и контузий. Смотреть было тяжело, а иногда и страшно. Детей у нас тоже дома было несколько — я, сестра, двоюродные. Мы сожмемся в кучку и трясемся, когда у кого-нибудь из взрослых начинает двигаться осколок или пуля, и он кричит. Только что был веселый, качал кого-нибудь на колене — и вот...

Пошел я во второй класс, в 1947 г. Классы были большие, учительница измученная, демобилизованная. Так и ходила в форме, с полевой сумкой, но без погон. Звали ее Александра Васильевна Суворова, и она своему имени соответствовала. Была суровой, иной раз и подзатыльник могла дать. За партой я сидел с Толей Солиным (он потом стал художником на “Союзмультфильме”). Сентябрь был жарким, и на другой день учительница послала нас с Толей купить ей две пачки мороженого — на обед. Дала денег, и мы пошли. Близко мороженого не встретили, потом нашли, купили, а потом не заметили, как загулялись, зазевались, и в школу вернулись уже на последний урок. Мороженое Толя положил в свою кепку, оно давно растаяло, но мы так увлеклись, что даже не обращали на это внимания. Зашли мы в класс, Александра Васильевна мрачнее тучи. Толя протягивает ей кепку с мороженым, оно уже через кепку капает. Если бы он не увернулся, она бы надела эту кепку ему на голову.

Я частенько заходил к Толе домой, мама его делала оладьи. Толя хвастал, что в войну она работала на хлебозаводе и приносила тесто в валенке. Заворачивала в тряпку — и в валенок. А дома делала оладьи. Мама его была очень усталая женщина, а в Толе души не чаяла. Он был талантливый мальчик и нервный, его грыз червяк несогласия. Как-то, уже в третьем классе, он на уроке шепотом стал мне говорить, что он против Октябрьской революции. Меня это поразило, казалось просто невыносимым. А он объясняет: “У моего дедушки был свечной завод. Если бы не революция, я был бы хозяин свечного завода”. Я ему говорю: “Тебе не стыдно было бы рабочих эксплуатировать?”. Его, видно было, этот вопрос тоже мучил, и он ответил: “Я бы рабочим свечки давал”.

В школе прямо на уроке буфетчица в корзине разносила бублики, каждому раздавала — мы раз в месяц платили. В буфете брали пшеничную кашу с постным маслом. Как раз прошла денежная реформа, отменили карточки. Деньги надо было обменивать. Стоим в очереди за кашей, и один ученик свои деньги — 30 рублей (был такой билет) — на радостях разорвал на мелкие клочки и кинул вверх. Учительница рассердилась и говорит: “Как ты можешь деньги рвать! Они не твои, а государства, ты ими только пользоваться можешь”. Все мы удивились, а она взяла свои деньги и что-то прочитала, не могу точно вспомнить. Но выходило очень понятно, что деньги — общие, они только на время у нас, и рвать их никак нельзя. Сегодня говорят, что деньги могут быть в частной собственности и их можно даже продавать. И нет той нашей учительницы, чтобы объяснить простую вещь.

В первых классах, пока мы еще жили бытом военного времени, у учеников было обостренное социальное чувство. Само собой, в нем не было никакой политики или идеологии, все было на уровне почти инстинктов. Совершенно не было и зависти к “богатым”. Как-то делились по принципу “свой-чужой”. Но положение ребят из “богатых” семей было, как теперь я думаю, сложным. Не каждый выдержал, кое у кого возникали комплексы, боязнь стать “чужим”, они начинали заискивать — и от этого как раз нарастало отчуждение. Сейчас я вспоминаю такие случаи, и у меня тяжело на душе и жаль этих соучеников. Я даже рад, что у меня таких проблем не возникало, и это высвободило мне много сил на другие, радостные дела.

Особенно неприятно мне вспоминать одну линию, в которой я и сам был замешан и был не на высоте. У нас в классе был мальчик Миша, почти отличник, чуть-чуть не дотягивал, непонятно почему. Думаю, слишком старался. Он отличался от всех необычной нежной кожей, вообще был красивым. Большинство, пока в пионерлагерях не подкормились, казались чуточку замухрышками. Я тоже учился хорошо и был бы не против подружиться с отличником, и его мать старалась нас свести. Это была женщина красивая, приходила за сыном в каракулевой шубе. Она пригласила меня к ним домой, на какой-то детский праздник. Я пришел, это был совсем другой тип жизни — дети читали стихи, взрослые тоже как-то выступали. Отец его был тоже молодой и красивый, в военной форме. Но на военных, которых я знал, не был похож, не пахло от него сапогами и ремнями. Но это все ерунда, это я, наверное, потом себе придумал. А дело было в том, что я зашел в одну комнату, а там на большом шкафу стояло много телефонов. Трудно сказать, сколько, но много. Я удивился и спросил, зачем столько. Приятель мой махнул рукой и говорит: “А, не знаю. Отец из Германии привез”.

Это меня сильно смутило, даже трудно передать то чувство. Это был очень больной вопрос. Потом приходилось читать, что офицерам в Германии давали какое-то имущество, но этого видеть не приходилось. Во-первых, немногие вернулись. У тех, кого я видел, никакого имущества не было. Муж моей тети, которая жила у нас, привез себе ножичек, который был у него всю жизнь и источился до тоненькой полоски. Еще привез саблю, которой я, когда бывал один, любил размахивать и вонзать в диван. Ее мои сестры отдали в школьный музей. Еще он привез жене упаковку вязальных спиц, штук десять. Тетка моя пошла их продавать у метро “Дворец Советов” и меня взяла с собой. Тут же подскочил патруль и нас арестовал — солдаты и молоденький офицер. Она расплакалась, стала умолять отпустить ее, патруль сжалился и отпустил. Куда эти спицы потом девались, не знаю. Но эта куча телефонов — совсем другое. Мне кажется, я тогда ничего не сказал и вообще первый раз это вспоминаю. Я чувствовал, что никому нельзя говорить, это всех бы оскорбило.

Ничего я тогда не сказал, но что-то, наверное, выразил, а может, сам Миша рассказал родителям о нашем разговоре. И мать его меня невзлюбила, с чем я никогда в жизни не

сталкивался. Трое наших одноклассников Мишу как-то побили. Не знаю, почему, да никто вообще об этом не знал, мелочь какая. Вдруг вызывают из класса четырех учеников к директору, меня в том числе. Приходим, там мать Миши. Директор, страшно взволнованная, говорит, что эти трое побили Мишу и что это я их подговорил. Нелепость такой мысли мне показалась чудовищной. Даже не могло в голову придти не только такое сделать, но и придумать такое. Все мы набычились и стоим молча, все в валенках. По-моему, никто вообще ничего не сказал. Легкие потасовки бывали часто, но тут дело представили как покушение, да еще хладнокровно спланированное. Наверное, директор и сама понимала, что все это чушь, но почему-то пошла на поводу у этой дамы.

После этого Миши стали сторониться, хотя никто ему ни слова упрёка не сказал, и он, похоже, страдал. Так это тянулось года два, потом учительница попыталась как-то смягчить положение. Она поручила ему и мне вдвоем нарисовать к празднику какую-нибудь картину на школьную выставку. Дело было не срочное, и я быстро о нем забыл. Вспомнил в тот самый день, когда надо было принести работу, екнуло что-то. Да не просто в тот самый день, а за полчаса до школы. Учились мы во вторую смену, я не стал обедать, схватил листок и, недолго думая, нарисовал маленькие фигурки на дороге. Кто сноп несет, кто молоток, фигурок пять-шесть одиноко бредут по дороге, а вдалеке горы, и из них исходит сияние — лучи. И над горами написано “Коммунизм”. Картина называлась “Вперед, к коммунизму!”. Чуть-чуть успел подкрасить цветными карандашами и побежал. Все-таки, думаю, как-то мы выполнили задание — как умеем.

Прибегаю, говорю: “Эх, Миша, забыли мы про картину. Ну ничего, я кое-что успел нарисовать, сейчас отдадим”. А он мне говорит: “Ты сам отдавай. Я нарисовал, но от себя”. И достает три больших портрета, на толстом ватмане, красками, небывалое дело. Один портрет Ботвинника, другой Смыслова, третий Решевского (американского шахматиста, я его портрета раньше и не видел). Ботвинник даже, показалось, похоже был нарисован. Учительница говорит: “Я же вам велела вдвоем делать”. Мы молчим. Взяла портреты, восхитилась. Потом мой листик взяла, посмотрела, ничего не сказала. На перемене смотрю — он под столом валяется. Я был доволен, все обошлось. Но, думаю, все же и свинья этот Миша — ведь видно, что он не забыл про это задание. Такие портреты за полчаса не нарисуешь. Мог бы напомнить.

Когда постарше стали, он совсем стал неуверенным. Стал об учительницах выражаться нехорошими словами, чего у нас абсолютно не было. Это страшно всех коробило (хотя никто не решился его оборвать, застеснялись). Даже к нелюбимым, злым учителям у нас было почтение, особенно к женщинам. А дело было в том, что Миша стал подлизываться к хулиганам, к шпане. Их было в классе человека три-четыре. Не знаю, как сейчас, но тогда они образовывали свой особый мирок и не пытались навязать свои порядки всем остальным, не претендовали на власть. Возник какой-то негласный пакт — их не трогали, но они школу уважали. Им помогали, если надо, в учебе, но не из страха. Подлизываться к ним не было необходимости, но некоторые к ним липли. Возможно, были какие-то тайные отношения, тайный страх перед ними. В общем, Миша, будучи им совершенно чужим, в то же время оказался привязан. Его это, наверное, унижало, и в какое-то время он, в отместку, что ли, сам стал издеваться над слабыми. Дело было уже в седьмом классе, был у нас один безобидный мальчик, иногда его беззлобно называли “калека двадцатого века”. Как-то Миша на задней парте начал его шпынять, щипать, дразнить. Я на него наорал, а потом говорю: “После школы драться будем”. И при большом стечении любопытных мы дрались, измолотили друг другу лица. Противно вспомнить. Так и вижу его глаза, полные боли.

Надеюсь, что с возрастом он окреп и все преодолел, парень он был способный. Но в школе все мы, включая меня, отнеслись к нему безжалостно. Не приняли за “своего”, а наращивали счет. Никто ничего не поминал ему, но, видимо, подсознательно помнил. Вообще, похоже, что трудно живущие дети, какими мы были сразу после войны, легко сходятся для помощи друг другу, но безжалостны к чужакам. А может, и не только дети. Сейчас у нас этого пока не чувствуется, и не надо бы нашим новым “богатым” спланивать “бедных” таким чувством.

Класса до четвертого я сам шел по скользкой дорожке, только в другом смысле. Как я уже говорил, учителя были измученными, работы у них было много, на свои дела времени не

хватало. И нередко учительница отлучалась из класса, а меня оставляла вести урок. Я учился неплохо, со всеми был дружен и считался упорным. Я не отказывался, но принимал дело слишком всерьез. Если кто не слушался, не выполнял задания или мешал другим, я его наказывал — как настоящий учитель. Ребенок, возомнивший себя властью — страшное зрелище.

Тогда в нашей школе учителя частично переключали обязанность наказывать на родителей, практически, на мать. Чтобы подать родителям сигнал о том, что учеником недоволен, учителя иногда отбирали у него шапку (мы почему-то тогда ходили даже в теплое время в кепках или тубетейках). А если уж дело совсем плохо, то отбирали портфель или сумку. Тут уж мать не могла не заметить — если пришел сын домой без портфеля. По примеру учителей стал наказывать моих товарищей и я. Иногда шел домой и тащил три-четыре портфеля. Товарищи шли за мной и ныли: “Мурза, отдай портфель”.

После нескольких таких моих воспитательных действий ребята решили положить этому конец. Как-то я шел из школы, вдруг выбегает, как стадо, целая куча старшеклассников, а за ними один из моих одноклассников, Изотов. Старшие его спрашивают, показывая на меня: “Этот?”. Надавали мне затрешин. Когда говорят “искры из глаз сыпались”, это небольшое преувеличение. Я назавтра спрашиваю: “Что же ты, Изотик, на меня наябедничал?”. А он резонно отвечает: “Но ведь ты, Мурза, нас совсем замучил”. Я признал его правоту (про себя, конечно), и это послужило мне уроком на всю жизнь, за него я был благодарен моим товарищам. Причем почувствовал благодарность именно сразу — понял, что вовремя меня проучили и остановили. Моя жизнь в классе сразу резко упростилась, я вернулся в естество. Никакой размолвки у нас не возникло. Если Изотов жив и это прочтет, пусть знает. Вообще, мне в жизни с этим везло. Всегда находился кто-то, кто или удерживал меня от больших гадостей, или предупреждал их тяжелые последствия. Человек катится вниз, когда сделает что-то такое, чего поправить нельзя.

Все мы в школе были пионерами. Во время перестройки наговорили много ерунды об этой организации, раздули миф. Никакой идеологией нас не давили, а пользы было много. Прежде всего, это был способ соединить нас со старшеклассниками. Были у нас вожатые и что-то вроде шефов из старших классов. Это было большое дело. Зря только, думаю, разводили псевдодемократию — выборы всяких председателей отрядов и т.д. Не нужно это детям, лучше бы учительница назначала с общего согласия. Все равно она решала. Но и особого вреда в наше время от этого не было.

Самое полезное дело, что делалось через пионерскую организацию, на мой взгляд, была помощь “отстающим”. Об этом тоже много всяких глупостей наговорено. А это было, я думаю, великое дело нашей школы. У нас в классе я бы затруднился назвать кого-нибудь глупым или неспособным. Но тип мышления был у всех очень разным. А школьная методика, как ни крути, была нацелена на некоторый средний тип. И многие ребята не ухватывали ее суть, не успевали освоить способ обучения. Отставали и начинали бояться, все сильнее и сильнее. Начинали считать себя глупыми. У учителя не только времени не было всем им помочь, его такие ученики начинали стесняться, и он им уже ничего не мог объяснить. Тогда пионерам поручали им помочь. Пионер — общественный человек, ему можно поручить.

Это считалось справедливым и никак “отстающего” не обижало и не угнетало. Ребята, которые благодаря этому преодолели свое отставание и “вскочили на поезд”, составляли, думаю, очень большую часть учеников. Это нашу школу вывело вперед.

Помню, мне поручили помочь одному новенькому, татарину. Он, видно, только что приехал с матерью из глубинки, неважно знал русский язык и находился в состоянии паники. Он ничего не понимал и думал, что он дурак. К тому же был невероятно сильный, как-то ненормально. И это его угнетало, он, наверное, в этом видел признак своей глупости. А на самом деле был нормальный мальчик, как все. Когда мы вместе занимались, он просто успокаивался. После затраты больших усилий на самые первые темы, которых он не понял и “отключился”, он начал догонять. Ухватил какую-то суть. Он жил в подвале с матерью и она, видимо, мечтала, чтобы он учился, от чего его паника лишь усиливалась.

Вообще, мне кажется, наша классическая школьная программа, по которой мы учились, была очень хорошей. Она так была построена, что неявно давала как раз способ познания, нить

для собственных рассуждений. Я думаю, она стала бы еще лучше, если бы эту ее часть сделать более явной. Если бы учителя объясняли ученикам, что думать — это тоже труд, и навыки его надо специально осваивать и отрабатывать. Этой простой вещи почему-то не говорят, а сама она в голову мало кому приходит. Но к 80-м годам и саму основу программы, по-моему, сильно подпортили. Я смотрел, как мои дети учились, и расстраивался. Не все новое лучше старого.

Но если вернуться к помощи “отстающим”, то главную пользу, конечно, получали как раз те, кто, как недавно говорили, “тратил свое время” на эту помощь. Какая глупость! Я уж не говорю о морали. Глупость потому, что нет лучшего способа самому хорошо понять какой-то вопрос, чем доступно объяснить его другому. Это была огромная роскошь — товарищи доверчиво выслушивали объяснения “помогающего”, задавали ему вопросы, заставляли прилагать усилия. Я думаю, что практически все лучшие ученики советской школы, ставшие потом лучшими студентами и специалистами, достигли своего уровня именно потому, что “помогали отстающим”. Сошлюсь на свой личный опыт и ощущения, начиная с восьми лет.

Я учился хорошо, хотя и не блистал. По типу был скорее тугодум, на лету не схватывал, но материал осваивал. И мне стали поручать позаниматься то с одним, то с другим “отстающим”. Насколько я помню, я сам быстро оценил, какое это для меня благо, никто мне такой мысли не подавал. С первых же шагов выяснилось, что сам я не очень-то глубоко понимаю многие вопросы. Одно дело отбарабанить что-то близкое к тексту у доски, решить по данной схеме задачку. Другое дело — объяснить человеку, который не понимает. Причем учителю он стесняется сказать, что тот объясняет туманно, а тут скажет прямо: мол, давай, Мурза, объясни толково, не понимаю.

И приходилось думать, искать подходы, даже изобретать. Во многих случаях я со страхом убеждался, что сам ничего не понимал. Ненадежны были мои знания, в любой момент могли подвести. Никакой учитель никогда этого бы так наглядно мне не показал и устранить дефекты не заставил бы, как мои “непонятливые” товарищи. В этом смысле система оценок даже была вредна. Я, например, отвечаю у доски, говорю что-то, похожее на текст учебника, но учитель чувствует, что я “плаваю”. И он ставит мне “четверку”: “Садись, сегодня ты недоучил”. Как это недоучил? Зачем четверку? Ведь я же на самом деле ничего не понял из темы, а заучить-то как раз заучил. Мне двойку надо ставить, а не четверку. Мне лично повезло, что я такую четверку как раз и считал двойкой — сам видел, что не понял темы.

И еще одна сторона этого дела, которая мне помогла прочнее встать на ноги. Я повидал жизнь очень многих семей моих одноклассников. Обычно я ходил заниматься к ним домой, видел разные стили жизни, семейных отношений, разговаривал с их родителями, братьями и сестрами, ел с ними, ругался. Большинство жили трудно, относились друг к другу бережно, самая большая беда “отстающего” была в том, что огорчается мать.

Приходилось бывать и в домах наших хулиганов, которые, как я говорил, построили в школе свой особый мирок, центр которого был вне школы, в более или менее преступных шайках. Кто-то из них оттуда уходил в “общество”, но по-моему, таких было немного. Жили они по-особому, и возникало впечатление, что они враждебны общему типу жизни. Это были как бы диссиденты “снизу”. Например, поражало, что многие из них долго спали — придешь в полдень, дома три брата и все спят. Наши хулиганы по типу лица, осанке, стилю одежды были какими-то вненациональными, горбоносыми, как особый народ. Какие-то казаки в городе и враждебные городу. Тогда, в младших классах, они жили в бедных домах и бараках. Уже потом, когда появились “стиляги”, между ними образовалась связь, какой-то социальный мостик. Часть стилига, из “высших слоев общества”, одновременно входила и в сообщество хулиганов. Но это позже.

Начиная с четвертого-пятого класса, к нам стало поступать довольно много новеньких из “генеральского” дома. Может, они до этого были где-то по границам? Из них потом и образовались стилиаги. Это все были ребята способные, но пока что кое-кто из них плохо учился, так что я в качестве “помогающего” и в их квартирах побывал. Публика это была особенная, ранее не виданная. В общем, был я в младших классах бродячим полу-учителем, чему очень рад.

Мы в те годы очень много времени проводили на улице. Сказать “его воспитала улица” — это не сказать ничего. Улица могла воспитать очень хорошо — каждый из нее брал, что хотел.

Всегда нам не хватало времени, дела были срочные, мы часто бежали по улицам стаей, иногда довольно далеко — ареалы были большими. О скуке не было и речи, все неизбежные работы, типа подготовки уроков, приходилось делать четко, не теряя ни минуты. Сейчас приходится удивляться, как много нам давала советская система. Была масса кружков, секций и т.д., и ими пользовались очень многие из нашего поколения. И тоже очень сжато. Пошел я, скажем, в Дом пионеров — через улицу. Побыл год в столярном кружке, освоил главные инструменты, порадовался доскам и стружкам — и все. Столяр наш расстраивался, сердился. Нет! До свиданья, Василий Петрович, пойду в Клуб юных автомобилистов.

Тогда довольно много ходили в кино, а уж по воскресеньям, на детский сеанс за 10 копеек — обязательно. Хорошие были советские фильмы. Во время перестройки их ругали. Ах, “Кубанские казаки” приукрашивали действительность. Какая тупость! Даже непонятно, всерьез ли эта ругань. Люди моего детства, по-моему, были намного умнее. Они различали идеальный и реальный миры и умели полноценно жить в обоих, их не смешивая. Даже говорить о глупости наших антисоветских гуманитариев стыдно.

Было много и иностранных хороших фильмов. Сначала шли титры: “Этот фильм получен в качестве трофея...”. Каждый раз приятно было читать. Кинотеатров в нашей доступной округе было немного, три или четыре. Но было много Домов культуры — местных заводов. Тогда мы к ним привыкли, а теперь люди отвыкают и скоро знать не будут, что это такое. На Западе такого явления нет, а оно для нас было очень важным. Прекрасные здания, и чего там только нет. И пение слышится, и скрипка, и художники натюрморт пишут. Да, многие жили в старых деревянных домах и бараках, но после работы могли пойти и писать маслом картину, а сынок их играл на скрипке или мандолине. Неоценимая отдушина, и давало силы. Эти Дома культуры были частью нашего быта, причем для всех без исключения. Туда и театры приезжали, и поэты. В бывшем ресторане “Яр” был прекрасный зал, роскошь изумительная. Там зимой была елка, на нее все мы в нашей округе ходили, редко-редко кто не был. В соседнем, театральном зале бывал в каникулы театр кукол, тоже все ходили. Живет мальчик в бараке, а сидит на бархатном кресле у мраморной стены, смотрит на сцену. Таков был его быт.

Когда человек привыкал быть в такой обстановке, это его сильно поднимало. Я бы сказал, что у нас тогда было очень развито правовое сознание — вернее, сознание наших прав. Не в законах было дело, а в том, что люди себя уважали — согласно своим представлениям о достоинстве. Многие мальчики только не умели этого выразить, но если что, упрутся, смотрят исподлобья и твердят: “А чего? А чего?”. Я был покладистее прочих, но и то упирался, если мои права нахально ущемляли. Помню, к “Яру” пристроили здание, точь-в-точь по стилю. Стала гостиница “Советская”, для высших чинов. Аденауэр там жил, потом Неру с дочерью Индирой Ганди приехал. В окне там была маленькая вывеска — “Парикмахерская”. Я говорю приятелям: пойдем, пострижемся. Мы стриглись наголо, в бане, за 10 копеек. Можно было и чуб отпускать, но лишние хлопоты.

Пошли мы в гостиницу. Там мрамор, позолота, фарфор. Парикмахерская — чудо тогдашней техники и дизайна, накрахмаленные простыни. Парикмахер на нас: “Вы куда, шпана?”. Стричься! “А ну вон отсюда, идите в баню!”. Ребята меня тянут, мол, пошли отсюда, Мурза. Я уперся и говорю: “Пришел стричься. Отказать не имеете права, потому что вывеска на улице. Стригите”. Он удивился, посадил и говорит, чтобы уязвить: “Ладно. Но учти, если хоть одну вошь найду, уйдешь наполовину остриженный”. Я про себя усомнился, что он имеет право так строго наказывать. С другой стороны, может, завтра в этом кресле будет Джавахарлал Неру стричься, а тут вошь. В общем, для компромисса я принял условия парикмахера. Постриг он меня, а вывеску сняли.

Но все же центром нашей детской жизни у всех была семья. Жизнь без отцов — особый тип жизни. Сейчас этого не понимают, и во многом поэтому судят о том времени превратно. От этого непонимания, чувствую, многие наши беды происходят. Но это — трудная тема, не буду ее касаться. А вот попроще — наши семьи тогда были расширены, раскрыты. Часто люди ходили друг к другу, могли и поесть, и запросто остаться ночевать. Всегда было что-то наготове, чтобы постелить на полу. Это было общее свойство, и это очень облегчало жизнь в тяжелую минуту.

У нас дома часто подолгу жили родные и друзья родных. Когда получил комнату муж

моей тети, они уехали, уже с двумя дочерьми. Мать работала преподавательницей и приводила жить у нас то одну, то другую девочку. Она видела, что какая-нибудь студентка-первокурсница из глубинки ошарашена Москвой, пригорюнилась, деньги с непривычки растратила. Она такую ведет домой, та месяц-другой в домашней обстановке отдохнет, петь начинает. Тогда можно и обратно в общежитие. Придешь домой — сидит другая в валенках, съежилась. Мать была человек довольно суровый, не в отца своего пошла, а в мать. Все эти студентки, что дома у нас бывали, хорошо закончили учебу, стали специалистами, разъехались. Пока мать не умерла в 1984 году, получала от них письма, как от родственников. И меня они вспоминали.

В начале 50-х годов жизнь как-то резко успокоилась, и стал нарастать достаток. Этого тоже ждали и не удивились — люди очень много работали и мало потребляли. Поэтому хозяйство быстро восстановилось. Цены регулярно снижали, и очень ощутимо. На уровне нашего детского сознания мы были уверены, что Сталин нас любит. Мы это видели по множеству признаков ежедневно. Мы были уверены, и об этом совсем не думали. Но, не думая, и мы в массе своей Сталина любили. Что бы там ни говорили сегодня всякие краснобаи, а был у нас недолгий период взаимной скрытой любви между большинством народа и властью. Официальная любовь и преданность, знамена и барабаны к этому не касаются, я говорю о скрытой, редко выражаемой любви. Возможно, другого такого периода не было и не будет.

В 50-е годы начиналась какая-то новая жизнь, и Сталин умер.

1953-1956 годы

Смерть Сталина переживалась тяжело. Всем было ясно, что начинается какая-то новая жизнь и неизвестно, чем это кончится. К власти шли люди, не имеющие тех общепризнанных оснований для власти, какие были у Сталина. Так что независимо от отношения лично к Сталину все были потрясены — это было видно по взрослым и дома, и в школе. Учителя приходили на урок заплаканными.

Политические интриги в верхах до нас не доходили, но что-то там странное происходило. Летом вдруг показал свое лицо преступный мир. До этого он как-то прятался, “соблюдал приличия”. Были во дворах хулиганы, кое о ком было известно, что они воры, но они знали свое место. Большую роль тогда играл в жизни участковый уполномоченный милиции. Они не менялись подолгу, хорошо всех знали. У нас долго жила без прописки семья моей тети. Регулярно, раз в год, приходил наш участковый, пил чай, проводил беседу, требовал обязательно оформиться.

Это был сильный мужчина. На шее у милиционеров тогда был красный шнур, скрепленный колечком. Пару раз я видел, как наш участковый почему-то вдруг накидывался на какого-нибудь из хулиганов, которые по вечерам группами стояли в подворотнях и арках, валил его на землю, срывал с себя этот шнур и ловко связывал ему руки. Потом вел в отделение. О сопротивлении милиционерам не слыхивали, хотя они оружия не носили. Кобуры были или пустые, или, как иногда дразнила шпана, там лежал бутерброд на завтрак. Дубинку резиновую в первый раз я увидел в Москве 1 мая 1989 г.

И вдруг в начале лета 1953 г. Москву заполнили уголовники всех возрастов. Это была амнистия, о которой потом много писали и даже снимали кино. Видно, что кроме амнистии был какой-то знак, потому что поведение этих людей резко изменилось. Они дали бой обществу — осторожный, но открытый. Слухи, конечно, все преувеличивали, но ужасных случаев рассказывали много. Я и сам столкнулся с новым явлением — меня ограбили (пока что это был единственный случай в моей жизни).

Мы с приятелем сдали экзамен в школе, настроение было хорошее, погода прекрасная, и мы поехали покататься на речном трамвае. От центра до Ленинских гор. Я уговорил приятеля истратить все наши деньги в буфете парохода — купили мороженого, лимонаду, оставили только на обратную дорогу — рубль с мелочью (значит, копеек 18). Сошли и видим — склоны Ленинских гор заполнены странными людьми. Они сидели кучками вокруг костров, что-то варили, играли в карты, при них была малолетняя шпана. Это были освобожденные по амнистии, нахлынувшие в Москву. Мы шли по берегу, и от одного костра отделились трое мальчишек и нагнали нас. Потребовали деньги. Мой приятель говорит: “Нет денег. Вот, смотри,

одни ключи в кармане”. Парень ловко выхватил у него ключи и говорит: “Давайте деньги, а то брошу ключи в реку”. Я вынул деньги и отдал ему. Величиной суммы ребята были разочарованы, вернули ключи и побрели к своим покровителям, которые внимательно смотрели за нашими переговорами. Пошли мы пешком домой, путь неблизкий. И — надо же совпадение — встретили мать моего приятеля, которую каким-то ветром занесло в те края. Странно, что таких совпадений в жизни бывает немало.

Осенью по Москве стали ходить военные патрули — по паре солдат со штыками на поясе. Осматривали закоулки тщательно, были настороже. Сразу обстановка пришла в норму, но осадок у людей остался. Раньше казалось, что таких сбоев в нашей государственной машине быть не может. Кстати, в 1990 г., когда в больших городах демократической прессой были разогнаны органы правопорядка и начался быстрый рост преступности, правительство попыталось ввести патрулирование улиц военными вместе с милицией. Поднялся страшный крик, говорили чуть ли не о военной диктатуре. И главное, этот крик находил широкий отклик у горожан. Это производило очень тяжелое впечатление — как будто люди вдруг утратили здравый смысл.

Мы были подростками, времени не хватало, каждый день в школе был наполнен чем-то новым. Тогда ввели в практику шефство. Нам оно дало очень много. Нас всех кинули как будто в поток технической мысли (даже, скорее, чувства). Заводов вокруг было много, чего только оттуда не доставали ребята. И изобретали, как приспособить. Недалеко от школы, в бывшем ресторане “Спорт” обосновался Институт управления и телемеханики АН СССР. Попросту, Институт кибернетики. Приходил оттуда шеф нашего класса, мрачный инженер. Приносил их изделия — кибернетические машины, сделанные ради интереса в виде игрушек. Вынимал он из кармана трактор, и этот трактор начинал ездить по классу, изучая препятствия, находя выход из лабиринта, выбирая кратчайший маршрут и т.д. Умная машина! Он кое-что объяснял нам, не очень-то понятно. Но интерес был большой, какие-то новые мысли возникали. А главное, все это делали наши люди — этот инженер в потрепанном пиджаке.

Потом нашими шефами были инженеры из ЦАГИ — Центрального аэрогидродинамического института. Мы ходили в их лаборатории, смотрели на испытания моделей самолетов. Работали там нормальные, близкие нам во всех отношениях люди, но от них исходила уверенность, что все нам по плечу. Самые лучшие самолеты будем строить. И еще нас много водили на экскурсии на заводы. На АЗЛК еще делали первые модели “Москвича”, но уже прекрасно было видно, как замечательно промышленное производство, насколько ловки и веселы рабочие, с какой точностью станок-автомат вытачивает распределительный вал. Насколько помню, никого из ребят это зрелище не оставляло равнодушным. Чуть позже, когда сплотились наши стилиги и появился у них свой язык, стали они над всем этим посмеиваться. Это поначалу казалось очень странно. Может, даже и привлекало тем, что было непонятно.

Школу я кончил в 1956 г. Сейчас, посмотрев нашу уже перестроечную школу 80-х годов (мои дети учились), посмотрев школу на Западе, я скажу, что в 50-е годы советская школа “созрела” и выявила свои главные качества. Это было великолепное творение нашей культуры и всего народа. И явление это было чисто советское. Возможно, неповторимое и, видимо, в нынешней России его не удержать. Это было явление во многом духовное и художественное, взлет его связан с Победой и многими *культами*, которые нельзя поддерживать искусственно. Не получается. Конечно, если бы мы поняли, что такое наша школа, то многое можно было бы закрепить и воспроизвести и в “хладнокровных” условиях. Но понимания, думаю, не было, его не видно и сейчас. Тогда мы об этом не думали. Казалось, что все черты советского жизнеустройства — вещь естественная, так что же о них думать.

В старшие классы к нам пришло уже много учителей нового поколения, они учились во время войны, это были уже в основном интеллигенты во втором поколении, хорошо образованные. Но, благодаря пережитой в юности войне, люди исключительно чуткие и, я бы сказал, истинные демократы. Они ценили каждого из нас, как это полагается в христианстве, но у них это было советское, “сталинское” свойство. Они спуску не давали и требовали от всех нас стать личностями, не опускаться.

Многие видели хороший лирический фильм по повести В.Распутина “Уроки

французского». Я люблю этот фильм, но в одном смысле в нашей школе было совсем по-другому. Умная и тонкая учительница маленького Распутина говорит ему, что он должен хорошо питаться, чтобы хорошо учиться — потому что *он* очень способный мальчик, не то что *другие*, балбесы. Наши учителя таких вещей не говорили и, по-моему, не думали. Сейчас я перебираю в памяти всех их, все наши разговоры — такого не могу себе представить. Если бы мне кто-нибудь из учителей такое сказал, это была бы для меня вещь постыдная, мне было бы очень неудобно за учителя.

Понятно, что учительницы наши были разного достатка. Например, географию вела жена народного артиста СССР из МХАТа. А наша классная руководительница, математичка, дочь чеха, была замужем за солистом оркестра Большого театра. Другие, видно было, жили очень скромно. Но все молодые учительницы приходили в класс хорошо, элегантно одетыми. Все были чем-то красивы — движения, речь, все было так, будто каждый приход к нам в класс был важным событием. Мы об этом никогда не говорили, но очень ценили.

Муж нашей классной руководительницы был азербайджанец, и мы любили ходить к ней домой делать стенгазету. С ними жила тетя-азербайджанка, она по-русски не говорила, молча ставила перед нами блюдо с какими-то восточными сладостями, две маленькие дочки лезли к нам рисовать. Ольга Францевна была человеком исключительной доброты. Но дело не просто в доброте. Она была, выражаясь суконным языком, “продукт советского строя” — и “производитель” этого строя. Перебирая в памяти людей, которые были бы совершенно несовместимы с тем антисоветским, что мы сегодня видим в России, я бы сразу назвал ее. Она была абсолютно чужда пошлости и ни перед кем не заискивала, будучи при этом покладистой и разумной. И была она замечательным педагогом. Мы понимали математику так, будто в ней ничего сложного не было. Такая у нашей учительницы была культура мысли и слова. Вообще, это может показаться странным, но наши школьные учителя были по своему уровню выше университетских преподавателей, как я их узнал в МГУ. То есть, конечно, те в своей области были мастерами, но учителя в общем, как тип интеллигента, были людьми удивительно широкими. Они могли говорить о проблемах бытия. Даже наши с ними стычки и конфликты как-то оборачивались важной стороной, что-то из них западало в душу. Школа не была фабрикой, а мы не были винтиками.

Когда в старших классах сложилась “культура” стилияг, в среде учителей возник едва заметный, но, видимо, глубокий раскол. Думаю, гораздо более глубокий, чем в среде учеников. У нас сменилась классная руководительница, вести класс стала преподавательница литературы, женщина молодая и красивая. Педагог она была блестящий, замечательно читала стихи. Она приходила на наши вечеринки с вином, их собирали ребята из “генеральского” дома, они жили в больших квартирах. Не все в классе на них ходили. Там витал дух корректного презрения к “плебеям” (кстати, тогда это слово вошло в жаргон). Мне на этих вечеринках было жалко смотреть на наших девочек из “бедных” семей, которые этого не чувствовали и искренне радовались компании.

Со стилиягами наша литераторша имела общий язык — без слов, взглядами. Но иногда казалось, что они общаются где-то вне школы, там, где проходит их главная жизнь — так они понимали друг друга. Повторяю, что это была преподавательница высокого класса, что-то в ней даже было от змея-искусителя, она была как бы антиподом нашей Ольги Францевны, которая теперь наблюдала за классом с какой-то грустью, как будто потерпела поражение. У нас был литературный кружок, там наша учительница рассказывала о символистах, читала Гумилева, Ахматову. Она меня туда звала, и я бы не прочь был ходить и слушать. Но было там что-то чужое и даже враждебное, странно и неприятно. Это было что-то новое. Вернее, раньше оно, наверное, тоже было, но пряталось, а теперь стало осторожно выходить на свет.

Она говорила мне на этих собраниях кружка: “Сергей, почему вам нравится Маяковский? Ведь он — поэт невысокого полета. Посмотрите, насколько глубже него Блок”. И она читала какую-нибудь строфу из Блока — для меня. Неприятно было, что в классе она говорила совсем иные слова, а здесь предлагала мне войти в кружок посвященных. Тогда я, конечно, не анализировал своих чувств — и не подумал бы тратить время на такие вещи. А сейчас вспоминаю и вижу, что это меня оскорбляло, мы считали себя выше таких уловок. Да, мне нравился Маяковский. Может быть даже, что он мне поначалу понравился потому, что его нам

рекомендовали любить, но потом-то он *мне* понравился, и я даже знал, почему. А тут меня соблазняли возможностью тайно его не любить. Нам двуличность тогда была противна.

Раз уж заговорили о стилягах... Странно, но мне не попалось ни одного исследования этого явления. А оно было, думаю, исключительно важным. Если бы в нем вовремя разобрались! Ведь это был крик важной части молодежи о том, что ей плохо, что-то не так в нашем советском обществе. Это были ребята из семей важных работников (номенклатуры). Они не знали нужды — и им стало плохо. Но ведь следующие поколения уже в массе своей подрастали, не зная нужды. Стиляги нам показывали что-то, к чему должно было готовиться все общество. Этого не поняли, и их затюкали. Хотя какое-то время они стойко держались, но постепенно превращались в секту и “вырождались”. Трудно долго быть изгоями.

Это были ребята в основном способные и поначалу они ничем почти не отличались. Один ходил даже в отцовской шинели. Но в старших классах как-то незаметно они сплотились в замкнутую группу, завели особые прически, выработали свой язык, походку, стиль поведения и стали резко отличаться от “плебеев”. Им якобы нравилась западная музыка, танцы и т.п., но это не главное. Те эксцессы вроде пьянок, оргий и хулиганства, о которых писала пресса, были редкими случаями и были характерны для “маргиналов среди стиляг”. Да и преувеличено это было прессой. В нашей школе, кстати, никогда этот вопрос явно не поднимался, и в глаза стилягами их никто не называл.

У нас было в потоке шесть классов, но стиляги как-то сконцентрировались в двух, в том числе в моем. Я с ними довольно тесно общался. Во-первых, через мотоцикл. Другой “мотоциклист” в нашем классе был из их числа. К тому же у меня водились деньги, а многим из них часто было позарез нужно — кое-кто у меня занимал. Траты у них были большие, порой и в класс приходили выпивши, да выпивши чего-то дорогого, судя по запаху. Я бывал у них дома, почти у всех почему-то были старшие сестры, на них было интересно посмотреть. Они были непохожи на других девушек, красиво одевались и так подкрашивались, что все были похожи на красавиц с картин Врубеля. Совершенно нерусского образа. Но “стиляг”-девушек практически не было, они маскировались. Те “чувихи”, которых стиляги таскали с собой, были так, для развлечения, их как раз рекрутировали из “плебеев”.

Так вот, главным в этих ребятах была какая-то тоска, как будто они устали жить. Большинство из них, под давлением родителей, старались хорошо учиться, но было видно, что это они делают нехотя. И потому не получалось, даже в десятом классе. Иной раз смотришь, даже губа у него вспотела, так хочет пятерку получить. Чуть-чуть, но не дотягивали. Как будто не могли сильно сосредоточиться, вдуматься. Зачем, мол, все это? И все так. Просили у меня поехать на мотоцикле — и тоже все получалось как-то неумело, грубо. Мотоцикл ревет, дергается. А-а, махнут рукой, посмеются. Не было желания сделать усилие, освоить — как у других ребят, у “плебеев”.

Родители у многих из них были самоотверженными советскими тружениками (но не все, это надо заметить). Эти труженики страдали и не понимали, что происходит с их сыновьями. Тогда на этой почве бывали инфаркты и даже самоубийства (обычно в случае “эксцессов”). Помню, почти на сцене умер мой любимый актер Мордвинов. Читал отрывок из “Тихого Дона”, замолчал и только успел сказать: “Прошу меня извинить” — ушел за кулисы и умер. Говорили, что сын-стиляга попал в какую-то передрагу. Может, слухи, но таких слухов было много.

В нашем классе учился сын секретаря парткома издательства “Правда”, хороший добрый парень. Был он стилягой, хотя одеждой из класса не выделялся. Может, отца не хотел подводить. Отец как-то попросил меня придти к нему в партком, в его огромный кабинет. Спрашивал меня, в чем тут дело, как быть — и заплакал. Я был в ужасе, что-то лепетал, успокаивал его, хвалил его сына. В голове не укладывалось — человек на таком посту, фронтовик, сильный и явно умный. Даже он не мог понять, что происходит с его родным сыном, которого он наверняка воспитывал как советского патриота и будущего коммуниста.

Я думаю, что те стиляги, которых я знал, сошли со сцены непонятые, но не сделали большого вреда стране. Те, кто начал вынашивать идеи перестройки пять лет спустя, с начала 60-х годов, были другого поля ягоды. В них не было ни тоски, ни надлома, они рвались наверх и были очень энергичны и ловки. Это уже были люди типа Евтушенко, Гавриила Попова и Юрия Афанасьева.

Сегодня, если кто и вспоминает про стилиг 50-х годов, обсуждая историю крушения советского строя, то придает этому явлению “классовый” характер — мол, это была “золотая молодежь”, первый отряд нарождающейся из номенклатуры будущей буржуазии, “новых русских”. Недаром, мол, Сталин говорил об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Я думаю, эти понятия внешне соблазнительны, но не ухватывают суть. Я вижу это дело так. Само устройство нашего общества привело к появлению обширного правящего слоя с расщепленным сознанием и двойственным положением. Когда система стабилизировалась и слой номенклатуры расширился, вобрав в себя множество людей из трудовых слоев, он приобрел черты сословия и зачатки кастового (но не классового!) сознания. Но не успел приобрести того аристократизма, который не позволяет этой кастовости низкого пошиба проявиться.

С другой стороны, и личная история этих людей, и та идеология, которую они искренне исповедовали, были очень демократичными (очень часто, насколько я мог видеть, матери стилиг были простыми добрыми домохозяйками, сохранившими свою старую бытовую культуру, но из-за безделья довольно-таки опустившимися). На отцах это сильно не сказалось — они, повторяю, много работали, а многие и воевали. А дети у некоторых из них такого расщепления не выдержали. Они уже ощущали свою кастовую исключительность, но идеология и отцы обязывали их учиться и работать, будто они такая же часть народа, как и все их сверстники. В ответ на это противоречие часть подростков сплотилась, выпятив свою кастовость и бросив вызов демократической советской идеологии. Это была очень небольшая часть! Большинство таких детей (и, думаю, большинство самих стилиг) в зрелой юности поступили именно так, как им советовали отцы — стали нормальными инженерами, учеными, военными. Но то меньшинство, что “бросило вызов”, выглядело так вопиюще странным, что все на него обрушились.

Настоящая “золотая молодежь” из высшего советского сословия была, по-моему, совсем другой — веселой, разгульной и совсем не космополитической. Никакой “идеологии” она не вырабатывала. Ее типичным выразителем был, думаю, Василий Сталин. Мне пришлось видеть людей, которые с ним общались во время войны и сразу после нее. Все о нем очень тепло отзывались — человек он был добрый, самоотверженный и простодушный. Разгульный — да, но не в пику другим. Его беда в том и была, что он других в разгул втягивал. Стилиги — не от таких произошли в следующем поколении.

Я в детстве такого “советского аристократа” близко наблюдал и мог сравнивать его с “золотой молодежью” из моих сверстников. Совсем другой тип. Дело было так. После войны у нас жил мой дядя, его назначили преподавать историю в Военно-дипломатической академии. Было такое элитарное заведение. С ним подружился один слушатель, его ровесник и тоже майор. Он был, кажется, племянник Шверника, в общем, из высшей номенклатуры. Более обаятельного человека мне трудно припомнить. Красивый, умный (точнее, остроумный), веселый и очень приветливый — вообще к людям. Вокруг него всегда была атмосфера праздника. Это был гуляка в полном смысле слова. То у нас дома выпивка, то с дядюшкой моим в ресторан закатятся, то на бильярде играют. Меня с собой иногда таскали. Зайдем к нему домой — квартира прямо около Кремля, и они с моим дядюшкой исчезают. Так мы и сидим с его грустной женой и огромной собакой. Я тогда удивлялся: такая жена красивая, такая собака хорошая — зачем куда-то уходить. Человек не мог без компании.

Когда у нас дома гуляли, приходила подруга соседей, Муха. Она работала на радио и была веселой, компанейской женщиной. Взрослые видели, что она, что называется, “стукач”. Дядя всегда своего приятеля предупреждал: “Володя, держи язык за зубами”. Но тот не мог утерпеть, если хороший анекдот узнавал, обязательно расскажет. Так их обоих и выгнали из Академии — дядюшку в Гатчину преподавать в военно-морском училище, а приятеля его — в железнодорожные войска. Он к нам долго еще потом заходил изредка — такой же веселый и приветливый. Легко обошлось. Я к тому рассказал, что у этой “золотой молодежи” совсем не было ни пессимизма, ни отрицания России, которыми страдали стилиги.

Но вернемся к нормальным ребятам, без комплексов. В школе, класса до седьмого, почти все мы ездили на каникулы в пионерлагеря. Это был особый тип общения, в такой обстановке, которую ничем другим не заменить. Вместе, разных возрастов, мальчики и девочки, юные

вожатые из студентов, лес и озеро, танцы и кино. Пионерлагерь в те времена — великое дело. Потом этот институт советского строя, похоже, сник, но в годы моего детства и отрочества трудно было бы представить советскую жизнь без пионерлагеря. Там возникала особая дружба, детская и отроческая любовь, там была разлука с домом и вечерняя грусть.

Когда я был в пятом классе, нам на школу дали одну путевку в “Артек”. Считалось, что это верх мечтаний. Меня позвал директор и сказал, что решили дать путевку мне. Я был польщен и, конечно, рад, хотя уже собрался ехать в знакомый лагерь на Пахру. Через неделю снова вызывает меня директор и говорит, смущаясь: “Знаешь, Сережа, тут приехали дети французских коммунистов. Не уступишь ли ты свою путевку в “Артек”? Понимаешь...”. Я говорю: “Не волнуйтесь, Семен Петрович. Уступлю и даже с удовольствием”. И это было правдой, я с радостью поехал к старым знакомым. А на море мы и так ездили после лагеря с матерью.

Я этот случай сразу забыл — до 1990 года. А вспомнил потому, что был в Испании, и там приятель дал мне почитать книгу сына Мориса Тореза — воспоминания о его жизни в СССР. Оказывается, он с группой детей других руководителей компартии Франции приехал в СССР как раз в тот год, что мне давали путевку в Артек. И этих мальчиков-французов поселили в Артеке. Дальше сынок героя-коммуниста издевается, в стиле наших демократов, над советским строем, поминает, как водится, Павлика Морозова и т.д. А в конце хвастается своим подвигом в борьбе с советским тоталитаризмом. В 1988 г. он поехал напоследок погулять по СССР на собственном микроавтобусе. Выправил себе письмо от ЦК Французской коммунистической партии — как же, сын славного Мориса Тореза, большого друга СССР. С этим письмом его везде привечали и угощали. Но главное было не в угощениях. Он, оказывается, заранее подрядился контрабандой перевезти в своем фургоне на Запад груз ценных картин из СССР. Наши добряки из ЦК КПСС тоже ему какое-то рекомендательное письмецо дали. И вот он на финской границе тычет эти письма пограничнику, чтобы пропустили без формальностей. Солдат не слишком приветливо читал, и у борца с тоталитаризмом, как он пишет, сильно вспотела спина. Потом подошел офицер, прочитал, отдал честь — маленькая победа над сталинизмом состоялась, картины уплыли в “наш общий европейский дом”.

Я написал письмо в ЦК ФКП и через них потребовал, чтобы сын Мориса Тореза вернул деньги за мою путевку. Для сына Мориса Тореза мне было не жалко, но этот тип с отцом порвал, так с какой стати. Пусть посчитает по рыночной стоимости и переведет хоть в детский дом, я адрес сообщу (недавно, кстати, видел цены — на 21 день 500 долларов). Показал письмо друзьям, чтобы перевели, если надо, с испанского на французский. Оказывается, сын Мориса Тореза недавно умер, такой молодой. Да... Не надо было ему над Павликом Морозовым смеяться.

В Артек я не съездил, но вообще в те времена люди ездили много, и я помимо пионерлагерей побывал в разных местах. Билет стоил недорого, и массы людей передвигались на большие расстояния. Проблема была — купить билеты. Приходилось записываться, стоять в очереди по ночам. На Западе я такой страсти не видел, а у нас поезд — особая часть жизни. Первый раз поехали на отдых в 1948 г., на Оку, в городок Елатьму. С продуктами было еще плохо, так засушили сухарей большой мешок, взяли крупу, которая осталась от военных пайков (я ее потом продавал стаканами на рынке — на обратную дорогу). Вызвали по телефону такси, “Победу”, приехали в Южный порт и — на пароход. Три дня на пароходе — какое счастье.

Но пароход — это был особый случай. Перед этим мы пошли на ипподром, на скачки. Интересно было посмотреть. Вдруг мать достает деньги и дает мне и сестре. Говорит: “Можете поставить свои деньги на лошадей, поиграть на скачках. Чтобы знать, как деньги пропадают. А можете мороженое купить”. Такую воспитательную акцию решила провести. Сестра разумно купила мороженое, а я пошел и поставил — на 2 и 7. Так мне около кассы старик-пьянчуга посоветовал. И я выиграл! Да еще драматически — одна лошадь не пошла, один жокей, шедший вторым, перед финишем упал. Много денег, сумма тогда необычная. Получил я в кассе деньги, мать велела сколько-то дать тому старику, и мы поехали в Елатьму на пароходе, в каюте. Обратно уже в трюме, третьим классом, но тоже хорошо.

Куда бы мы ни приезжали на отдых, везде мне поначалу казалось, что мы селимся у каких-то дальних родственников. Сразу взрослые по вечерам у керосиновой лампы обсуждают

какие-то дела, решают проблемы. Кому-то ехать учиться — или не ехать. Что-то им надо из Москвы прислать — кому порох и дробь, кому учебники какие-то. Потом, постарше, я видел эту простую механику. Приезжаем в село, мать спрашивает у лодочника или у первого встречного, кто тут сдает комнату в избе — и идем. Не родственники, но результат тот же самый.

Через год мы поехали уже на Волгу, дядя-художник посоветовал, очень красивые места, 60 км от Костромы. На поезде, потом на катере, оттуда на лодке километра три-четыре. В деревне было еще несколько семей таких отдыхающих. Леса огромные, молоко, грибы и рыба. Ходили за грибами вместе с деревенскими ребятами. Один из них, подросток, замечательно пел. Только выйдем за деревню, начинает петь, голос прекрасный и слух абсолютный. Женщины-москвички собрались, пришли к его матери и говорят, что ему надо учиться. Они готовы были вместе деньги сложить, и жить ему можно было бы у одной из них — надо ехать. Думали мать с сыном, думали, но так и не решились, побоялись. Сам-то он не ценил свой голос по молодости лет.

Три года подряд мы ездили в село Фальшивый Геленджик, кто-то посоветовал. Какая красота! Это южнее Геленджика. Назвали место так, потому что в последнюю турецкую войну там устроили засаду турецкой эскадре, которая ночью должна была напасть на Геленджик — зажгли много огней, как будто город. Сейчас там курорт, а тогда никого не было, только в речке была база торпедных катеров, а на лето приезжало в лагерь Тбилисское нахимовское училище. Снимали мы всегда комнату в одном и том же доме на окраине, в большом саду. Сад этот раньше принадлежал отцу нашей хозяйки, а теперь был колхозный. Но когда собирали там черешню, сливы или груши, то несколько деревьев у самого дома не трогали — оставляли дочери хозяина. Жили там давние переселенцы с Украины, но было и много греков, попадались черкесы, турки. Так смешались, что возник общий “южный” тип лица и говор.

Меня там не только море привлекало. Искупаюсь — и бегу на колхозный двор. Там мальчишки уже запрягают лошадей, и я с ними пристроился ездовым — лошадей любил. Возили из долины помидоры, потом сливы и т.д. Вечером распрягали — и верхом в горы, в ночное. Иногда и купали в речке. Хозяин дома, где мы жили, был человек бывалый, зимой подрабатывал охотой на кабанов и коз. В войну дослужился от рядового до лейтенанта, но в Германии его снова разжаловали в рядовые — кур они у немцев отняли, зажарили на костре и целым взводом съели. Говорил, что некоторые не ели, про себя возмущались. На начальство, за то, что его разжаловали, не сердился — правильно сделало, иначе нельзя. Говорил, что даже Героев Советского Союза за грабеж немцев расстреливали, хотя был обычай — Героев ни за какие проступки не расстреливать. Неизвестно, правда ли, но, видно, такие слухи по армии ходили.

Одно лето он пас телят в горах, и я с приятелями у него в хибарке жил. Со мной приехали два моих одноклассника, и один ровесник был сыном офицера из Нахимовского училища. Вот это была жизнь. Для еды у нас была корова, дядя Володя ее доил, а мы пили сливки. Тут же было несколько ульев, и он доставал мед. А на закате пригоняли мы телят в загон и шли на засидку — стрелять зайцев. Жарили, разговаривали. Человек он был рассудительный, повидал много и все проблемы войны и мира толковал и так, и эдак. В каждом деле видел две стороны, а то и больше. Он, например, ненавидел колхозное начальство — и в то же время высоко ставил сам колхозный строй. С колхозного собрания приходил мрачный, злой — опять, мол, устроили праздник урожая вместо собрания. Привезли из города буфет, мороженое, артистов. Все взбудоражены — так хитро правление людей от дела отвлекает, чтобы больших вопросов не поднимали. Всерьез уже ничего не скажешь. Много рассказывал про сталинские времена — как зажимали людей в колхозе. Зло говорил, серьезно — а потом у него выходило так, будто по-другому и нельзя было сделать. Поначалу было странно слушать эти непоследовательные рассказы — будто я что-то пропустил, прослушал. Потом привык, и эта стихийная диалектика стала казаться разумной.

Было у дяди Володи одно свойство, которое, думаю, дается только сочетанием опыта и ума. Он хорошо чувствовал признаки опасности, далеко вперед видел возможные последствия того или иного действия. Домашним он то одно запретит, то другое — дочь плачет, жена ругается. Он мне потом последовательно объясняет, чего они не поняли. На другой год он

сторожил в горах сад, я тоже там отирался. Приехали из колхоза там сено косить, на косилке. Уезжают, косу закрепляют на дышле. Он подошел, говорит: “Бонифатович, переложи косу, опасно”. Тот возмутился: “Ты что, Андреич. Всегда так вожу. Ты больше меня знаешь?”. Дядя Володя ему объясняет — на таком-то косогоре может косилка так-то накрениться, и лошадь как раз сухожилием зацепит за косу: “Переложи, Бонифатович, сухожилие подрежет лошадь — в тюрьму сядешь”.

Я тогда уехал с косилкой вниз, в село. А через пару дней дядя Володя приходит из сада, приносит хорошую серую рубаху, обычную в то время, с завязанными рукавами, набитую прекрасными яблоками. Подъехал по дорожке незнакомый парень на велосипеде, его не заметил. Снял рубаху, набил ее яблоками. Тут дядя Володя из кустов вышел и крикнул. Парень с перепугу бросил рубаху, на велосипед — и под гору. “Я, — говорит дядя Володя — кричу, мол, заberi рубаху. Какое там!”. Посмеялись мы, яблок поели — куда их теперь девать. Назавтра я опять пошел с дядей Володей в сад, пожить в шалаше. Сидим, варим ужин. Выходит по тропинке Бонифатович: “Андреич, ты не видел тут рубаху серую? Я косил, повесил ее на яблоню”. “Нет, Бонифатович, не видел. Я вчера в село уходил”. Огорчился мужик, ушел. Мы помолчали, ничего не сказали. Как, думаю, ловко он историю придумал — и рубашку принес, и яблочек хороших. Сложный человек.

Так мы и жили летом. Приходилось, правда, в сельмаге в очереди стоять и за билетами на поезд. Но мы тогда не знали, что это, оказывается, унижает наше человеческое достоинство. Это нам только в перестройку объяснили.

Проблемы досуга у нас не было. Потом, когда о ней стали говорить в 70-е годы, это, видимо, было уже очень тревожным симптомом. В наше время у нас постоянно возникали какие-то увлечения, которые захватывали нас целиком, поесть некогда было. Я не говорю уж об “организованных” увлечениях, которым многие предавались. Тогда в старших классах не редкостью были уже и мастера спорта, а первый и второй разряд многие имели. Любили спорт. Но много придумывали и нелепых дел. Я как-то взял у дядюшки ракетницу, покупал коробки с пистонами для охотничьих патронов, вставлял в гильзу ракетницы и учился стрелять. В какой-то книжке прочитал, что так сибиряки учат зимой в избе детей стрелять — по свечке. При взрыве пистона идет тонкая струйка ударной волны и гасит свечку. Не знаю, каков тут физический механизм, но струйка эта не расплывается, а проходит через пространство, как луч лазера. А главное, чуть не со скоростью пули — моментально. Я потом вместо свечки ставил на бутылку шарик от пинг-понга — струя его сбивала, как пулей, срезала с бутылки. И я сидел в комнате, весь в пороховом дыму, и стрелял, пока не кончались боеприпасы — а в коробке была тысяча пистонов. Ракетница была очень тяжелая, и рука привыкла не дрожать, а это при стрельбе главное. Потом, когда приходилось стрелять на военных сборах, казалось, что пулю просто рукой втыкаешь в мишень. Чуть поднимется вдали силуэт — всадишь в него короткую очередь из автомата, и целиться не надо. Офицеры за спиной даже ахали.

Но главное, конечно, в те времена была техника. Чего только ни делали. Валялся у меня старый довоенный фотоаппарат — приятели его взяли, чтобы сделать из него увеличитель. Рассчитали оптический путь, наладили лампу, трубу — все нормально. Потом бросили. Увлечлись музыкой. Тогда появились долгоиграющие пластинки. У меня был большой хороший приемник — дядюшка купил после войны, когда появились. Ребята его взяли, распилили, перепаяли, купили мотор и звукосниматель и сделали радиолу — подарили мне на день рождения. Пластинки играла, но радио наладить не смогли, хотя делали все по схемам.

Один из этих приятелей решил тогда наладить производство модных пластинок — переписывать их на рентгеновскую пленку. Ходил в библиотеки, делал чертежи, вычислял геометрию резца. Все обсуждали. Пленки набрал в поликлинике. Наладил — делал пластинку с песней “Бесаме, бесаме мучо”. Ходил продавать у Большого театра, как его только милиция не поймала. Потом увлекся мотоциклом. Вообще, были у него золотые руки. Жаль, талант изобретателя был у него связан с коммерческой жилкой, на этом он погорел (надеюсь, на время). Начинали с мотоциклов, в десятом классе он стал подрабатывать ремонтом автомобилей. За забором завода, где работал его отец, сделал себе хибарку-мастерскую, подвел туда сжатый воздух, электричество. Из двух разбитых машин делал одну и продавал. Потом, уже после школы, недостающие детали стал снимать с неразбитых машин — и попал в тюрьму.

Там стал писать стихи.

Талантливый был парень этот Эдик (“Эдди”), изобретательный и упорный. На уроки, конечно, времени не было — со стилистами связался, пластинки эти, то да се. Поступил в автодорожный институт. Экзамены за него сдавали мои приятели, он ловко приклеивал их фотографии на свой экзаменационный лист. Мне не говорили, боялись, что я буду ругаться. Я случайно увидел, уже к последнему экзамену.

У него откуда-то появился подержанный мотоцикл. Я тоже любил это дело, на машинах рано начал ездить, в Клубе юных автомобилистов. Это было замечательное место. Материальную часть нам преподавал старик, из военных. Он был еще шофером, участником Брусиловского прорыва в 1916 г. Автомобиль знал прекрасно, много рассказал важного о том, как пришли к созданию нынешних вариантов главных механизмов и агрегатов. Много стало понятным. Вообще много важных вещей говорил. А инструкторы были тоже все из демобилизованных. Ездили мы по пять человек на полуторках, работали они, как часы. Иной раз поедем куда-нибудь на дровяной склад, нагрузим дров и везем инструктору домой, за город. Разгрузим, попьем чаю — и опять в Москву, колесить по улицам. А летом — на целый день по Подмосковию, с собой ведро, картошка. Потом — в Крым, но туда я уже не ездил, некогда было.

А в девятом классе пошел, купил мотоцикл К-125 (“макака”). Удивляюсь, как мать согласилась, дело и вправду очень опасное. Странно, что кончилось благополучно. Привел я его домой, осмотрели и — вперед. Но это — не полуторка. Выехал я со двора на Ленинградский проспект, тащит меня на грузовик, я ногой прямо от его колеса оттолкнулся, меня — на троллейбус, я и от него ногой. Милиционер свистит, я свернул за угол на ул. Марины Расковой и стал гонять по маленьким улицам. Эдик за мной. Наездился я, подъехали к дому — куда девать мотоцикл? Об этом как-то не думали. Говорю, помощи поднять домой. А жил я на шестом этаже. Затащили в лифт, и я чудом вздернул мотоцикл вертикально, нажал кнопку лифта. И прижал Эдику ногу раскаленной выхлопной трубой. Он корчится, хрипит, а отодвинуть некуда. И тут, смотрю, из бака через пробку течет бензин и прямо на горячий цилиндр. Шипит, как вода на сковородке, и весь лифт заполнился парами. Ну, думаю, все. Сейчас какая-нибудь искра в лифте проскочит, и мы взорвемся. Потом я стал наливать только по полбака и наловчился один втаскивать мотоцикл в лифт.

Ожог у Эдика был тяжелый, нога забинтована. Решили мы поехать к моему дяде на конный завод, около села Успенское. Седла заднего, подножек нет, с больной ногой ему сзади плохо. Он — за руль, я на багажнике. На Рублевском шоссе полно милиции, и нас остановили. Номера еще нет, прав тем более. Обругал нас милиционер (“сотрудник ОРУДа”), говорит мне: “Ты владелец, ты и садись за руль. Все-таки меньше нарушений”. Пересели, чуть отъехали, и вдруг сзади раздался страшный скрип, и нас чуть не сбросило в кювет. Я затормозил, и Эдик со стоном в кювет скатился. Оказывается, у него нога попала между задней вилкой и спицами колеса, и спицами этими срезало задник ботинка и пятку — чуть не до кости. Зрелище ужасное. Что делать? Недалеко изба, я кинулся туда, просить бинтов. Там какая-то девка готовится к экзамену — ходит взад-вперед по избе и заучивает наизусть кусок из “Войны и мира”. Отстань, говорит, мне некогда, завтра экзамен. Обругал я ее: дура, наизусть учит. Побежал обратно, сел на мотоцикл — и назад к милиционеру. Так и так, говорю, где тут медпункт. Он мне объяснил, я взгромоздил Эдика, тихонько довез, там его опять перевязали. Дух перевел, снова сел за руль, а я уж сзади. Доехали, а там мой дядя-ветеринар его лечил.

На мотоцикле этом многие в классе ездили — кто не боялся. По очереди. На уроке сидим, слышим — трещит. Следующий руку поднимает: “Валентина Николаевна, разрешите выйти”. Она удивляется: “Да что это вы сегодня? Ну, иди”. Попадали, конечно, в милицию. Один милиционер на улице “Правды” за нами гонялся, заело его. Наконец, сумел подставить ногу, приятель ее переехал, но с перепугу затормозил, его и потащили. После экзаменов мы с Эдиком поехали далеко — в Ленинград, Прибалтику. Дело оказалось нелегкое, потому что Ленинградское шоссе строилось, ехать было просто невмоготу. К вечеру только до Вышнего Волочка доехали, переночевали в Доме колхозника, с комфортом. Мотоциклы нам разрешили в коридор затащить. На другую ночь — в Новгороде. Что делать? Холодно, палаток еще мы не знали. Где-то у вокзала попросились у сторожа переночевать. “Ложитесь”, — говорит, отвел в

камеру хранения, и мы улеглись на полках, среди чемоданов и корзин.

С милицией у нас проблем не было, любила она таких. Вообще я в тот год проникся к милиции уважением. Откуда столько терпения? Только в Таллине задержали нас эстонцы — здоровые, в кожаных куртках. Давайте, говорят, справки из школы и разрешение от родителей. Что за чушь, где такой закон. Продержали до часу ночи, потом выпустили. На рассвете, уже неподалеку от Пярну, нас снова два милиционера остановили, русские. Начали придирааться. У меня от вибрации заднее крыло треснуло, я его выбросил, а номер прицепил на рюкзак. Не положено. В общем, мучили нас, мучили, а потом прямо говорят: “Сколько у вас денег? Ну, давайте половину”. А у нас было 25 руб. — только до Пярну доехать, там у меня дядя. Тьфу! Забрали и отпустили. А дядя мой был командир полка, который стоял под Пярну, чуть ли не первое лицо в городе, его там все знали. Как-то мы с ним идем по парку, а навстречу нам тот милиционер, что у нас деньги отобрал. Узнал он меня, и в глазах у него появилась тоска. Наверное, подумал, что я сейчас воспользуюсь случаем. Я потом говорю: “Дядя Коля, мы сегодня встретили того милиционера, что у нас деньги отобрал”. “Что ж ты мне не сказал, я бы ему объяснил...”.

Вообще, за всю жизнь претензии ко мне были только у ГАИ. Только когда мы с Эдиком приехали в Ригу, и обычный милиционер ко мне прицепился. Дорога тогда доконала наши мотоциклы, мы из двух составили один работающий, и Эдик тащил меня на буксире. Это было нелегко, мы измучились, покрылись грязью, при падении у меня снизу доверху разорвались штаны. Я сам их сшил из прочной материи — и все-таки порвались. К тому же я, в такую дорогу, постригся наголо. Так, что вид у меня был не для цивилизованной столицы советской Латвии. Прибыли мы туда под утро, Эдик прикорнул на скамейке. А я пошел, пошел по какой-то площади, на газон, лег и заснул. Меня растолкал милиционер. Осмотрел, не удивился. Взял мой новенький паспорт — я только недавно его получил — и теперь удивился. “Почему паспорт новый выдали?”. Тут удивился я: “А разве дают старые, бывшие в употреблении?”. Он опять: “Где отбывал?”. Я еще спросонья не понимал, что он имеет в виду, говорю: “В Москве”. Он опять удивился: “Зачем в Риге?”. “На каникулы”. Он разозлился, а я наконец понял — он думает, что меня только что выпустили из заключения. Спрашиваю, почему он так решил. Он рукой провел: “Посмотри на себя, у тебя еще и волосы не отрасли. Зачем в Ригу приехал?”. Я ему растолковал, показал все документы. Он покачал головой, велел идти спать где-нибудь подальше. На газоне нельзя, тем более в центре. Кстати, это был единственный раз в моей жизни, когда у меня на улице потребовали паспорт. Никто в СССР паспорта с собой не таскал. А сейчас, смотрю, в метро то и дело людей вылавливают и требуют документы.

Я рад, что пришлось мне поездить на мотоцикле. Много людей повидал, много мест. Не страшно было в своей стране куда угодно попасть. Везде друг друга понимали. Ездили мы почти без денег, но все же деньги требовались. Много ломалось, надо было покупать запчасти, продукты. Мать давала, я и сам прирабатывал. Странные работы попадались. То перепечатывал пословицы. А в десятом классе пришлось притвориться преподавателем. Тетя моя работала в заочном техникуме. Она должна была проверять письменные работы по истории, писать на каждую отзыв и выставлять оценку. Но у нее опять родилась дочка, уже третья, она не успевала. Отдала мне пачку работ — проверь и сделай отзывы, поподробнее, чтобы людям помочь. За каждую работу платили 1 рубль 80 коп. Мне пришлось перечитать всю доступную литературу, но у меня почти все дома было, мать тоже преподавала историю, да и дядя Ваня, пока его в Гатчину не перевели. Он, видно, покупал все, что выходило. Так что я в каждой работе сразу угадывал, с какой книги списано. Люди писать любили, иногда по целой тетради исписывали, хотя можно было и короче. Интересно было читать — за каждой работой виден был человек. Многие взрослые, “практики”, тоже учились заочно, для должности требовалось. Этим сразу было видно. Я тоже полюбил писать отзывы — как будто разговаривал с человеком.

Когда наловчился, стал эти работы читать на уроках, сквозь щель в крышке парты. Помню, как раз наш историк Исаак Соломонович Фриш над ухом бубнит, а я работаю. Мы его не очень-то любили. Он, видно, был одинокий и очень желчный. Донимал тех, кто не может отгрызнуться. Был у нас в классе парень-сирота, хулиган не хулиган, но около того. Жил один, в комнате почти никакой мебели, ходил в шинели. Тоже еврей был. Сильный парень, по утрам бегал, и я с ним иногда бегал. Исаак Соломонович так его донимал, что тот на переменах

плакал. Трудно поверить, но это так. Умел он ему такие обидные вещи сказать, талант имел. Да к тому же не любил он историю, еле слова цедил, и русский язык так себе знал. Слышу, над ухом моим объясняет тему: “Сражение под Нарвой и Псковой было кровопагительным”. И вдруг — раз! Откинул мне крышку парты. Вытащил работы, бланки для отзывов. Посмотрел, все понял, отдал, ничего не сказал — учительская солидарность. Но я струхнул — ведь мои отзывы тетка подписывала, был тут кое-какой криминал.

Потом пришлось ударно поработать, в открытую. Приезжаю в техникум к тетке, ее как раз директор вызвал, я жду за дверью. Слышу в кабинете ее рыдания. Выходит директор, весь красный, несет большую кипу работ и говорит мне: “Берите и срочно сделайте”. Оказывается, завал был огромный, и назревал скандал. Тут уж я и драгоценного домашнего времени прихватил.

Я в старших классах много в театр ходил. Не только я, но я особенно. С девятого класса мы с девочками уже учились, иногда и с ними ходил, но это другое дело. Я любил один, во МХАТ. Раз в месяц там продавали билеты на весь месяц вперед. Придешь заранее, постоишь немного — и берешь. Я брал на 10-12 спектаклей, билеты по 40 коп. (“место на ступеньках”). У меня от дяди остался морской бинокль — прекрасно видно. Почти всегда были места, чтобы сесть, но это не важно, со ступенек тоже нормально было видно. А играли тогда хорошо, под нос себе не говорили. Даже шепот был прекрасно слышен. Это было золотое время МХАТа. Грибов, Яншин, Топорков... Иной раз чуть не все роли — народные артисты СССР. Я все пересмотрел, и кое-что не по одному разу. Уж два раза в неделю обязательно ходил.

А в другие дни ходил в МГУ, на Химический факультет, в кружок. Только-только роскошное здание на Ленинских горах открыли, такое удовольствие было ходить туда. Вообще, все вузы тогда много работали со школьниками, и это, конечно, давало москвичам большие преимущества. У нас в школе много ребят при вузах обитали. Был у нас во дворе парень на два года старше меня. Спортсмен был замечательный — хоккеист. Во дворе поставили настоящую коробку для хоккея, со светом. Он виртуозно играл, был где-то в юношеской. Но главное, он строил авиамодели. Начал в Доме пионеров, а потом пошел в кружок в МАИ. Во дворе крутил их на корде или запускал с управлением по радио. Много народу приходило смотреть. Он ухаживал за моей сестрой и в знак расположения давал ей свои модели, они у нас по нескольку дней дома стояли, и я их рассматривал. Высокого класса изделия. Потом он стал строить реактивные двигатели. Сначала на станке их испытывал — ревели на весь район. Потом строил крылатую ракету и тоже на корде по кругу ее гонял. Зрелище сильное. Поступил в МАИ, но он уже к тому моменту был творческим специалистом.

А я пошел на химию. Сначала попал на лекцию для школьников — такое всегда в МГУ было, и на других факультетах, очень интересные лекции. Тут читал преподаватель химфака, о горении и взрывах. Была почти полная Северная химическая аудитория. Он зажал в лапке штатива палочку бездымного пороха, поджег. Порох красиво горел — и вдруг взорвался. Лапку просто отстрелило от штатива, и она ударилась в дерево амфитеатра, рядом в четвертом. Он спокойно говорит: “Я вам объясню, почему порох взорвался. Я слишком сильно зажал его лапкой, возникла внутренняя трещина, и горение в замкнутом пространстве перешло в режим взрыва”. Но смысл был не важен, всех восхитило его спокойствие — ведь лапка ударила как раз между двух голов, а ему хоть бы что.

Пошел я сдавать экзамен в кружок. Учебник я знал, а больше ничего не читал. А там были все ребята очень начитанные. Я их слушал и ничего не понимал. Экзамен письменный был. Один вопрос такой: “Как определить, не нюхая, какой из газов хлор”. Я написал, как в учебнике — сунуть туда влажную крашеную тряпку. Вышли в коридор, слышу, один другому говорит: “Я написал: пропустить через раствор фуксинсернистой кислоты”. А тот ему: “Правильно, это самое лучшее”. Ну, думаю, тут не поступить. Но приняли — на все вопросы, оказалось, ответил. Потом даже на олимпиаде первое место занял — ничего, кроме школьного учебника, не читал. Зачем, если там все есть? Это меня сильно успокоило и жизнь облегчило. А то было тогда сильное течение — искать какие-то особые книги, читать их, выискивать откровение. Ребята много на это тратили времени. Многие, по-моему, из-за этого не очень-то школьный учебник понимали.

Был я год в кружке аналитической химии, а потом два года в органической. Синтезы

делали, я просто наслаждался. Как красива химическая посуда! Верх изящества. Соберешь хороший прибор, душа радуется. И почти все там так, глаза прямо блестели от удовольствия. Наловчились мы работать, кое-кого стали пускать в исследовательские лаборатории. И я ходил, старался урывать время. В лаборатории было, как в башне из слоновой кости — защищен от всякой мирской суеты. Создаешь новое вещество! Ни один человек в мире его не имеет — и вот они, прекрасные кристаллы.

Политика тогда нас, конечно, не занимала. Мы считали, что все у нас в порядке, и никакого интереса к политике не было. Думаю, правильно Маркс писал, что до 18 лет не должен человек в политику втягиваться. Наши представления об обществе были стихийными, шли от традиции, от воспитания. Случилось у меня в восьмом классе болезненное столкновение на социальной почве и, может быть, насторожило меня. Показало оно, что есть в нашей общей жизни очаги ненависти, и может она когда-нибудь прорваться.

Соседи наши, как я писал, были из кулаков и не слишком скрывали свои антисоветские чувства. Но старшие были людьми осторожными и корректными. А внучка, Люся, окончила МАИ, стала инженером и превратилась в злобное, воинственное существо. Может, оттого, что старой девой осталась, а может, наоборот, отпугивала всех мужчин своей злобной страстью. Врач нашей поликлиники трепетала перед ее матерью, доктором медицинских наук, и без звука выписывала Люсе бюллетень на целый месяц. И та, здоровая, по месяцу валялась в постели — не хотела работать. Но это ее дело.

А была у них домработница, из Липецкой области, Мотя. Молодая, добрая женщина, и работающая — на грани разумного. Все умела делать и радовалась любой работе. Стали они строить дачу, большую. Мотя там работала как строитель. И сильно ударило ее бревном в живот. Начался рак желудка, сделали операцию. После операции она лежала, у соседней была маленькая комната, где было две кровати — старой бабки и Моти. Через несколько дней заходит к нам в комнату Мотя и плачет — Люся пришла и требует, чтобы она съезжала, потому что надо им новую домработницу селить. А она еще совсем слаба, домой уехать не может. Мать пошла поговорить — те ни в какую. Мать позвонила в профсоюз, чтобы те объяснили нанимателям права домработницы. И вот, оттуда позвонили и объяснили. Вечером, когда Мотя уже спала, пришла Люся, узнала, как обстоит дело, зашла к Моте в комнату и стянула ее вместе с матрасом на пол. Уезжай, мол, немедленно. Мотя — к нам, вся трясется. Я выскочил в коридор, там все соседи были в сборе, и стал орать одно слово: “Сволочи! Сволочи!”. Случилась со мной истерика, такое безобразие. Люся — в бой, мать и бабка ее тянут назад. Она мне грозит: “Завтра же приду к тебе в школу, в комсомольскую организацию”. Мне стало смешно, и я сразу успокоился. “Приходи, — говорю — мы тебя из окна выкинем”.

Мотя перешла жить к нам, отлежалась. Приехал ее отец из деревни. Сидел в комнате, боялся выйти. Очень, говорит, злыми глазами на меня смотрят, страшно становится. Действительно боялся, без шуток — не по себе ему было от таких взглядов. Увез он Мотю домой, она мне прислала прекрасно связанные варежки, почти полвека служили. Потом отец написал, что она все-таки умерла. Отношения с соседями вновь стали дипломатически корректными, но мне этот случай запомнился.

Забегая вперед, скажу, что все же эти отношения прервались. Летом 1961 г. произошла у моей матери какая-то размолвка на кухне с соседкой, доктором наук, и та говорит: «Вы на меня молиться должны, я, может, всю вашу семью спасла». Мать удивилась: каким образом? Оказывается, именно эта соседка, до мозга костей пропитанная ненавистью к советскому строю, была соглядатаем за моими родителями от ОГПУ. Могла что угодно на них написать — а вот, не написала. Так было тяжело матери это узнать, что она меня попросила пойти на толкучку и обменять наши прекрасные комнаты на что угодно. Так попросила, что я побежал и обменял — переехали мы в две комнатухи в настоящей коммуналке, без лифта, без ванны и без горячей воды. Зато душевный покой. Только там я понял, как он важен, никаким комфортом его не заменить.

Вспоминая сейчас те сложные отношения с соседями, с непримиримым, хотя и скрываемым конфликтом идеалов, я не могу упрощать — при наличии этого конфликта в житейском плане мы были людьми одного народа, шли друг другу на помощь без всяких тормозов и внутренней борьбы. Как-то эти две стороны жизни разводились. Я благодарен тем

соседям за то, что они сделали для меня и моих близких. В свою очередь и я рад был им помочь, и они ко мне легко обращались. А сейчас раскол идейный у многих привел уже и к отчуждению личному — как будто мы люди разных народов, а то и рас.

Кстати, если говорить о моих соседях, то основания ненавидеть советский строй имели как раз старики, которым пришлось бросить свое богатое хозяйство. Но они же были и более человечны. Другое дело — их внучка. Все этой Люсе дал советский строй — живи и радуйся. Нет, старая обида выплеснулась в третьем поколении. Но тогда я еще не предполагал, что у нас появится интеллигенция, которой душевные порывы этой Люси будут ближе и дороже, чем права и сама жизнь доброй Моти.

Но это пришло лишь через полвека. А тогда, в старших классах и потом, в студенческие годы, было сильное ощущение, что ты — хозяин страны. Не у меня одного, многие потом это отмечали. Выйдешь на улицу утром — вокруг твоя страна. Едешь на метро, в кармане пропуск в МГУ. Зайдешь в столовую, пообедаешь за 35 копеек, потом в лабораторию. Вечером усталый домой. На завтра — билет во МХАТ. Американцев в Корею на место поставили. Бомбой теперь тоже пугать нас не могут. Можно жить и учиться. Все эти мысли, конечно, в голове не задерживались, но сливались в общее состояние надежности, в желание действовать и видеть людей. Это были, если можно так выразиться, объективные условия для счастья. Может быть, не всем поколениям такое время выпадает. Моему поколению оно выпало. Кто хотел, мог им воспользоваться.

Студенческие годы

Я писал, что уже в старших классах у меня возникло ощущение, будто я — хозяин страны. Очень возможно, что это было возрастное явление. Не то чтобы с возрастом жизнь разрушила эту иллюзию, просто это чувство успокоилось, осело. Но вовсе не перешло в свою противоположность. Разум стал холодно фиксировать: то-то для меня невозможно. А теперь еще вот это, и т.д. Из этого “чувства хозяина”, кстати, совершенно не вытекало желания быть близко к власти или тем более участвовать в ней. Власть казалась нужной машиной. Нужной, но опасной и не очень-то совершенной. По возможности было бы неплохо ее подправлять, но так, чтобы тебя какой-нибудь шестерней не зацепило.

В отличие от школы, в университете было уже довольно много ребят, которые думали иначе и ощущали себя не хозяевами, а жертвами и противниками советского строя. Потом, кстати, кое-кто из них стал тяготеть именно к административной карьере, но это не важно для моей мысли. Важно, что уже тогда, в 1956 г., изрыгать хулу на советский строй было не только безопасно, но у части студентов считалось чуть ли не признаком хорошего тона. КГБ они называли “гестапо”. Таких радикалов, впрочем, было очень мало, и у них был какой-то непонятный ореол. К последним курсам он пропал, они озаботились распределением, дипломом, поникли. Одно дело — шуметь в раздевалке спортзала, а другое — сделать хорошую вакуумную установку для своего же исследования.

Когда я был на первом курсе, шли бурные события — XX съезд, восстание в Венгрии. У нас на курсе было много иностранцев (пятая часть). В нашей группе, помимо китайцев, была полька, Эмилия Бздак. Худая, как комар, но очень элегантная и сильно озабоченная на антисоветской почве. Приятно было с ней беседовать — скажешь что-нибудь в шутку, она вспышивает, как порох. С венграми было посложнее — хладнокровные. Главное, признавали, что советские войска спасли их от гражданской войны. Причем такой, что перебили бы друг друга дочиста, много там было старых счетов. Кстати, и тогда было ясно, что дело было не во внутреннем конфликте — это была операция холодной войны с локальным переводом ее в горячую фазу. Потом, через десять лет, я познакомился с одним веселым химиком. Он в 1956 г. был военным летчиком, их послали патрулировать западную воздушную границу Венгрии. Встретили их английские самолеты (в них уже сидели венгры), сразу обстреляли. Ему ранило ступни ног, осколок пробил щеку, выбил зубы и застрял во рту. “Оборачиваюсь, — рассказывает — а стрелок-радиот сидит без головы, свои рукоятки крутит”. Так ему и пришлось в химике пойти, летать больше не мог. В общем, с иностранцами из Европы нам на курсе разговаривать было непросто, тем более что сразу появились подлипалы из наших. Только

немцы на все плевали, их ни венгры, ни Бздак растрогать не могли. Они тогда твердо стояли на позициях марксизма-ленинизма и усердно учили химию.

И вот, в такой обстановке вдруг приезжает на факультет какая-то высокая политбригада во главе с зав. студенческим отделом ЦК ВЛКСМ. Большая аудитория битком, любопытно. Какой-то боевой идеолог (потом оказалось, главный редактор журнала “Новое время”, некто Съедин) начал клеймить всяческую контрреволюцию. “На улицы Будапешта, — говорит — вышли поклонники Пикассо и прочая фашистская сволочь”. И далее в таком духе. Я ему написал записку, первую и одну из немногих в жизни. Короткую — что, мол, нам и так на курсе непросто, а тут еще приезжает такой дурак и несет всякий бред. Разгребай потом за ним. За это, пишу, надо дать вам по шапке. Он записку взял, бросил председателю — читать ему было некогда, он вошел в раж. Тот прочел, дал почитать соседям, а потом вернул оратору. Оратор вчитался, покраснел — и зачитал вслух, чуть-чуть только исказив. Видно, глупый был мужик. При этом он начал ораторствовать, что и здесь, на славном химфаке, завелась контрреволюционная нечисть — и тряс запиской. Вот, думаю — не просто дурак, но еще и сволочь.

Через пару дней нашел меня секретарь факультетского комитета ВЛКСМ, озабоченный. Звонят в деканат из ЦК ВЛКСМ, меня разыскивают. Спрашивает, в чем дело. Я говорю: “Наверное, из-за записки. Ту, что тот тип зачитывал”. “Так это ты написал?” “Да”. В общем, поехал я в ЦК, беседовал со мной зав. отделом (потом, как я случайно узнал, он был важной шишкой и в ЦК КПСС). Вопреки моим опасениям, он чуть ли не юлил передо мной. Видимо, после XX съезда была там какая-то неуверенность. “Мы, — говорит, уже в машине сказали Съедину, что он погорячился. Ведь Пикассо — член французской компартии”. Я этого, кстати, не знал и удивился. Знал, что он сторонник мира, нарисовал голубку, да и не в нем было дело. В общем, инцидент закрыли. Может, они боялись, что я куда-то выше стану писать? Так что прямые “выезды в народ” политических властей не помогали делу. И харизмы у них не было, и уровень средненький. Это не то что Хо Ши Мин — я ходил на его встречу со студентами-вьетнамцами, и один мне переводил. Это был разговор с очень умным человеком, его суждения были реально полезны, с ним можно было советоваться. Сегодня я бы сказал, что у него была сильная методологическая жилка. Он разбирал какой-нибудь конкретный вопрос, но при этом ты незаметно получал метод рассуждений для всего класса подобных вопросов.

* * *

Конечно, таких, кто открыто хулил советский строй (в основном, по следам разоблачений Сталина), да еще бравировал этим, у нас на факультете было немного. Немного было и инцидентов с теми кружками, где вырабатывали “концептуальную” критику — с ними тогда разбирались в комитете ВЛКСМ МГУ. Но это были маргинальные явления, массы они не касались. Сейчас, правда, некоторые авторы стараются их представить чуть ли не главным содержанием жизни МГУ в то время, но это ерунда, круг вовлеченных в них студентов был предельно узким.

Больше было таких, кто с озабоченным видом и оперируя неизвестными простому студенту-химику сведениями, рассуждал об ошибках всего советского проекта. Поминали Троцкого, Бухарина, Рыкова. Значит, где-то читали. Откуда у них время на это было? Я слушал, но добавить мало что мог. Что же мне было, ссылаться на Мотю и дядю Володю из деревни? Потом, почти случайно, мне пришлось вникнуть. Надо было сдавать историю КПСС, а я ни в одном семестре ни на одной лекции не был. Я вообще регулярно ходил только на лекции по математике — профессор у нас был высшего класса, никакими книгами не заменишь. Потом на органическую химию ходил — прекрасно читал А.Н.Несмеянов. Итак, итоговый экзамен по истории КПСС, и стал я искать дома какую-нибудь книгу, чтобы быстро все ухватить. И наткнулся в антресолях на целое сокровище — стенограммы всех съездов и конференций, изданные в год события. Потом, после XX съезда, были изданы резолюции в двух томах, но это совсем другое. Тут — стенограммы, изданные при живой еще оппозиции, без всякого изъятия. Я начал читать — и зачитался, больше вообще ничего к экзамену не читал.

Главное, конечно, дискуссии о коллективизации и индустриализации. Это — великие

документы истории. Сегодня и поверить трудно, что велись у нас дотошные, на высоком накале, сильным языком споры о самых главных выборах пути. С обеих сторон — люди умные, знающие и сильные. За каждым выступлением просвечивают и видение истории, и представление о России и Западе, и идеалы человека. Прочел я все эти тома сразу, в целом. А это дает совсем другой эффект, не то что читать по кусочкам, каждый раздел к случаю. Тут виден был разговор, который, чувствовалось, шел в России, похоже, еще с Чаадаева. Из всего, что я прочел, у меня сложилось устойчивое мнение, что тот вариант развития, который был принят после всех споров в партии, был самым разумным. Другие варианты были соблазнительными — полегче. Но на них тогда отвечали, что не выйдет, не пролезем мы в ту узенькую дырку, что оставляла нам история. Захлопнут ее раньше. Война это подтвердила, но тогда, в начале 30-х годов, требовались интуиция и воля, чтобы не поддаваться на соблазн.

Жаль, что в оппозиции люди тоже были сильные и упрямые. Стояли на своем, и нам в конце 50-х годов уже было не понять, почему так упорно. Может, и правда, существует таинственная “логика борьбы”. Как разошлись дороги, так уж не могут сойтись. Я не говорю об идеологах — Троцком и др., у этих были расхождения идеалов, их не примирить. Но ведь и рядовые туда же.

Вообще, после XX съезда все размышляли о репрессиях. Теперь и говорить об этом было можно, так что эта тема постоянно звучала, и, как вспоминаю, каждый день нет-нет, а вспомнишь ее, крутили в уме и так, и эдак. Хороших объяснений не было, у Хрущева тоже концы с концами не вязались, и каждый какую-то модель себе выработывал. Думаю, в этот момент неявно разошлись пути моего поколения. У многих стала зреть идея полного отрицания, в голове складывался образ какого-то иного мира, все виделось в ином свете. Но этого раскола тогда не заметили. Многое, наверно, зависело от самого человека. Я, например, видел прошлое через призму настоящего и будущего. Прошлое надо было понять, но не ломать же из-за него то, что построили и строим дальше. Сама эта мысль казалась мне дикой. Я тут смотрел на своего дядю, Алексея Сергеевича Кара-Мурзу. Да, пришел с Колымы без зубов — часть выбили, часть выпала. Но он как будто понимал, как крутится колесо истории. И из-за того, что его самого это колесо зацепило, он и не подумал бы его ломать, сыпать песок в подшипник. Он считал разумным только улучшать и укреплять то, что мы имеем.

Он меня приглашал к себе в апреле, в день рождения. К нему собирался странный народ — только мужчины. Даже домашние все в этот день уходили, включая его сыновей. Каждый приносил бутылку водки. Я не мог понять, по какому принципу собрались эти люди — писатели, академики, какие-то важные работники. Что-то их связывало, говорили они неравнодушно и откровенно. Потом он мне рассказал, что это за люди — да и из них кое-кто рассказывал, когда мне приходилось кого-нибудь провожать до дому подвыпившего.

Осенью 1941 г. Алексей с редакцией фронтовой газетой помещался в с. Успенское, на берегу реки Москвы (там, где потом Ельцин упал с моста). Там отлогий берег, и туда сводили тех, кто вышел из окружения, с другого берега. Они сидели в ожидании вызова на допрос в особый отдел — особисты располагались в избах. После допроса всех сортировали — кого в строй, кого в трибунал — в зависимости от того, как человек вышел из окружения. Идеалом было выйти в форме, с документами и оружием. А дальше — варианты. Некоторые выходили в женском платье. Критическим признаком было наличие оружия. Пусть бы хоть и под юбкой, пусть без документов. А без оружия и форма, и партбилет не очень-то высоко ставились, все равно в штрафбат. Дядя Леша добывал, сколько мог, трофейных пистолетов, клал их в сумку и бродил между сидящими на берегу, высматривая знакомые лица. Знакомых у него было много — и студенты ИФЛИ, и строители метро, где он работал, и комсомольские работники. Им он совал пистолет, если у них не было оружия. Вот эти люди после войны договорились раз в год собираться у него на Мясницкой.

Я на этих собраниях много чего наслушался. В целом, картина нашей жизни становилась гораздо сложнее, чем казалась нам, “просто живущим”. Люди эти говорили в основном о тех подводных камнях, которые возникали при любом повороте потока нашей жизни. Это было интересно, потому что для меня так вопрос никогда не ставился ни в учебнике, ни в газетах. Тут за столом разыгрывались альтернативные пути нашей истории. Конечно, если бы я тогда занимался не химией, а тем, чем занимаюсь сегодня, я бы многое понял или хотя бы запомнил.

Сейчас говорю об этом потому, что тогда, после XX съезда, саму мысль о том, что в 30-е годы существовали заговоры в высших эшелонах власти, представили как абсурд, как продукт сталинской паранойи. Это уже в последние годы перестройки появились публикации о том, что да, заговоры были, и заговорщики были героями антисталинского сопротивления. А тогда, в конце 50-х, абсурдность “теории заговора” была утверждена как официальная догма. И вот, на одной такой вечеринке один довольно молодой еще человек с бородкой стал горячо доказывать, что заговор был. Этот человек в детстве воспитывался в семье Рыкова, председателя Совнаркома. В дом к ним приходили люди, в том числе военные, что-то обсуждали, и из того, что слышал мальчик, выходило, что обсуждали они планы смещения Сталина и перестановок в правительстве. Человек этот очень кипятился, потому что все слушали недоверчиво и не очень-то охотно. А он кричал, что никогда в жизни никому этого не говорил, а теперь хоть здесь должен сказать. Я ему тогда тоже не очень-то поверил. Меня вообще мать с детства учила выслушивать чужие мнения, принимать их к сведению, но полагаться лишь на то, что можно проверить. Так что к сведению я слова того человека принял, как и слова Хрущева, но полагаться ни на того, ни на другого не стал.

Но это — отступление, чтобы снова вернуться к моим факультетским впечатлениям. Как я сказал, тогда много появилось ребят, которые уверенно судили о советской истории. Это, мол, была глупость, а это — ошибка. Конечно, в таком возрасте все мы легко судим других, но в глубине души обычно понимаешь, что это перехлест. Прикинешь — а как бы ты сам сделал? И чувствуешь, что говорить легко, а как дойдет до дела, столько вылезает всяких “но”, что гонор сразу сникает. Так вот, в университете большую силу имели ребята, которые этот контроль как будто отключали. Не для красного словца ругали наших глупых отцов, а вполне серьезно. Слушаешь такого и поначалу думаешь, что человек шутит — нет, у него целая доктрина наготове. Спросишь: а ты что, умнее был бы на их месте? Не отвечает, как будто вопрос этот глупый, смысла не имеет. Но видно, что и впрямь уверен, что да, был бы умнее.

Мне это было странно видеть именно в университете. Ведь мы изучали там науки. Мы же обязаны были понимать, почему, например, Бойль не мог прийти к понятию химического элемента — пока Дальтон не разработал понятие атома. Глупо было бы сказать, что “Бойль недодумал”. Как раз самое-то важное — это понять, чего *не мог* увидеть тот или иной ученый. Так и тут — ты пойми, почему поступили так-то и так-то. Но такая постановка вопроса не принималась. Одни верили в мудрость Сталина (хотя и помалкивали), а другие верил и в то, что он злодей и параноик. Вот и поговори с ними.

Тогда Хрущев затеял какие-то реформы в сельском хозяйстве, колхозы много критиковали в прессе. И у нас на двух-трех курсах возникло целое движение, какая-то “инициатива”. Что-то изучали, собирались, спорили. Потом, в зимние каникулы, на втором курсе, пошли на лыжах по колхозам — недостатки искать. Вообще, в МГУ это было принято — каждый год ходили на лыжах в “агитпоходы”. С факультета десятки групп выходили, на один день встречались в условленном месте, потом снова расходились. “Звездочка”. На первом курсе и я в такой поход ходил, незабываемое дело. Прошли по деревням Московской и Калининской областей, два раза переходили Волгу. Еще во многих деревнях электричества не было. Приходим, стучимся на ночлег, отказу никогда не было. Пока варят ужин, идем или в клуб, если есть, или в избу побольше. Народу полно, всем любопытно на студентов посмотреть. Что-нибудь рассказываем — про химию, про университет, про студенческую жизнь. Покажем занимательные химические опыты, у нас были знатоки этого дела, интересно получалось. Потом что-то вроде концерта, что можем. Один из нас гимнаст был — акробатику покажет, борьбу нанайских малышей. В избе разговоры за ужином. Все нормально.

Но эти наши активисты уже не в такой поход пошли, а что-то вроде инспекции устроили. Наверное, какую-нибудь бумагу вроде мандата раздобыли, иначе это вообще черт знает что. Вернулись гордые собой — целый ворох недостатков нашли. Там председатель колхоза пьет, надо его снять, а в другой деревне они к председателю пришли, а он с перепугу почему-то в окно вылез и ушел — его немедленно снять! Куда-то писать стали, какие-то семинары. Я говорю им: вы что, спятили? Что вы воду мутите, да еще у людей выпрашиваете разные порочащие сведения? Прошли на лыжах, всех взбаламутили — и обратно в мраморный химфак МГУ скрылись. Снять председателя предлагаешь? Поезжай в колхоз и работай там, брось свой

МГУ. Разозлились, глаза выпучили. Ты, говорят, комсомолу враг, надо ставить вопрос о твоём исключении. На это можно было только расхохотаться — дети, хотя уже кое-кто с усами.

В чем-то похожий случай на Кубе был, когда я там через десять лет работал. Я там группе студентов-химиков в Сантьяго-де Куба один метод показывал, очень толковые ребята. Потом уехал в Гавану работать, а за это время такая история произошла. Эти ребята стали требовать, чтобы Кастро и его соратники ушли от власти, передали ее более молодым и образованным — очень, мол, много ошибок допускает правительство. Выступали на собраниях — все с цитатами Маркса и Ленина, говорили красиво, да и ребята были очень симпатичные, особенно одна девочка, их вождь. Вдруг приезжает Фидель Кастро, без охраны, без оружия, пешком подходит к химфаку. Спрашивает у секретаря, где тут такие-то. Секретарем на факультете симпатичный старик был — побежал, нашел. Пришли ребята, прямо около входа в коридоре стали разговаривать — за всех говорила та девочка. Народ собрался, стало тесно, пошли в спортзал. Девушка не стушеввалась, все выложила, что они наработали, стоит на своем — то неправильно, то неправильно, пора вам уйти от власти.

Как шел спор, мне потом рассказали несколько очевидцев. Они симпатизировали этой девушке, она была любимицей факультета, но все признавали, что Кастро бесспорно одержал верх. Он поставил вопрос примерно так: вы утверждаете, что мы должны уступить власть вам или таким, как вы. В чем же, по большому счету, источник вашего превосходства? И тут, как ни странно, стало видно, что иного, чем у Кастро, принципиального выбора эти ребята не предлагают, и в то же время они не имеют видимых преимуществ ни в работоспособности, ни в честности — потому что по этим критериям претензий к соратникам Кастро ни у кого не было. К тому же Фидель объяснил девушке, что все ее доводы по конкретным вопросам известны, их обсуждали, но по такой-то и такой-то причине пришлось поступить иначе. Стало видно, что конкретные решения вовсе не так просты и очевидны, как казалось ребятам.

На том собрании многие стали кричать, что надо бы всю эту группу из университета исключить — всех они баламутят. Кастро предложил: раз уж они так втянулись в проблемы хозяйства, давайте дадим им в управление хорошую государственную ферму в провинции Орьенте. Пусть сами из своей группы выдвинут директора, а остальные составят правление. Если будут дело заваливать, им помогут. Но главное, пусть разберутся, в чем разница между теорией и практикой. А через год здесь же, в университете расскажут о своем опыте. Так и сделали, только, по-моему, года они там не просидели. Я как раз через год снова там был, налаживаю в лаборатории прибор, и заходит один парень из той группы. Что, спрашиваю, уже опять в университете? Засмеялся. Я, между прочим, когда приехал на Кубу, сам был похож на этих ребят. Казалось, что многое надо делать по-другому. Но как только пришлось самому там решать проблемы, а не советы давать, действительность этот мусор из головы быстро мне выбила, как палкой пыль из ковра. Я тогда, кстати, вспомнил, как наши студенты на химфаке ходили колхозы обустроить.

Можно, конечно, сказать: а почему было бы не дать тем ребятам на Кубе или нашим на химфаке возможность вести общенациональную дискуссию — так, чтобы все вопросы тот же Кастро смог бы снять не в спортзале университета Орьенте, а в газете “Гранма”? Это была бы та именно демократия, которой так хотели наши перестройщики — и все были бы довольны. Тогда мы над этим думали, и я лично пришел к выводу, что в обществе советского типа это было бы невозможно. Слишком серьезно все относились к слову. Сейчас, при Ельцине, Путине и т.д., мы видим, что можно устроить такой политический режим, при котором слово “снизу” вообще ничего не значит. Власть и ее социальная база (“собственники”) имеют средства для того, чтобы создать такой информационный шум, что этого слова практически никто и не услышит — потому и бороться с ним не надо. В то же время власть устраняет из законов всякую обязанность отвечать на слово “снизу”. Мели, Емеля!

Демократия советского типа была устроена по-другому, и слово имело такую силу, что всякая открытая полемика с враждебными власти нотками сразу вызывала раскол. Судя по рассказам матери, дискуссии в партии, которые в 20-30-е годы открывала оппозиция, сразу ставили всю страну в чрезвычайное состояние. Раскалывался каждый коллектив, даже совершенно далекий от политики. Работать было невозможно. Так что, думаю, до 60-х годов в СССР на такую роскошь не было средств. Дискуссии велись не открыто, а на совещаниях, как

рабочее обсуждение. А на Площадь Революции в Гаване, куда собирался миллион человек, Кастро выходил говорить свою речь часа на четыре уже не дискутируя, а объясняя. Хотя, если читать и слушать его речи, всегда аргументы “оппонентов на совещании” в них приводились — но уже как обсужденный и отвергнутый вариант. Такого же типа были и выступления Сталина. Я бы сказал, что с Хрущева-то и начался волюнтаризм, его выступления были экстравагантными, в них нить рассуждений было трудно уловить и не чувствовалось внутреннего диалога. Хотя, по-моему, это отражало общий спад в состоянии умов нашей партийной верхушки — как будто сильно устали после войны. Через какое-то время они уже и не могли пойти на открытый спор — подросла скептическая молодежь, с которой они утратили общий язык и наверняка проиграли бы дискуссию. Даже в тех главных вопросах, в которых они были правы. Такой, мне казалось, возник порочный круг.

* * *

Я пришел в те годы к этому противоречию, из которого не видел выхода, в ходе домашних споров с моими родными, которых можно было считать “устроителями советского жизнеустройства” — кого рядовыми, кого офицерами среднего звена. Мать была рядовой, но “сознательной”, она видела весь замысел советского строя, как будто уже в детстве его продумала, когда вместе с братьями выполняла непосильную для ребенка работу в поле. В 70-е годы она написала несколько тетрадей своих воспоминаний и размышлений. Я их прочитал, и мне они показались очень важными для понимания всего хода нашей жизни. К сожалению, когда дело дошло до конца 30-х годов, на нее нахлынули такие тяжелые воспоминания, что она сожгла все эти записки. Она, как и мой дядя Алексей, считала невозможным и недопустимым вбрасывать реальность репрессий в нашу нынешнюю жизнь — был риск, что наше поколение с этими рассказами не справится и наделает ошибок. Да и рассказы эти, как их ни пиши, получались не правдой, а только криком боли. Хрущева, кстати, за его профанацию мало кто из этих людей одобрял. Спекулянт на страданиях — это лишь в 80-е годы стало цениться.

Мать вступала со мной в споры, хотя они ей нелегко давались. Один дальний родственник, человек гибкий и себе на уме, даже предупреждал ее: “Зачем вы с ним спорите? Он же вас использует как оселок, на котором оттачивает свои аргументы. Он же не истины ищет, а победы в споре”. Но она его, слава богу, не слушала.

Другим, кто со мной брался спорить, был младший брат матери, Петр. Он подростком уехал из дому, прибил к Красной Армии в Средней Азии и воевал с басмачами, стал видным командиром. Потом много учился — окончил нефтяной институт, исторический факультет, какую-то высшую партийную школу. Был секретарем горкома комсомола в Небит-Даге, а во время войны и секретарем горкома партии, строили там нефтепромыслы. Потом работал в ЦК компартии Туркменистана.

Я вспоминаю его с нежностью, такой это был добрый и веселый человек. И светлая голова — не научного склада, а именно светлая. У него сильно болели ноги, с юности. Подскакал к раненому басмачу, замахнулся — и пожалел. Его вестовой кричит: “Руби, Петр!”. Петр не смог, и басмач подкинул под него гранату, сильно изранило. А в 1948 г. он ночь пролежал под руинами дома в Ашхабаде, рядом с двумя своими сыновьями. Третьего, грудного, он успел сунуть под кровать, и он выжил. Петру тогда раздавило ноги. Когда он приезжал к нам в Москву, тяжело было видеть его приступы боли. Но характер не испортился, чуть отойдет — опять улыбка.

И мать, и дядя Петя были людьми, которые, похоже, так давно и столь многое продумали, что обычные жизненные ситуации не требовали от них долгих размышлений — они сразу поступали как будто по приказу внутреннего голоса. Не всегда лучшим образом, но всегда исходя из каких-то непререкаемых истин. Как-то мы с дядей Петей шли со станции электрички, он только что приехал на какое-то совещание — в белых туфлях, дорогом костюме. На тропинке стоит цыганенок, замерз и плачет. Дядя Петя снял свой пиджак, закутал мальчика, пошли искать цыган. Пока искали, цыганенок пиджак обмочил.

Когда я заводил споры, ставя под сомнение ту или иную установку советского проекта, и

мать, и дядя Петя говорили очень скованно. Как будто были вещи, которые я и сам должен был понимать, но не понимал — а они почему-то о них говорить не могли. У дяди Пети при этом был такой вид, будто у него болят ноги. А я с жаром ставил вопросы — и так, и эдак. Наслушаешься в университете, и хочется свои сомнения проверить на других. Сейчас, когда я сам в их положении нахожусь, понимаю, насколько это было жестоко с моей стороны. Мне-то легче, я их добротой не обладаю, да и на своей шкуре люди уже начинают понимать ту правду жизни, о которой тогда говорить было не принято. Тогда ни мать, ни дядя Петя за собой этих аргументов не имели. А как плачут крестьянские дети от усталости, я прочувствовать не мог, а они об этом говорить не могли.

В этих спорах, а иногда в них на моей стороне участвовали и мои друзья из университета, у меня постепенно сложилось ощущение, что во всех главных вопросах именно моя мать и дядя Петя правы — но переспорить меня они не могут. Они говорят не на моем языке, а я — не на их. Но они знают правду, а я — нет. Разными весами мы взвешивали дела, о которых говорили. Как будто дядя Петя видел замерзшего цыганенка, а я — испорченный пиджак. А к концу 80-х годов этот разрыв стал таким широким, что и разговоров подобных возникнуть не могло. Носят нищие по метро полумертвых (а иногда уже и мертвых) детей — и ничего.

* * *

Я рассказал о “волнениях” в МГУ в 1956 г. так, как они виделись первокурснику химфака. Полезно, однако, привести и документальные свидетельства. Они собраны в статье Е.Таранова “Раскачаем Ленинские горы” (“Свободная мысль”, 1993, № 3). Само название красноречиво. И очень интересно сегодня читать, по каким причинам и под какими лозунгами часть студентов-гуманитариев сделала первые шаги на тропе войны с советским строем. Читать сегодня, когда мы хорошо знаем, куда эта тропа привела.

Автор описывает инцидент в общежитии гуманитарных факультетов на Стромынке в мае 1956 г.: “21 мая студенты обнаружили в буфете несколько килограммов некачественных сарделек. Работники комбината питания не признали обвинений... Студенты объявили бойкот столовой... Секретарь парткома начал говорить, что такие методы борьбы за улучшение работы столовых неправильны, что это не советский метод и т.п. Представители МГК и РК КПСС, прибывшие к этому времени, тоже сделали упор на “политической ошибке” студентов. Их поддержали работники торговли и общественного питания, уверяя, что продукты свежи и доброкачественны. Тогда студенты-филологи 25 мая выставили у столовой на Стромынке пикеты и никого не пустили в помещение. К ним присоединились студенты других факультетов. 26-27-го на Стромынку устремились руководители управления торговли, работники МГК партии, представители парткома, факультетов МГУ. Они уговаривали, обещали, пугали студентов, которые требовали одного: навести порядок в студенческих столовых, выгнать оттуда жуликов”.

Партком же твердил свое: это — “политическая провокация”. Да, говорили его представители, жулики окопались в комбинате питания, да, столовые работают безобразно, кормят плохо и дорого. Но бойкот — это политический вызов⁴.

Тогда студенты-филологи, биологи, историки, журналисты вывесили лозунг: “Если ты не хочешь питаться, как скот, — поддерживай бойкот!” — и обратились за поддержкой на другие факультеты. Бойкотировались буфеты и столовые во всех зданиях МГУ”. Как сообщалось на заседании парткома, в те дни появились листовки, вывешивались призывы к забастовке.

Автор публикации Е.Таранов, конечно, целиком на стороне мятежных студентов — против консервативного парткома. Завершая рассказ, он пишет: “В этих требованиях студентов никакого особого идеологического криминала не было. Но у страха глаза велики, и партком продолжал усиливать бдительность”. И это пишется в журнале, который вышел в октябре 1993 года — при грохоте залпов по Верховному Совету РСФСР.

События на Стромынке разбирались на парткоме МГУ в октябре 1956 г. Я уже был студентом, а до этого три года болтался в МГУ и могу сказать, что никакого “всеобщего недовольства порядками в университете”, о котором пишет автор, и в помине не было. Сегодня

тогдашние призывы “раскачать Ленинские горы”, бойкоты и забастовки мне представляются верхом идиотизма и свидетельством полного “незнания общества, в котором мы живем”. Но я знаю, что и тогда, в 1956 г. моя точка зрения была бы точно такой же.

Автор пишет о той атмосфере на гуманитарных факультетах МГУ, что “именно в ней, обнадеживающей и тревожной, формировались молодые люди, которых теперь нередко называют “шестидесятниками”... Это поколение многое определило в жизни советского общества последующих лет”. Что верно то верно. Так давайте из этого и исходить.

На Стромынке была первая проба сил. “Мятежные” студенты были, на мой взгляд, элементарно глупы и невежественны, из своих учебников они усвоили самый дремучий механицизм. Видно, что они ни сном ни духом не ведали, какой смысл имеет забастовка в государстве традиционного общества. Из-за ерунды они выступили так, что объективно стали сразу именно смертельными врагами этого государства — сами будучи уверены, что стараются его улучшить. По молодости лет никто не стал тогда называть вещи своими именами, а зря.

Они даже не поняли, почему из-за их пустячного бойкота какого-то жалкого буфета в общежитии сбежали руководители МГК КПСС! Даже, небось, возгордились от такого внимания. Их увещевали и ректор академик Петровский, и старые преподаватели, и даже поварахи (“уговаривали, обещали, пугали”) — все напрасно.

Кстати, примечательно поведение тех, кто в годы перестройки вдруг выступили как яростные, на грани патологии, враги советского строя. Кто бы мог подумать, что А.Бутенко был тогда заместителем секретаря партбюро философского факультета по пропаганде и агитации! Его критиковали: “Он знал, что происходило на Стромынке, но не приехали, чтобы разъяснить студентам, свалил все на секретаря”. Поминается и “коммунист Ю.Карякин”.

Можем считать, что тот путь, на который встали студенты, пожелавшие “раскачать Ленинские горы”, привел именно туда, куда и должен был привести. Значит, надо подвести итог — хотя бы буквально по тем жгучим проблемам современности, которые и толкнули этих гуманитариев на мятеж. В буфете они обнаружили несколько килограммов плохих сарделек! Так пусть их дети-студенты сегодня что-нибудь попробуют обнаружить в буфете или столовой. Какую козью морду им сделают охранники! Но они и сегодня не понимают разницу между тем буфетом на Стромынке — *их* буфетом — и нынешними буфетами солнцевской братвы.

Но допустим даже, что не понравились нынешним студентам-демократам сардельки. Ах, “нас кормят плохо и дорого”. Да, кое-где и сегодня, при власти антикоммуниста Ю.Карякина, кормят дороговато. Почему же не видно бойкотов? Может, демократы любят питаться, как скот? Хотелось бы услышать на этот счет рассуждения “шестидесятников”. Хоть какие-то проблески рефлексии должны у них быть. И почему, если студенты МГУ вдруг откажутся есть сардельки, к ним не мчатся уговаривать деятели из администрации Путина или из МГК СПС? Почему такое равнодушие к позиции нынешних гуманитариев?

Сегодня студент прекрасно знает, что если он откажется есть сардельки, то “работники торговли и общественного питания” спокойно ему скажут: “А ты сдохни — и никаких проблем”. Никто не станет этого студента ни увещевать, ни оправдывать перед ним. И тут разница между тем, что студенты имели на Ленинских горах, и тем, что они получили на Воробьевых горах в результате долгой борьбы “шестидесятников”, очень наглядна. И надо в уме ее зафиксировать — из нее вырастают и все остальные различия.

Да, партком тогда был не на высоте. Е.Таранов в журнале “Свободная мысль” (бывшем журнале Коммунист”) с иронией приводит реплики ректора Петровского, проректора Вовченко. Да, они в растерянности. В их семье взбунтовались избалованные дети, а они, оказывается, утратили с ними общий язык. Петровский говорит на заседании парткома: “У нас за последнее время был целый ряд больших неожиданностей. Все было хорошо. Вдруг забастовка. Говорили о том, что мало практической работы в лабораториях..., и вдруг — забастовка. Я не знаю, что может быть завтра. Вообще, это страшно! Мы не знаем обстановки, в которой мы находимся... Это меня пугает”. По мне, так это пророческие слова умного человека. И над ними смеются в 1993 году! От чего же свободна эта “Свободная мысль”?

Тогда на Стромынке преподаватели из парткома сказали студентам простую и верную вещь: бойкот — это политический вызов. Это *не советский* метод. А студенты-гуманитарии этой простой вещи не поняли! Они не поняли, какие методы советские, а какие — не советские.

Они не понимали, чем методы “общества-семьи” отличаются от методов “общества-рынка”. И люди, которые таких вещей не понимали, стали гуманитарной элитой нашего общества. Они его убили, не понимая, что делают. Вот почему ректору было страшно.

Так получилось, что вопрос о забастовке осенью 1956 г. обсуждался и у меня дома. У меня был друг из смежного класса, Валя Кузьмичев. Очень добрый и искренний парень. Жил он около школы, в деревянной избушке, даже без водопровода и канализации. Я у него в сарае ставил мотоцикл. Он был деликатный человек, но непримиримый в своих мнениях, хотя их обычно не высказывал, пока не спросят. Например, он не одобрял, что я якшаюсь со стилистами, он их определенно презирал.

Так вот, он поступал в МВТУ и с первого раза не поступил. Он пошел в строительный трест, который работал в МВТУ — это на будущий год давало какие-то льготы. (Он кончил и МВТУ, и потом психологический факультет МГУ. Не так давно он умер). Как-то осенью он зашел к нам и рассказал, что их бригада строителей угрожала начальству забастовкой — они требовали устроить им душ и сушилку. Валя с гордостью сообщил, что как только в райкоме узнали об угрозе забастовки, сразу примчалось начальство из треста и в два счета им соорудили все, что требовалось. Вот, мол, какой эффективный метод.

Моя мать вдруг страшно рассердилась и говорит Вале: “Какие вы дураки. Добились мелочи, а теряете в тысячу раз больше. Добивались бы по-хорошему, было бы медленнее, но без потерь”. Я тогда молчал, у меня четкого мнения не было, хотя я чувствовал, что мать права — так оно всегда бывало в таких вопросах. Удивительно, что и Валя тогда это понял и страшно расстроился. Хотя сказано было туманно. Только потом, уже с опытом семейной жизни, стало понятно, что это такое — добиться чего-то сразу угрозой войны или медленно, но по-хорошему.

* * *

На первом курсе я читал много стихов. Странно, что ни до этого, ни после я особой тяги к этому не имел, а тут прямо потребность была. Дома много стихов было. Часть — еще от деда С.Г.Кара-Мурзы как-то попала, с дарственными подписями начала века. Потом, видно, поэты 20-30-х годов, которые у него дома бывали и с дядюшкой моим дружили, оставляли — так и шло. Целые полки стояли, книжки маленькие, удобные. Я каждый день брал и в дороге читал. Говорю об этом потому, что из всего этого чтения я вывел пару мыслей самых простых и почти очевидных, но они почему-то редко кому кажутся здравыми. Первая мысль сводится к тому, что практически каждый поэт, даже самый заурядный, сказал какие-то глубокие и замечательно красивые строки. Иногда совсем короткие. Наткнешься на них — сокровище. Думаешь, думаешь об этих двух строчках. Выходит, что ими оправдана вся работа этого человека, не зря хлеб ел — не пахал, не стучал молотком, а строки эти вынашивал. И нельзя его судить по количеству других, сереньких строк. Видно было, что сами поэты это чувствовали и потому могли жить, прекрасно зная, что в целом они поэты посредственные. Жили, как муравьи, и не злобились на удачливых. А те, кто злобился, видно, этого не понимал.

Вторая моя мысль была еще проще: немногие выдающиеся поэты, которых мы называем талантами, могли вырасти только в этом муравейнике, только благодаря этому общему чувству поэтического призвания, независимо от степени вероятности стать “талантом”. Можно бы сказать “питательная среда”, но это не совсем верно, тут все друг друга кормили “собой”.

Эти две простые мысли, которые мне пришли в голову при чтении, день за днем, множества поэтов, неожиданно оказались для меня важны, когда я начал работать в лаборатории. Точнее говоря, я и не переставал работать после школы — прямо с сентября пристроился к исследовательской работе и проводил в лаборатории большую часть времени. Нас таких было довольно много на курсе. Много эта работа приносила радости, но и жаль теперь — много других удовольствий не урвали мы от студенческой жизни. Утром бежишь до занятий, поздно вечером еле ноги домой волочешь, падаешь на кровать в ботинках — мать с сонного снимает.

Так вот, глядя на людей в лаборатории, я поначалу задумывался — что же так тянет

людей там работать? Ведь шансов выбиться в Нобелевские лауреаты, академики и т.д. у большинства ничтожны. Все мы были именно муравьями, и все были довольны — согласно темпераменту каждого. Меня надоумила поэзия, а потом уж я получил подтверждения в размышлениях великих ученых. Все мы в лаборатории ткали одну ткань, каждый вносил ценные крупы, которые не всегда можно было и заметить, но все знали, что это так. Большой успех немногих принадлежал всем, и это чувствовалось так глубоко, что внешние оценки и суждения были несущественны.

Я вспомнил это по двум причинам. Во-первых, это невыраженное чувство Общего дела в те годы наблюдалось в очень многих проявлениях советской жизни. Это иногда называли коллективизмом, но, по-моему, прямой связи с этим понятием это “чувство муравья” не имело. И искусственно, путем разумной организации труда, создать его было бы трудно. Тогда это было частью культуры, просто в поэзии и в науке проявлялось сильнее, чем на заводе. А потом появились прогрессивные теории, “оценки вклада”, системы стимулирования — и это чувство стало подавляться. Вовремя объяснить его как-то не сумели. А сегодня и самые разумные молодые люди уверены, что, например, бедой советской науки было наличие большой массы “посредственных работников” — *балласта*. Значит, совсем плохо стали понимать.

В советском строе балласта не было и быть не могло. Само это понятие было для него чужеродным. Можно сказать, что оно было понятием-вирусом. Мы были соборными личностями, хотя этого слова и не знали, и все вместе составляли *симфонию*. Поэтому вопрос о ценности каждого было просто некорректен, несоизмерим с реальностью. Обо многих можно было сказать: этот ценен тем-то и тем-то. Но ни о ком нельзя было сказать, что он “не имеет ценности”. И в лаборатории с умным руководителем это было очень хорошо видно. Как-то раз у нас собрался уходить один парень — сманили его в Новосибирский Академгородок. Все думали, что шеф воспримет его уход с радостью, потому что от него было много неприятностей. То нижний этаж затопит, то со спиртом его поймает охрана. Все время был на грани увольнения. И вдруг шеф стал всеми силами препятствовать его уходу, даже предосудительными методами. Он знал, что этот “балласт” представляет для лаборатории огромную ценность. Знал — а доказать бы не смог.

Когда в 70-е годы в обиход вошло слово “балласт”, это уже было симптомом весьма глубокого разрыва с самими основами советского строя. Но этого, конечно, ясно не понимали. Интуитивно, да. И потому вспыхнула короткая, но яростная схватка с будущими перестройщиками именно по этому вопросу.

* * *

В студенческой жизни еще более резко проявилось то сочетание неприязнательности с аристократической роскошью, которое чувствовалось уже в школе. Большинство студентов были из типичных трудовых семей, довольно много уже с производства, были и дети крупных ученых, министров, но они в основном тяготели к нашим компаниям и погоды не делали. Одежда тогда еще не была предметом особой заботы, а на стипендию в крайнем случае можно было даже прожить.

На первом курсе мы получали 29 руб. (я буду писать в том масштабе, который возник после денежной реформы 1961 г.). Я лично, правда, попал под пресс какой-то странной драконовской системы. До 18 лет я мог получать пенсию за отца — 30 руб. И в том случае, если я был круглым отличником, то получал и повышенную стипендию, и пенсию. А если хоть одна четверка, то или пенсию, или стипендию. Это мне сильно портило настроение, приходилось сдавать на отлично, зато отыгрался, когда исполнилось 18 лет.

За общежитие брали 5 руб. в месяц, москвичам проездной билет на все виды транспорта стоил 6 руб. Обед 35 коп. или 50 коп. За 35 коп. было достаточно, тем более, что суп давали без меры, а на столах стояла квашеная капуста и соленые помидоры, не считая хлеба. Но, если родители не помогали, можно было и приработать. Редко-редко кто жил на одну стипендию. Таким помогали, в университете был профилакторий с бесплатным усиленным питанием, туда давали путевки.

Помню случай, о котором иногда рассказываю в лекциях о русской (советской) культуре — и на Западе верят с трудом. А я его не забуду. Одно время я прирабатывал по ночам в автобусном парке — за студентами МГУ там было закреплено несколько рабочих мест, и мы по очереди работали “баллонщиками”. Дремлешь на куче дырявых камер, а зайдет бригадир, рывкнет: “Номер такой-то, разуть левую заднюю” — и бредешь с домкратом на плече, просыпаясь на ходу. Там же, в теплой караулке сидели штатные рабочие, они вулканизировали резину. Нас, студентов, они недолюбливали. Всю ночь они играли в домино, черные, как черти. Видно, днем отсыпались. Однажды, только я разоспался, зашел начальник смены и заорал на меня: “Встать! Спать в рабочее время запрещено!” Я скандалов не люблю, сел и сижу, моргаю. Мой напарник, студент-философ, который читал сидя, закрыл книгу и лег. Делать нечего, лег и я. Начальник вышел из себя: “Отправляйтесь домой и можете больше не приходите!”. И вдруг те, за столом, которые ни разу с нами не обмолвились ни словом, оставили домино, поднялись, подошли к нам и улеглись рядом на кучу резины. Молча. Все лежим в ряд и молчим. Начальник поперхнулся и выскочил. Они так же молча встали и вернулись к домино. Им не надо было ни сговариваться, ни обдумывать — у них был инстинкт.

Но вернусь к студентам. Роскошь нашей жизни была прежде всего в том, что студентов стремились вовлечь в спорт, в том числе в дорогие виды. И этими видами спорта многие увлекались — яхтой, лошадьми, альпинизмом, горными лыжами. Спортсменов у нас было много, мастер на мастере. Кстати, учились они нормально, во всяком случае в университете было так. Очень много возможностей было у нас для путешествий. Много мы ходили в походы, даже на Саяны некоторые ездили — дорогу нам оплачивали. Я и сам ходил зимой на лыжах — и на Кольский полуостров, и на Северный Урал. Сильное впечатление — две недели в палатке при температуре ниже -50о. Летом, кто хотел, устраивались в экспедиции. Можно было даже на научные суда попасть, в Атлантику. Студенческие руки были нарасхват.

Конечно, структура потребностей во многом задается обществом, господствующими нормами. Тогда бы никто из нас не стал тратить силы и время, чтобы заработать на дорогие брюки или кожаную куртку — потому что девушки наши и так нас любили. Но сейчас нельзя же требовать от юноши, чтобы он ходил в перешитом отцовском пальто. Только очень сильная личность, почти изгой способен идти наперекор тем требованиям, что предъявляет женская половина. Шкала ценностей стала быстро сдвигаться в 60-70-е годы, а инерционное советское жизнеустройство от нее отставало. А что делать, было непонятно. Ни наверху, ни внизу.

* * *

Когда я учился, важной стороной студенческого уклада была организация “связи поколений” студентов. У нас “естественным” путем возникали тесные контакты со студентами трех других курсов. Во-первых, со студентами ближайшего старшего и ближайшего младшего. С ними мы общались на целине, в колхозе, на стройках — и появлялось много друзей. Во-вторых, у многих были тесные связи с теми, кто был старше на 4-5 лет. Это были дипломники и аспиранты, которые становились нашими непосредственными научными руководителями в первых исследовательских работах — к ним нас прикрепляли в помощь. Они много с нами возились, вводили в курс лабораторной жизни, учили экспериментальной технике — а наша помощь им была ответной услугой. Насколько я помню, никаких проблем с авторством никогда не возникало, хотя кое-какие бунтари постоянно пытались ее разжечь.

Но был у нас на химфаке и специально созданный механизм введения первокурсников в студенческую жизнь — шефство четверокурсников. Этим занимался комитет ВЛКСМ. На четвертом курсе студент был уже достаточно опытен, но еще не загружен по горло дипломом. Тех, кто был годен и согласен помочь младшим, назначали шефами в группу первокурсников — уже в первые дни сентября. И у нас сразу объявился в группе такой шеф, и помощь его трудно переоценить. Действительно был наставником, очень заботливым. Рассказывал, давал советы, развеивал страхи и предрассудки. Самые критические моменты учебы и быта нам растолковал, скрытые пружины жизни химфака приоткрыл — все продуманно, взвешенно, без нажима.

Приобщил он тех, кто интересовался, и к студенческой песне, и к самодеятельности (а она в МГУ была на высоте), несколько раз сводил в походы — с этого многие и пристрастились. Рассказал и о том, как проходила в химии кампания борьбы с “англо-американской, несмеяново-сыркин-дяткинской квантово-механической теорией резонанса” — карликовая имитация кампании Лысенко против генетиков.

Я и сам на четвертом курсе в роли такого шефа потрудились и много хороших друзей приобрел. Не знаю, сохранился ли теперь такой обычай, но раньше это была хорошая сторона жизни вуза.

* * *

На втором курсе, после целины, у нас имела место странная попытка рецидива какого-то советского романтизма — чего-то, идущего в разрез с XX съездом. Особых дров мы наломать не успели, все благополучно выдохлось — старшие товарищи помогли. Я думаю, что те, кто по каким-то схожим импульсам беспокойства вдруг соединились в «инициативную группу», тогда даже не могли бы объяснить, что их беспокоит. Сейчас я бы сказал так: страх перед неосознаваемым сдвигом студентов прочь от главных советских устоев. На быденном языке это звучало так: что за народ нам подобрали сверху в комсомольское бюро курса? Они завалили всю работу и видно, что им плевать и на комсомол, и на курс, и вообще на все.

Побывав на целине, в агитпоходе и т.д., мы считали, что иметь на курсе дееспособную организацию было бы совсем неплохо. И как-то мы собрались компанией уже хорошо знакомых ребят и решили на первом же комсомольском собрании турнуть все бюро прочь и выбраться самим. Абсолютно ни с кем мы не советовались, но перед самым собранием, по-моему, наш будущий секретарь этот замысел согласовал с секретарем факультетского комитета — она уже хорошо нас знала по агитпоходу и по целине.

Все прошло без проблем, все были довольны — особенно те, кого освободили от постылого поручения. Секретарем у нас стал любимец курса, парень очень живой, бескорыстный и остроумный. Внешне и манерами как две капли воды похожий на Б.А.Березовского, но с обаянием не таким сатанинским, а именно добрым. Он был моим близким и любимым другом до 4 октября 1993 г. Я стал каким-то заместителем (не помню, по какой «работе»).

Скорее всего, эта наша инициатива в целом оказалась полезна для курса. Много незаметных, но важных для студентов проблем могло тогда решить или облегчить неравнодушное бюро ВЛКСМ — или наоборот, усугубить бюро из дураков или карьеристов. Но вспомнил я об этом ради одного случая.

Одного студента из моей группы, Артура Г., очень способного в математике, попросили, в порядке общественного поручения, помочь одному студенту-“производственнику”. Он отстал, не ухватил суть и уже стал впадать в панику. Артур пообещал, но затянул, а потом на просьбы «отстающего» ответил, что ему некогда, а тот пришел жаловаться в бюро. Сессия на носу, а он рассчитывал на помощь. Вызвали Артура, а он, вместо того, чтобы признать, как ожидали, оплошность и быстро исправить положение, вдруг полез в бутылку и стал поднимать вопрос на принципиальную высоту. Мол, на каком основании и т.д.? Был у нас в бюро один максималист, он проблему заострил, слово за слово — и Артура исключили из комсомола. Такого исхода никто не ожидал, и прежде всего он сам, но к этому подвел сам ход разговора. Секретарь даже в пылу полемики говорит: «Сдай комсомольский билет!» А билет как назло у Артура в кармане, он его вынул и отдал.

На другой день секретарь факультетского бюро, человек разумный и логичный, устроил нашему секретарю головомойку. Во-первых, понятное дело, по процедурным вопросам — исключать не имели права, надо было ставить сначала вопрос на группе, выносить взыскание и т.д., и тем более никакого права не было отнимать билет. Но главное — не процедура. Наш старший и умудренный товарищ доходчиво объяснил, что ставить на обсуждение принципиальные вопросы философского характера уже не полагается. Не тот уже режим, мы уже после XX съезда партии живем. Вопрос, обязан ли член ВЛКСМ помогать товарищу, уже

неправомерен и даже неприличен. Комсомол — массовая организация, и все молодые люди до 28 лет имеют право в нем состоять. Кроме тех, конечно, что обманули студентку, оставив ее с ребенком, хотя обещали жениться (насколько я помню, у нас на факультете с тех пор исключали из ВЛКСМ только за это).

Через пару дней состоялось собрание нашей группы, и все поддержали Артура. Кроме меня, конечно, поскольку тут вообще не поднимались те вопросы, которые обсуждались на бюро. Да и Артур их разумно не затрагивал. Ему вернули билет и извинились.

Совсем недавно, 21 июля 2001 г. встречалась наша группа — сорок лет со дня окончания МГУ. Артур все время вспоминал тот случай, он его, похоже, потряс. Не потому, конечно, что его исторгали из любимого коммунистического союза молодежи, на это качество ему было, видимо, наплевать, а потому, что еще был страх понести от этого самый обычный личный ущерб. Это была уже лишь инерция страха. Как показал сам ход событий, никто бы не позволил «сталинистам» его исключить из ВЛКСМ и тем самым попортить карьеру.

Разговаривая сегодня с Артуром, я прихожу к выводу, что тот случай высветил принципиальный поворот. Развитие советской государственности зашло в тупик, поскольку идеи-символы перестали выполнять свою главную роль — легитимировать государственный строй, сами находясь исключительно в духовной сфере, вне шкурных интересов. Эти идеи были огосударствлены и оказались жестко сцеплены с карьерой людей. Поэтому их стало невозможно применять как пробный камень в принципиальных спорах.

Артур, придав мелкому делу принципиальный характер, бросил вызов одной из идей-символов. Но говорить этого и вести с ним спор на этом уровне уже было нельзя. Да, он отвергал один из коммунистических принципов, на которых поначалу возник комсомол. Но поскольку сказать это значило подвергнуть его какой-то опасности в совсем другом плане (например, опасности быть исключенным из МГУ, пусть и воображаемой), этого не мог позволить ни коллектив, ни руководство самого ВЛКСМ. Ибо это автоматическое наказание (или даже его угроза) были бы, конечно, неадекватны. Не то чтобы суровы, а просто неадекватны. Ведь Артур был лояльным советским гражданином, честным тружеником и т.д.

Сгоряча пойдя на такой шаг, наше бюро совершило большую ошибку, оно выявило несоответствие своего сознания новому состоянию советской государственности. Начался период нарастающего релятивизма в идейной сфере — никаких устоев и никаких дебатов по главным вопросам. Это, думаю, — общая беда любой идеологии, слишком тесно связанной с государством. Ведь так же пострадала Церковь в начале века, когда отлучила Льва Толстого. Ясно, что он был еретик, и его следовало отлучить от Православной церкви. Но это сразу означало и тяжелое политическое наказание, конфликт с государством. Хотя этот конфликт власть сумела замять, Церковь очень пострадала в общественном мнении.

Кстати, через десять лет, работая на Кубе, я видел, что коммунистическая идеология в принципе вполне может быть значительно отдалена от государства — если общество не было вынуждено пройти через страстное состояние мессианского тоталитаризма. На Кубе тогда формировалась народная милиция — почти поголовное вооружение. Это бы важный критерий отношения к идеологии. И вот, довольно многие люди отказывались вступить. После этого они, конечно, не могли претендовать, например, на то, чтобы стать членом партии. Но во всех остальных отношениях их положение нисколько не менялось. Декан факультета, моя близкая подруга, не записалась в милицию, но оставалась очень уважаемым человеком. А знакомый электрик из мастерских, считая меня, видимо, чем-то вроде представителя Коминтерна, с жаром мне доказывал: «Я — за Революцию! Готов работать и все такое. Но, простите меня, Маркс, простите меня, Ленин, — винтовку брать не желаю!». Мы к такому состоянию не пришли, а заболели.

Поминая на нашей вечеринке в очередной раз историю своего испуга, Артур сказал, что сегодня, при всех издержках, положение гораздо лучше — к людям теперь относятся *мягче*. Под людьми он явно подразумевал именно таких, как он сам, солидный доктор наук. Ни сгоревших турок-месхетинцев, ни изгнанных бандитами из Чечни или сидевших под бомбами в подвалах Грозного людей, ни школьников Бендер, погребенных при ракетном обстреле во время выпускного бала, Артур просто не вспомнил. А может, вспомнил, положил против этого на весы свою личную обиду — и она перевесила.

* * *

В 1956 г., когда я поступал в МГУ, в СССР прислали большую группу вьетнамцев, более 500 человек. В МГУ для них организовали годичные учебные курсы, а потом разослали по разным вузам. Преподаватели этих курсов проявляли чудеса изобретательности и терпения — словарей не было, приходилось каждое слово и даже абстрактные понятия изображать жестами. Добрая воля и взаимное желание помогали, но сил не хватало. Для вьетнамцев, конечно, все было в диковинку. Им выдали, например, цветное нижнее белье — трикотажные кальсоны и рубашку, у кого голубые, у кого розовые. Они решили, что это модные костюмы, ни у кого таких не видно, и разгуливали в них по университету. Довольно долго им никак не могли объяснить.

Как-то в конце сентября мы с приятелями сели в гостиной передохнуть после обеда, и подходит к нам группа вьетнамцев. Один из них знал французский язык, мы тоже кое-какие слова знали. Просят им помочь, приходиться в общежитие и разговаривать по-русски. Так несколько человек с нашего курса стали ходить к ним по вечерам. Обучались они быстро, занимались старательно, мы друг друга быстро начали понимать. Они рассказывали много интересного, для нас необычного. Например, как обезьяны, делая набег на кукурузные поля, сплетают веревку, обвязывают ее наподобие пояса и затыкают початки за этот пояс. Нельзя ли это считать производством орудий труда?

Все эти ребята пережили войну, от нее там укрыться было некуда. Но у всех была какая-то общая философская установка — не представлять войну трагически. Хотя рассказывали они именно о трагедиях. В этих рассказах удивляли французы, мы никогда бы о них такое не подумали — немецкие фашисты у нас казались какими-то вырожденками, жертвами временного помешательства. Но французы! Трудно было понять их упорство. Самолеты гонятся за отдельными буйволами! Буйволы, чтобы выжить, быстро обучаются прятаться, лучше всего в воду — только ноздри наружу. А мальчик, сбросив с буйвола ярмо — за камень. Самолет развернется над полем, летит назад на бреющем полете — мальчик перебегает и ложится за камень с другой стороны. Плохо, когда камня нет.

Удивляло, как идеологи вьетнамской компартии сумели организовать людей на такую тяжелую войну без того, чтобы разжечь ненависть против французов. Это — заслуга Хо Ши Мина, он был человеком редкостного ума. Национальной ненависти не было совершенно — любили культуру Франции, постоянно говорили о французах — борцах за мир. Кстати, то же самое двадцать лет спустя я наблюдал в отношении американцев. При том, что вьетнамцы воевали против них яростно и тотально, они не культивировали антиамериканских настроений.

Я близко подружился с шестью вьетнамцами. Они ходили и ко мне домой, и к моим родственникам, ночевали запросто. Мать мою они звали мамой, и даже сейчас, если кто-то приезжает в Москву, идут на ее могилу и молятся там. Особенно привязался ко мне и к моим родным один из них, маленького роста. Звали его Фу (Во Минь Фу). У него из родных во Вьетнаме была только бабушка, но и то в голодный год она вынуждена была его продать — не могла прокормить. Учился он хорошо, и его прямо из деревни отправили в Москву. Видно, нуждался в родственном тепле — и привязался, нашел убежище. После подготовительных курсов его распределили в Ленинградский институт кинематографии, у него было развитое воображение и художественные наклонности.

А я летом уезжал на целину — весело, в теплушках, много провожающих. Приехал и Фу с моим дядей Колей и его детьми, они в это время были в Москве. Как они потом рассказывали, обратно, в троллейбусе, он повесил носовой платок на лицо и под ним плакал. В Ленинграде он стал болеть, ездила к нему моя мать, потом я заехал в зимние каникулы — мы ходили на лыжах в поход по Кольскому полуострову, так на обратном пути я на день остановился. В общем, стал Фу чахнуть, не выдержал мальчик из деревеньки в джунглях таких передряг.

Потом, через полтора месяца, он заявился к нам домой. Довольный, говорит, что перевели в Москву. Посидели, поболтали, он написал открытку дяде Коле — сам нарисовал. Я ему дал адрес. Красивая открытка. Переночевали, я пошел на факультет, в метро расстались, и он исчез.

Начали его искать, как в воду канул. Через пару недель звонит мне из Пярну дядя Коля. В чем, мол, дело? Почему Фу не учится, а живет у них и говорит, что у него каникулы? Оказывается, дело было так. Его решили отослать обратно во Вьетнам и вызвали в Москву, в посольство, а он уехал на перекладных и пешком в Эстонию, искать дядю Колю. Слышал, что город Пярну. Но не дошел, в каком-то поселке провалился под лед, его достали, отогрели и он там остался, работал чертежником в СМУ и жил в общежитии. Странно, но только через месяц это дошло до органов и до посольства. Его привезли в Москву, но он сбежал — и ко мне, за точным адресом. Потом напрямиком в Пярну. Думал отсидеться.

Теперь уже его из посольства не выпускали. Я там с ним посидел пару дней, ел сушеных осьминогов. На вокзал пришли старые приятели. Он шепотом: “Друзья мои, помогите мне убежать”. Я говорю: “Что же ты бежал в Эстонию — там же тебя сразу видно. Надо было в Среднюю Азию, там таких много”. Во Вьетнаме он стал переводить с русского художественную литературу, женился, в 1982 г. на пару недель приезжал в Москву.

В той истории для меня открылась новая сторона: не настолько велики возможности наших органов безопасности, чтобы проникать во все поры общества. Как это — в поселок пешком приходит иностранец, проваливается под лед, а потом устраивается в общежитие и на работу? А его при этом ищет посольство. Не так уж быстро работает эта машина. Конечно, это не американец, но все же. В общем, я усомнился в том, что надзор тоталитарен — вопреки тому мнению, которое господствовало в университете. Этот надзор, подумал я, настроен избирательно. В дальнейшем жизнь подтверждала, а не опровергала эту мою гипотезу.

* * *

На втором курсе я чуть не влип в неприятную историю. То есть, в неприятные-то влипал, как и все, на всех курсах, но эта могла стать очень неприятной. Расскажу по порядку.

Я тогда, как говорили, много “работал на кафедре” — урывками, в свободное время участвовал в исследовательской работе. Руководитель лаборатории, под началом которого я и прожил всю мою “жизнь химика”, открыл очень плодотворную область органического синтеза. Основу составлял один класс весьма активных соединений, из которых можно было получать множество самых различных веществ. Работа шла быстро, почти лихорадочно — разрабатывали золотую жилу. Одно было плохо — синтез самого исходного вещества был капризным и не очень-то приятным. И растворитель токсичный, и реактивы агрессивные. А главное, мал выход — 15-20%. Раз искомое вещество очень активно, оно после возникновения быстро во что-то преобразуется. Уловить момент, когда надо было кончать реакцию, не удавалось. И раньше остановить плохо, и позже плохо.

Один из нас, Миша Г., мой друг еще по школьному кружку, проявил большую наблюдательность и обнаружил признаки того момента, когда содержание нужного вещества было максимальным. У него выход подскочил до 50%, а иногда и до 70%! Все ликовали, очень уж не любили этот нудный синтез.

Стал Миша писать статью, но изложить свои наблюдения на строгом научном языке так и не смог — никакой редактор бы не пропустил. В старый немецкий журнал бы взяли (да и наши журналы раньше тяготели к немецкому стилю), но после войны немцы притихли, и повсюду возобладал англо-саксонский стиль химических текстов. Немцы не стеснялись писать так дотошно, чтобы любой понял пропись. Мише же как раз надо было описать неуловимую вещь. Он обнаружил, что пик содержания нужного кетона достигается в тот момент, когда капельки реакционной смеси, отбрасываемые мешалкой на стенки колбы, становятся вдруг как бы лиловыми. При свете лампы они в момент удара о стекло мерцают — и эдак ползут, ползут по стеклу. Тут уж не спутаешь — сразу выливай смесь на лед, удача обеспечена. Но никак эта лирика в статью не лезла, и свое уникальное умение Миша всему миру передать не мог.

Тогда он решил делать исходное вещество для всего коллектива сам и загорелся идеей построить реактор, чтобы сделать весь ход процесса хорошо контролируемым. А кроме того, получать сразу много продукта — чтобы хватало на всех и надолго. Принес он из дому хорошую эмалированную кастрюлю — отец привез из командировки в США. Сделали мы

чертеж крышки, всяких приспособлений. Взялся нам помогать хороший слесарь из мастерских химфака. Тут со мной и получилась неприятность.

Мастерские у нас были в другом здании, на территории биофака. И пошел я к слесарю не через центральный вход, вокруг здания, а через задний двор. В чемоданчике (а тогда многие ходили с большими, почти дорожными, чемоданчиками) я нес лист вакуумной резины для прокладки под крышку, а также, как водится, пол-литра спирта для слесаря. А кроме того, была у меня примерно сотня коробочек с диафильмами.

Наши приятели-вьетнамцы были очарованы фильмоскопами и диафильмами для детей. Эта вещь была тогда у нас в большом ходу, дети их очень любили. Смысла в них было побольше, чем в телевизоре. Дело в том, что картинку можно было держать достаточно долго, чтобы ребенок ее смог рассмотреть, а главное, взрослый сам ее объяснял — в меру своего таланта и воображения. Это всегда был хороший разговор с детьми. И диафильмов этих производили в СССР целое море, прекрасные художники работали. Иной диафильм — это два десятка картин высокого класса.

Так вот, кое-какие деньги в комитете ВЛКСМ были, мы купили пару фильмоскопов и собрали у ребят на курсе диафильмы, какие дома валялись без дела. Я как раз должен был какую-то порцию в общежитие вьетнамцам занести. Если бы я шел, как всегда, через центральный вход, не было бы никаких проблем, но черт меня дернул... Выхожу я через проходную, и вдруг вахтер мне говорит: “Открой чемоданчик!”. У меня такого и в мыслях не было, я даже вскипел: с какой, мол, стати. Он разозлился, загнал меня в свою рубку, кого-то позвал и велел открывать.

Тут я понял, что влип. Вынос спирта! Легендарное преступление химиков, которых страже почему-то никогда не удается схватить с поличным — и вот! Распахнулся мой чемоданчик, вахтер схватил бутылку, открыл, понюхал — все понятно, спирт. Но глаза его уставились на коробочки с диафильмами. Он раскрыл одну, вытащил пленку, растянул ее в руках, и чуть не подпрыгнул: “Микрофильмы!”. Он просто весь затрясся от возбуждения. Решил, что поймал шпиона, который для виду еще и спирт выносил, как простой советский человек.

Он меня даже ничего не спрашивал, сразу позвонил куда-то, в какую-то службу: “Задержал... С химфака. Микрофильмы... Около сотни или поболее того... Слушаюсь”. Все упаковал обратно в чемоданчик, с важным видом стал ждать. Ладно, думаю, с микрофильмами разберутся, но как бы спирт выкинуть. Ничего не придумал. Пришел человек и отвел меня в какое-то помещение в Главном здании, где спиртом совсем не интересовались. Взяли таинственные микрофильмы, посмотрели. Что за чушь? “Три поросенка”. “Гуси-лебеди”. Я объяснил, и меня отпустили. Переборщил старик-вахтер. Если бы просто отправил меня к коменданту химфака, могло и не сдобровать мне, но не за микрофильмы. Мало того что кража спирта и подкуп персонала — бывали и трагические случаи. Нальешь по ошибке не из той бутылки — ослепнет человек или умрет.

* * *

Студентом я впервые участвовал и в выборной кампании (впрочем, впоследствии всего еще только пару раз). Потом, когда в 60-е годы начались нудные, на мой взгляд, разговоры — о многопартийности, альтернативности, о том, что какие это, мол, выборы, это фарс, — у меня некоторое собственное мнение уже было. А тогда, на 4 курсе, меня послали агитатором в Раменки, недалеко от Ленинских гор, в район, застроенный бараками. Там жили строители-лимитчики.

Я обошел все комнаты моего барака, сверил списки, приглашал на собрания. Ничего особенного. В день выборов меня послали пойти поторопить тех, кто задерживается. В одной комнате жила семья — молодая пара с ребенком. Сначала они говорили, что вот-вот дела сделают и придут — стеснялись решиться. А потом говорят: “Не пойдем на выборы”. Я удивился: почему? И почему так внезапно? У нас, говорят, в бараке должна быть сушилка, а ее никак не сделают. Придешь с работы мокрый — негде посушить, а тут еще ребенок, тоже белья

много. Я говорю: “Ну, добивайтесь, жалуйтесь. Выборы-то при чем?”. Нет, мы недовольны, на выборы не пойдем. Я говорю: “Дело ваше. Выборы — вещь добровольная”.

Поехал на химфак, сообщить нашему старшему, от партбюро. Это был профессор Савич, известная на факультете фигура — маленький, экспансивный. Напустился на меня: “Как это дело добровольное? Ты что! Это политическое дело. А ну, поехали вместе”. Я поразился его таланту убеждать. Сел за стол и начал: “Вы чего, ребята, добиваетесь? Сушилки нет — это безобразие. Но вы это дело переводите в ненужную плоскость, только нервную обстановку создадите. Вы сигнал дали, идите голосуйте спокойно. Я профессор Савич из МГУ, член партбюро. Сам этим делом займусь, обещаю. Пробьем сушилку — гарантирую”. Они собрали ребенка и пошли — вижу, довольные. Бунтовать страшно, а сушилка нужна.

Но у меня язык не поворачивался уговаривать. Решай сам! Это уже, конечно, вирус демократии. Кстати, как раз в тех, кто особенно по многопартийности страдал, я этого вируса не замечал. Савич пошел сам в барак и стал взывать к здравому смыслу. И что-то пообещал потому, что дело было ясное. А у же потом, в институте, на таком же посту была тоже член партбюро, но прогрессивная женщина. Она тоже меня гоняла поторопить. А мне резонно отвечают: “Ну что ты гонишь? Сказали, что придем. Ведь для чего-то участки держат открытыми до десяти вечера”. Я согласился, что это резонно. Пришел, говорю ей, а она чуть не в слезы — хотела уйти пораньше. Идите, говорит, выпишите на них открепительные талоны. Я изумился: “Да вы что? Это же незаконно. К тому же они сказали, что придут. Вы идите, если вам надо, а я буду до конца сидеть”. Она на меня обиделась: “Глупости все это. Уйти я не могу, пока все не проголосуют или талоны не будут лежать. А если они придут, их талончики порвут”. Я уперся, и больше меня в эти дела не брали.

* * *

Пять студенческих лет пролетели быстро, само устройство этой жизни обдумывать и не успевали, еле успевали принять реальность как данное. Потом додумывали. Объем учебной работы, который наваливается на студента сразу в сентябре, ошарашивает — это такой разрыв непрерывности после школы, что не всякий выдерживает. Что-то тут в школе не продумано. Тем, кто в старших классах ходил в кружки МГУ, было, конечно, легче, а для многих учеба была сопряжена с тяжелыми перегрузками. Значительная часть скользила по зачетам и экзаменам, не успев как следует ухватить суть. Специалистами они выходили, навыки получали, но свой истинный потенциал раскрыть в работе не могли.

Для химика, по-моему, главное было понять термодинамику. Не аппарат ее математический освоить, а как-то переключиться с механистического видения процессов на термодинамическое. Тут происходило резкое разделение — на тех, кому это удалось, и тех, кто экзамен сдал, а видеть мир по-иному не стал. Да это и не только для химика было важно. Сегодня споришь с кем-нибудь о том, что происходит в нашем обществе, и видишь, что он так и продолжает видеть все в понятиях ньютоновской механики. Трудно с ним говорить, как будто о разных вещах речь идет. Не чувствует собеседник “потенциальных барьеров”, и странно ему, что путь к хорошему состоянию почти всегда сопряжен с временным ухудшением положения.

Думаю, на химфаке были сильно поставлены практикумы и семинары. Преподаватели работали с небольшими группами, много времени каждому уделяли. Когда я учился, шла смена поколений преподавателей среднего звена — тех, кто вел семинары. Приходила молодежь просто блестящая, особенно математики и физики-теоретики. Интеллект их просто восхищал, одно удовольствие было их слушать. Действительно, можно было гордиться своей страной — без всякой патетики так могу сказать.

Кроме того, очень большая часть студентов занималась, больше или меньше времени, исследовательской работой. Не всегда успевали глубоко вникнуть, но зато навыки экспериментатора осваивали хорошо. Позже, работая на Кубе, я видел своих сверстников — специалистов из Франции, Англии и США, не говоря уж о чехах и поляках. Я бы сказал, что у наших, из МГУ, была своя, особая хватка. Легко брались и осваивали новые для них проблемы. Западные этого не любили, приезжали со своими темами, а к другим проблемам относились

как-то равнодушно. Может, для них это и лучше было — делать, что знаешь.

Что касается теоретического курса, то сегодня я прихожу к выводу, что можно было его поставить лучше. После того, как я оставил химию, два раза я испытал чувство горечи оттого, что поздно познакомился с системами знания, которые в университете и аспирантуре меня могли бы поставить на гораздо более высокий уровень понимания химии — но этих систем нам не давали. Я не уверен, что их дают в полной мере и в западных университетах, но в большей мере, чем у нас — это точно. Даже если судить по той литературе, что там издается и, видимо, читается. Если бы я раньше узнал то, что освоил уже уйдя из лаборатории, то, конечно, сделал бы в химии гораздо больше и с меньшими усилиями.

Первое — мы почти не получили знаний по общей методологии науки. Как наука возникла, в чем особенности научного метода, как находить и ставить проблемы, как различить “точки роста”, какие главные работы надо читать и как их распознать? Все эти вопросы нам приходилось решать интуитивно или методом проб и ошибок. Старшие товарищи решали эти вопросы теми же способами, и советы молодым часто давали неверные. Ползучий эмпиризм в самом прямом смысле слова — в то время как в методологии науки многое было пройдено, открыто, проверено. Узнай и используй! Не знаю, как на других факультетах, но профессура химфака вкуса к этому не имела и, похоже, до сих пор не имеет. Много мы от этого теряли, гораздо больше, чем можно предположить. При тех же способностях и затратах труда наши ученые могли бы достичь намного большего.

Второе открытие я для себя сделал, когда в 1990 г. мне пришлось осваивать и читать в испанских университетах курс истории химии. Курс этот я осваивал сам, с чистого листа. Те книги по истории химии, что я раньше читал в СССР, практически мне не помогли и, я бы сказал, к реальной истории химии имели мало отношения. Я построил свой курс как рассмотрение главных этапов становления химии как науки, череды революционных прозрений. Когда я собирал и изучал доступную литературу (а в моем распоряжении была очень богатая библиотека), меня холодный пот прошибал. Ни студентом, ни после я не понимал главных вопросов! Прорывы к современной химии не объяснены в учебниках.

Никто нам на растолковал, почему смотреть опыт с магдебургскими полушариями собрался весь город. Ведь если вакуум существует, то рушится вся старая картина мироздания! Рушится даже обоснование власти королей. Ну, короли это побочный эффект, но атом! И как без того, чтобы понять те ограничения, в которые на каждом этапе загнана мысль ученого, можно оценить необычность того стиля мышления, которым отличался русский научный ум? Я помню, на химфаке многие студенты не верили, что русская химия обладала какой-то самобытностью. Считалось даже, что наши Ломоносов или Менделеев — чуть ли не плод советской пропаганды. Говорилось о *предшественниках* Менделеева! Надо просто ничего не понимать в скачкообразном ходе мысли от Бойля к Менделееву, чтобы называть предшественниками периодического закона Менделеева попытки классификации элементов, имеющие чисто внешнее сходство с его таблицей. Я, химик и любящий химию, по-настоящему не знал своего дома.

Но, когда я учился, я об этом не думал. Слава богу, что хоть важность термодинамики понял — кто-то незаметно меня вразумил. А ведь мог бы отнестись, как к любому другому предмету.

* * *

Особое место в моей студенческой жизни (и, думаю, многих) занимает *целина*. Первый раз студентов посылали туда в 1956 г. Я ездил два следующих года. Большое дело сделали те, кто это придумал. Нас бросили в особую точку советской жизни, где можно было увидеть и понять очень многое. Если, конечно, было желание. Есть ведь люди, которые на что-то странное в упор смотрят — и не видят. Кажется, забыть такое невозможно, а назавтра его спрашиваешь — нет, не видел!

Каждый бы рад про свои молодые годы что-то рассказать, и мне трудно удержаться. Но постараюсь ограничиться тем, что оставило зарубку, “наставило на путь”. Не по порядку

важности, а так, как тянется нить воспоминаний. После первого курса поехали добровольцы, примерно четверть курса. Мне повезло — попали в Кустанайскую область. Я даже как-то отпросился на сутки и на попутных съездил в Михайловку, где был в эвакуации. Прошел те два километра до школы на холме, куда я бродил ребенком, когда скучал по матери. Вспомнил пруд, где меня чуть гуси не загрызли, аквариум в учительской, около которого меня укладывали на диване спать после такого путешествия.

На этот раз мы ехали из Кустаная на грузовиках, через казахские кишлаки. Был 1957 г., многие семьи жили еще в землянках. На остановке в одной такой землянке мы попросили напиться. Старуха вынесла ведро: “Пейте. Все-таки любим советскую власть”. После европейской части землянку было видеть не по себе. Приехали, сгрузились на окраине деревни, разъехались по отделениям совхоза. Привезли нас на место — степь и перелески, надо ставить армейскую палатку. Подъехал молодой казах-пастух на лошади. Хоть и лето, а в шапке-ушанке и полушубке на голое тело. Мы еще ночи казахстанской не хлебнули, и в жару его наряд казался странным. Он явно залюбовался на наших девушек, но разговаривать стал с ребятами. Разговор был такой замечательный, что в память врезался до мелочей — и в то же время не верится.

Парень тот кончил местную десятилетку и работал пастухом. Узнав, что мы из МГУ, он обрадовался — у них, мол, таких никогда не бывало. И спрашивает нас: “Над чем сейчас Виктор Шкловский работает, что нового пишет?”. Я лично имя Шкловского отдаленно слышал, но ничего не читал, так что промолчал. Нашелся среди нас один знающий, что-то сказал пастуху о космологии. Пастух проявил полное знание предмета. Я, говорит, стараюсь все книги Шкловского покупать, да не уверен, что все к нам доходят. Потом спрашивает: “А что Бонифатий Михайлович Кедров написал? Мне его работы по философии науки нравятся. Вы с химфака, наверное, знаете”. Б.М.Кедров был философ и историк химии, но тогда я и имени его не слышал, это потом я его слушал на первом собрании, где открыто громили Т.Д.Лысенко (кстати, я с Лысенко рядом сидел на том собрании). А позже с Кедровым мне пришлось работать в одном институте. Но тогда пастуху никто не смог ничего ответить. Девочки наши вообще отвернулись, их смущали косматая лошаденка и тулуп на голое тело. Захотел пастух и уехал.

* * *

На целине моментами приходилось работать с полным напряжением сил. Почти для всех это было в диковинку, и узнать, что это такое, было полезно. Одну группу поставили работать на местный кирпичный заводик — месить глину, пропускать ее через машину, обжигать кирпичи. Машина была такая прожорливая, а сил, казалось, так мало, что один парень от безысходности стал тайком подкладывать в глину гвозди — и струна, которой отрезается от глины очередной кирпич, лопалась. Пока механик, чертыхаясь и удивляясь, менял струну, ребята переводили дух. Потом саботажник в припадке откровенности признался одному приятелю, а тот рассказал мне.

Работа с полным напряжением сил — это еще ничего, потом можно отдохнуть. Но иногда приходилось делать какое-то краткосрочное усилие, которое требовало сил больше имеющихся. Если постараться и друг друга понимать, то сверхусилие можно сделать очень большое, при этом его возможность можно оценить довольно точно. К моему удивлению, на целине ребята разделились на две части по такому простому признаку — одни могут и умеют собраться и сделать такое сверхусилие, а другие — нет. Надо, например, что-то сдвинуть или поднять, а они просто не верят, что это возможно. а если не верят, то и мускулы их не могут напрячься в нужный момент. Это было странно видеть — такие же сильные, хорошие, честные и т.д. А — не верят! Позже, в некоторых критических ситуациях, я убедился, что если на таких рывкнуть как следует, то и они на какой-то момент входят в норму и дергают, как надо. Но часто же рывкать не будешь, да и невозможно это. Тогда, на целине, ребята на эти два класса разделились, думаю, примерно поровну. А потом с годами стало, похоже, расти число тех, кто в возможность соединиться в одном усилии и сделать что-то очень трудное не верил. И, главное,

они стали теории под это подводить, причем теории убедительные. Организация труда, эффективность... Стало хорошим тоном не понимать истории России, даже совсем недавней.

Работа на целине была интенсивной, много техники. Было видно, что такое разрыв между быстрым ростом технической оснащенности и привычками людей. Наверное, в 30-е годы этот разрыв был глубже, но и тут его значение можно было понять. Об этом сейчас не думают — все злятся, что у нас после войны стали “Победу” выпускать, а не “Мерседес-600”. На целине этот разрыв проявлялся в высоком уровне травматизма. Была для него и объективная причина — очень уставали люди. Усталый тракторист заснул и вывалился из трактора. Получил травму, догнать трактор не смог, тот ушел в степь и наехал на палатку со спящими людьми. Усталый прицепщик заснул в борозде, полусонный тракторист на него наехал. На деле, люди не были готовы быстро привести в соответствие с реальностью организацию своего труда. И не прочувствовали значение техники безопасности. Знакомый тракторист полез в сырую погоду под трактор с дрелью — погиб от удара током. Знакомый механик полез в зернохранилище что-то наладить, кто-то в этот момент пустил зерно, оно хлынуло и в момент его погребло. В эти дни бригадиры со слезами хватили нас за руки, умоляли быть аккуратнее. На этих смертях мы учились.

Со всеми были опасные случаи, и мелкие травмы были. Меня как-то послали прицепщиком на пахоту. Километра четыре от палатки, ночью. Указали путь по звездам. Шел через степь, промок в каком-то болоте, потом стал слышен трактор, а потом и свет. Пришел, сел на плуг. Тракторист — девушка с курсов механизаторов, еле ворочает языком от усталости. Меня на холодном плуге, неподвижного и мокрого, всего трясет от холода. Под утро минут двадцать подремали в кабине, согревая друг друга под телогрейкой — и снова пахать. К середине дня невольно мне стало сидеть, все тело онемело. Я встал и еду стоя, пока прямая борозда. И надо же такому случию — разорвалась сцепка. Плуг в буквальном смысле слова стал, как вкопанный. То есть моментально. Это я сообразил уже позднее, а в тот момент просто получил, откуда ни возьмись, удар в лицо и потерял сознание. Я упал вперед на плуг и ударился лицом о балку. К этой балке были привинчены в ряд приплужники — маленькие лемехи, не нужные на пахоте. Привинчены вверх остриями. Моя голова вошла точно между двумя этими остриями, даже ни одно ухо мне не оторвало. Удача. Хорошо, что лицо было под таким слоем пыли, что девушка не удивилась его деформации. Пока она, как в замедленной съемке, вылезала из ушедшего вперед трактора, я уже пришел в себя и сполз на землю. Под вечер закончили, поехали на усадьбу, и мне моя начальница доверила вести трактор — ДТ-54. А сама ненадолго закрывала глаза — не спала, а как бы впадала в забытие.

В другой раз, уже на следующий год, я пережил страшные полчаса, так как сам мог стать причиной тяжелых травм. Я был бригадиром, у нас в бригаде было 11 китайцев. Одного я поставил помощником на кукурузоуборочный комбайн — он рубил зеленую массу на силос, и надо было с короткими вилами ее разгребать в кузове самосвала. Вдруг на другой день утром он говорит, что больше на эту работу не пойдет. Это меня удивило — парень очень хороший и работающий. Я решил, что чем-то его комбайнер или шоферы обидели. Пришлось мне пойти самому, все уже были расписаны. Работа оказалась тяжелая, самосвалы шли один за другим, зеленой массы невероятное количество (великое дело сделал Хрущев с кукурузой). И вот, ближе к обеду, я спрыгнул с очередного самосвала, за ним, упершись в зад бампером, подъехал другой — все делалось на ходу. Я догнал самосвал, забросил в кузов вилы, подтянулся на заднем борту. Но тут у меня поскользнулся на мокром металле сапог, и я сорвался. Пока я снова догнал самосвал и вскарабкался, набралась треть кузова зеленой массы, и вилы мои оказались под этой кучей. Я стал ее раскидывать — тщетно. Кое-как я ее растолкал массу по кузову сапогами и руками, соскочил, бросился к кабине и стал кричать шоферу, чтобы он на силосной яме предупредил, что в кузове — вилы. Они представляли страшную опасность. В траншее, куда сваливали силос, девочки работали в купальниках, толклись по пояс в зеленой массе. Если бы незамеченные вилы встали торчком, кто-то мог бы запросто на них напороться, самым фатальным образом. Шофер явно меня не расслышал, махнул рукой и умчался — а я должен был лезть в следующую машину и, как мог, выполнять мою работу. Объясняться было бесполезно — ничего не слышно, и все в трансе этой захватывающей работы. В обед я помчался к траншее — мои вилы оказались благополучно погребены в силосе, ничего не

произошло. А могло бы.

* * *

Тем из студентов, кто хотел видеть, целина давала прекрасный урок простой мудрости: даже те улучшения, которые тебе кажутся очевидно полезными, надо делать очень осторожно. Улучшая часть целого, которое тебе недостаточно известно, ты можешь ненароком сломать какую-то часть этого целого. Так, что вместо пользы нанесешь ущерб или людям, или хозяйству. С нами было два таких случая (я хоть и участвовал в этих работах, но недолго, а суть конфликта мне потом рассказал мой друг Тамерлан Айзатулин, который там был за старшего).

Поручили нам очистить от навоза овчарни, в которых зимовали овцы. Никогда их, видно, не чистили, и год за годом навоз заполнил строения почти до крыши. Работа оказалась тяжелой и муторной. Слежавшийся за многие годы и высохший за лето навоз, к тому же армированный соломой, представлял из себя упругий прочный материал, который не поддавался лопате. Ковыряешь, ковыряешь по кусочку. Вилы ломались. Понятно, почему годами никто за это не брался. Старый бригадир приехал, показал нам, что надо делать, и сказал: “Снимете сверху, сколько сможете, а я через пять дней приеду посмотреть”.

Думали, думали, как же этот навоз взрезать. В конце концов нашли способ. Было у нас несколько спортсменов, даже гимнасты хорошие были. Они научились прыгать на лопате, стоя на ней двумя ногами и держась за черенок. Если прыгал достаточно тяжелый человек и достаточно высоко, лопата легко пробивала слой на глубину штыка. Так навоз нарезался на ленты, а отслаивался он легко. Дело пошло быстро, и до приезда бригадира весь навоз до земли был изрезан на кубики и вывезен, а пол в овчарне был чисто подметен метлами, которые наломали в рощице.

Когда бригадир приехал, ребята уже играли в волейбол, что его возмутило, и он их обругал. Поэтому никто даже не пошел сопровождать его в овчарню. Когда он туда вошел один, через мгновение оттуда раздался его отчаянный крик. Тамерлан говорит, что он был похож на вой раненого зверя. Все кинулись туда. Оказывается, для зимовки овец обязательно надо, чтобы на земле оставался достаточно толстый слой слежавшегося навоза. Отара растет по мере создания этого слоя. Навоз не только прикрывает холодную землю. Окисляясь, он греет овец, и его не заменить, например, соломой. Убрав навоз до земли, мы создали людям большую проблему, которую бригадир просто не знал, как решить.

Второй случай был на том кирпичном заводе, о котором я уже писал. Из одиннадцати студентов, которых послали работать на кирпичный заводик на берегу Тобола, большинство были хорошими спортсменами или сильными ребятами. Они быстро нашли хорошую организацию трудового процесса, а главное, придумали много полезных нововведений. Тут особенно постарались как раз слабые, иначе бы им было нелегко держать общий ритм (тот “саботажник”, например).

Так, сделали из досок что-то вроде рельса для тачки с небольшим уклоном — от машины до сушилки. Теперь тачка катилась сама, только равновесие поддерживай, а это даже слабому спортсмену под силу. Если одна тачка из десяти опрокинется, не беда — обратно в глину. Зато производительность резко возросла. Но стали замечать, что машина снова стала часто ломаться — то и дело струна лопается. Подкараулили ребята и теперь уже поймали саботажника — самого механика Славку, худосочного парня. Он подкидывал гвозди в глину. Хотели его поколотить, но он говорит:

— Вы тут все спортсмены, бегаєте как угорелые с тачкой. Через месяц вы уедете, а нормировщица нам после вас повесит норму выработки. И попробуй докажи. Она тебе скажет — вон, мол, сопляки студенты без всякого опыта сколько кирпичей давали. А у нас тачки бабы возят, кто из них по этой доске проедет?

Подумали ребята, и сочли, что Славка рассуждает разумно. Он им на своем языке высказал общий принцип: если хочешь улучшить систему, посчитай сначала, имеются ли ресурсы для того, чтобы она работала по-новому? Если нет, то ты можешь разрушить и ту систему, которая худо-бедно, но работает. Жалко, что не этот худосочный Славка был у нас в

1992 г. премьер-министром, а очень упитанный Гайдар.

* * *

На целине мы, студенты 1-3 курсов, сами, на опыте, могли понять, что такое и как много значит хорошая организация и знание материала. Директором совхоза, куда мы приехали во второй год, в Северо-Казахстанской области, был Герой труда Лизунов. Приехал он туда из Воронежской области, на фронте потерял правую руку до плеча. Дело знал хорошо, уже с пяти утра его синяя “Победа” мелькала по полям. Совхоз засевал 35 тыс. га пшеницей, все работало, как часы. Поля прекрасные, пшеница уже новых сортов, низкорослая, урожайная — а ведь 1957 г. Молодые агрономы, механизаторы, большинство с тонкими, интеллигентными лицами (особенно девушки). Ходили уже не в телогрейках, а красивых куртках, как у летчиков. Даже удивляешься, куда все это в 70-е годы исчезло.

Мы в июле убрали сено, с нами было четыре шофера. Один из них, Роман, красавец-грузин, был местным дон-жуаном. Гордый до невозможности. Гонял свой грузовик с сеном на полном газу, пыль столбом — катал в кабине девушек. Однажды директор на “Победе” погнался за ним, еле догнал, объехал и заставил остановиться. Роман вышел, директор к нему подошел и ни слова не говоря залепил левой рукой оплеуху. Мы думали, что Роман его убьет, он от малейшего неуважительного намека лез в драку. А он улыбнулся и говорит: “Простите, Василий Петрович, больше не буду”. И потом об этом случае вспоминал чуть ли не с гордостью.

В нашей бригаде мы приняли довольно сложную систему маневрирования. С поля часть ребят уезжала с машинами на скирдование, что уменьшало задержку машин на скирде, да и отдыхали по пути. Казалось, что на скирде много народу. Там платили повременно, но немного. Так что в наряде я много работников записывал на скирдование и поменьше — на поле, на погрузку. А там платили сдельно с большой прогрессивкой. Когда пришло время выписывать зарплату, бухгалтер изумился — у нас выходило очень много. Но он не мог понять, почему — все оформлено правильно. Попытались взвесить машины с сеном, но мы их так утрамбовали, что они еле до весов доползли, шоферы обхохотались. Пришел в бухгалтерию директор, взял наряды и с одного взгляда все понял. Разозлился на меня, стал свою культу массировать, это был плохой признак. Я ему говорю: “Что вы сердитесь, посмотрите на скирды. Когда у вас было столько сена? Вы его зимой будете продавать. То, что вы нам платите — мелочь”. Это была правда, и он махнул рукой. У нас получилось, что мы выполнили шесть норм, и за это получили районный вымпел. А заплатили нам все равно столько, сколько считали нужным. Платили ведь студентам не по труду, а по возможности, но мы по молодости лет этого не понимали.

Впрочем, особенно сильно обижаться на нас директор не мог, потому что недавно бухгалтерия с нами нехорошо поступила (сам он, правда, при этом оставался в тени, но наверняка все знал). Нас слезно попросили сделать тяжелую и очень неприятную работу и обещали заплатить за нее очень хорошие деньги. Это сразу чуть ли на треть увеличило бы зарплату каждого члена бригады, а поработать надо было дней пять четверым.

Дело было в том, что совхозу надо было устанавливать автомобильные весы, они как раз прибыли с завода. Яма для них была давно готова, но ее заполнили ядохимикатами в рваных мешках. Тогда поля обрабатывали с самолетов — великое дело. Эффективность огромная, и в СССР была создана сильная сельскохозяйственная авиация. Такая, что она после завершения работ у себя в стране работала по контрактам за границей. Ядохимикаты завезли, но часть бумажных мешков была порвана, и их сложили в яму для весов — она была уже под хорошей крышей. Пришли весы, а тут уборка, очищать яму некогда, да и очень плохая работа, все надо делать вручную, копошиться в яме с этими ядами, ведрами подавать наверх. Совхозные рабочие отказались наотрез, и директор слезно молил нашего руководителя, да и денег обещал заплатить 2 тысячи рублей. Насчет суммы я после стольких денежных реформ могу и ошибиться, но выглядело это как большие деньги). Посоветались мы — вредно, конечно защиты никакой. В основном фосфорорганические соединения. Но раз мы химики, отказаться

неудобно.

Я поговорил с близкими друзьями: кто хочет, пойдёмте со мной. И мы вчетвером взялись. Обмотались тряпками, на лицо респиратор, двое в яме, двое оттаскивают. Сделали работу, а нам в бухгалтерии говорят: какие две тысячи? Вы что, ребята, посмотрите расценки. Самое близкое, что могли придумать нормировщики, это погрузка ядохимикатов в мешках с подъемом на полтора метра — на грузовик. Ни яма для весов, ни рваные мешки в советских нормах не фигурировали. В общем, выписали нам что-то вроде двухсот рублей, точно не помню. Собрались мы между собой, хотели сначала пойти и быстренько все эти тонны ядохимикатов обратно в яму побросать. Но сознательность заела. Ладно, думаем, лукавые бухгалтеры, пользуйтесь нашей добротой.

* * *

Маневр людьми на уборке сена нам очень помог, но еще больше — наблюдательность одного из нас, Алика Штейнмана. На соседней скирде работали старшекурсники и с ними два преподавателя, с гонором. Они втроем влезали на большой грузовик. Разгружали почти два часа. Алик смотрел, смотрел, и понял.

Мы убирали сеяные травы. Они были пусть не в рост человека, но очень высокие (какие сорта уже тогда были!). Когда на вилах поднимаешь копны такого сена и кладешь их на машину внахлест, весь воз кажется одним целым, границы между копнами исчезают. Если наверх влезает три человека, каждый обязательно наступает на краешек копны, и сосед должен с трудом выдирать ее вилами из-под ног. И своих, и соседа. Но если внимательно приглядеться, эти “скрытые копны” можно различить. Тогда можно отступить в сторону, взять вилами только эту копну, не зацепляя другую, и без всяких усилий ее поднять. К нам пришел с сеном ГАЗ-51, Алик влез на него в одиночку и показал нам, как легко можно передать все сено на скирду. Дошло до того, что он в качестве рекорда разгрузил такой ГАЗ за 14 минут. Один! Правда, как вихрь метался по сену, со стороны казался сумасшедшим — то там ткнет, то здесь. Очень толковый был парень, со сложным характером, много думал.

Вообще, в каждом деле были секреты мастерства, и кто что умел — показывал желающим. Один студент, бывший грузчик, показал нам, например, как надо поднимать и носить тяжелые мешки. Ведь почти никто не умеет, вот и мучаются люди. Кое-какие приемы были на погрузке сена, и мы научились подавать наверх очень большие порции сена, не надрываясь. Удивлял один китаец. Красивый, из аристократов, высокий и тонкий, как тростинка. Но так вдумчиво осваивал технику, так точно распределял вес на кости, соблюдал равновесие, что стал поднимать наверх просто невероятные копны. Здоровые мужики приходили смотреть, удивлялись.

* * *

Странно было видеть, как индивидуально сочетаются люди с работой — в одной мастер, а другая никак не идет. Один парень сам попросился на силосный комбайн. Тяжелая работа, а он справлялся отлично и был доволен. А до этого он работал на скирдовании сена и выглядел лодырем. Одну девочку такое зло взяло, что она возьми да и вонзи ему вилы в ягодицы. Тогда парень ничего не сказал, только отпросился у меня в город к врачу — мол, живот сильно болит. Однако шофер Роман этот инцидент видел и был в восхищении от поступка той девушки. Но это я вспомнил потому, что человек с удовольствием и умело делал более трудную и изматывающую работу, но индивидуальную. Не нравился ему конвейер — он должен был на скирде подавать сено так, чтобы Наташа наверху подхватывала его на лету, иначе ей много усилий требовалось.

В 1958 г. из МГУ на целину ездили не добровольцы, а всем курсом. Кто не хотел, конечно, не поехал, повод всегда найдется. Но, раз не добровольцы, возникли новые проблемы. В прошлый раз, будучи добровольцами, мы без всяких собраний договорились заработанные

деньги разделить поровну. Теперь пришлось устроить собрание. Как ни странно, возникли острые дебаты, чуть не до рукоприкладства. Зазвучали слова “уравниловка”, “материальное стимулирование”. Студенты из деревни, которым как раз деньги были нужнее всех (и которые, кстати, работали продуктивнее других), помалкивали. Громче всех шумели прогрессивные москвичи из теоретиков. У меня в бригаде было 62 человека, и мнение у нас было едино. Я заранее сказал, чтобы не дурили и глупостей не говорили — некому у нас за каждым ходить и измерять его работу, да и глупо это. Здравый смысл взял верх, и собрание решило делить поровну в каждой бригаде. А физики, как и в прошлом году, вели индивидуальный учет. Чушь полная, потому что этот учет — всего лишь ритуал, как и у нас уравниловка. Потому что все равно я назначил, кому надо, премии — соответственно работе и, в какой-то степени, нуждаемости ребят. Зато все лето у всех было спокойно на душе, и все старались по мере сил.

Деньги вышли немалые, зарплата с премией — полугодовая стипендия. В последнюю ночь мы, бригадиры, при свете керосиновой лампы (дизель на ночь отключали) делили в какой-то каморке деньги, что нам притащили в мешках из бухгалтерии. Тут же разлили остатки спирта, отметили конец приключений, рассовали пачки за пазухи телогреек и разбрелись по грязи по своим бригадам. Под утро меня растолкал бригадир с третьего курса, чуть не плачет. Спрашивает, раздал ли я уже деньги. Какое там, все уже спали, когда я приплелся. Дело было в том, что он где-то свалился в овраг и потерял большую пачку денег. Шарил ночью, шарил, не нашел — был сильный дождь со снегом. В общем, посчитали мы с ним, пошли по другим бригадирам и у всех отняли часть. Тем дело и кончилось. Прекрасный был парень тот бригадир. Надо это сказать, потому что он потом отравился в лаборатории и умер.

Тот год, если кто помнит, в Северном Казахстане выдался тяжелый. Урожай был очень хороший, любо-дорого. Но только началась уборка — мороз и снег. Надо валки обмолачивать, а они под снегом. Хорошо помню день 21 сентября, дети утром в школу идут на лыжах, такой снег глубокий. У нас ни у кого нет теплой одежды, все обмотались полотенцами вместо кашне. Спим в недостроенных мазанках, без печек, без одеял, вода в цистерне замерзает. В такую погоду работы нет, а нельзя без работы, тем более в плохую погоду. Поговорил я с друзьями и стал гонять ребят за три километра на зернохранилище, это уже не совхоз. Там работы сверх головы. Сначала ворчали, хотелось отдохнуть на нарах, а потом втянулись. Зато хорошее настроение сохранили. А те, кто на нарах в карты играл, печальное зрелище стали представлять. Ругаться стали между собой — а такие же наши сокурсники, химики. Труд сделал человека и его держит.

Как назло, тогда начались какие-то осложнения в Китае с Америкой. Двухсотое серьезное предупреждение, трехсотое. Китайцев отозвали в Москву, для бригады это была большая потеря. А главное, не прислали солдат и армейских грузовиков. Собралось партсобрание, как бригадир и я пошел. Директор и агрономы орут, секретарь обкома оправдывается и даже угрожает. Студентов привезли до 1 октября — кому хлеб из-под снега вытаскивать? Мы — телеграмму в деканат, нам разрешили остаться, кто хочет добровольно. В Москву почти никто не уехал, но жизнь стала тяжелая. На наших девочек из министерских семей можно было только удивляться, им все это было непривычно, но выдержали на равных. Питались мы из походных кухонь, но теперь уже было не до борщей, рук сильно не хватало. Просто варили картошку. Смотрю, почти никто уже не чистит ее — польют маслом и едят прямо с кожурой. Значит, всерьез устали. Месяц еще пробыли, много поучительных вещей повидали.

* * *

Изредка, но устраивали мы и праздники. Как-то вдруг захотелось отпраздновать чей-нибудь день рождения. Посмотрели, у кого близко — и устроили. Угощений особенно не было. Я зашел на ферму, и там с радостью налили мне два ведра густых сливок. Девочки в них изжарили картошку. Стали собирать в степи костер, шел мимо знакомый шофер — настрелял на озерце уток. Узнал в чем дело — отдал нам этих уток, их изжарили на углях, дали именинникам. У начальника нашего отряда химиков был спирт, и он мне уделил нашу долю. Даже какие-то подарки нашлись. Хорошо все получилось. Один именинник был китаец, он так

растрогался, что обходил всех со слезами на глазах, отщипывал каждому кусочек своей утки.

У нас в бригаде был один ребенок, Коля, лет двенадцати. Девочки с нашего курса и один лаборант ездили в детский дом в Хотьково — подружились там и уже было трудно оторваться. Этот мальчик был старше других и очень хулиганил, так что даже стоял вопрос о его передаче в колонию. Лаборант Володя и упросил отпустить его с нами на целину и там его опекал. Коле нашли хорошую работу, которая ему нравилась. Ему дали лошадь и бочку на колесах — он развозил воду по бригадам. Иногда и верхом мог прокатиться. Трудно было только Коле вставать по утрам — сон в этом возрасте крепкий. Володя склонится к его уху и шепчет: «Вставай, Коля, пора. Вставай, Коля, пора». А то и сам встанет пораньше, сбегает поймать лошадь, запряжет ее. Коля работал, и зарплату получил, как все, за лето успокоился — никто бы в бригаде и не подумал, что он хулиган. А кто знал, не говорил.

Я вспомнил Колю и наших девочек, которые ездили в Хотьково, когда уже в начале перестройки стали на телевидении громить детские дома. Конечно, у людей было идеологическое задание — надо было опорочить порождение тоталитарного советского государства. Не буду об этом спорить. Но сколько при этом они выплеснули тупой злобы и подлой безжалостности к детям. Эти передачи сразу отвратили меня от Горбачева, сильно подействовали. Добрые тети с телевидения тогда заставляли детей перед телекамерами говорить гадости о своих воспитателях и учителях. И как дети после этого могли с ними жить, когда эти тети убралась в свои студии в Останкино?

Насколько же мудрее были наши девочки, которые ездили в детдом — а ведь всего-то студентки первого и второго курса. Я раза три ездил с ними, и тогда меня удивило это их чутье и такт. Дети им радовались, липли к ним, и всегда хочется кому-то пожаловаться, снять груз с души. Им и жаловались: «Меня тетя Даша мокрой тряпкой стукнула... Тетя Настя на кухне залезла кружкой в сливки и всю кружку выпила — а нам дают только по полстакана сливок, такие вкусные...». И все в таком роде. Наши девочки все выслушают, поохают, по голове поглядят — и успокоят. Мол, ничего страшного, бывает. Главное, тетя Даша и тетя Настя вас любят. И дети рады — они ведь понимают, что никого у них нет, кроме тети Даши и тети Насти.

* * *

После первой поездки на целину возникла у нас одна мысль. Дети там в летнюю пору остаются совсем без развлечений. Взрослые заняты сверх головы, людей не хватает, некому детей порадовать концертами или даже кино. Конечно, они к студентам тянутся. Решили мы сделать кукол, ширму, и устроить кукольный театр. Кукол делать многоцелевого назначения, чтобы можно было разные сказки разыгрывать.

Пошел я в Театр кукол С.Образцова за консультацией. Должны, думаю, помочь советом — моя мать помогала шить первых кукол С.Образцова, все это начиналось в компании поэтов и художников из ВХУТЕМАСа, на квартире моего деда. Пришел я в театр, приняла меня в дирекции какая-то дама. Я объяснил, что мы хотим, и попросил разрешения посмотреть мастерскую и поговорить с мастером. Она надулась: «Куклы — это высокое, сложное искусство... Надо много лет... Не так просто, как вам кажется... Зиновий Гердт... Вы лучше какой-нибудь скетч разучите».

Этот скетч меня сразу образумил. У меня с такими дамами сразу возникает непримиримый конфликт, хотя я ничем своего отношения не выказываю. Я еще и рта не раскрыл, а они начинают меня ненавидеть лютой ненавистью. Только в кабинет к ним войдешь — сразу тебя раскусят, и никаких шансов уже нет. Я так несколько ценных идей загубил.

Ушел я оттуда, но, думаю, ничего не потерял. Нам другие куклы были нужны, не такие усложненные. Сами стали думать, на основе общей физики и химии. Стал я делать головы из папье-маше, девочки шили костюмы. Какие-то куклы на палках с проволочными тягами к рукам, какие-то на руку. Кащейю в глаза даже лампочки вставили на батарейке — замечательно глаза сверкали. С десятков кукол сделали, как у Карабаса-Барабаса. Столяр в мастерской сделал нам удобный каркас для ширмы. Хорошее было бы дело, да не удалось.

Мне пришлось быть на целине бригадиром, тут уж не до кукол. Девочки тоже так уставали, что после работы ни о какой культмассовой работе думать не приходилось. Только один раз смотрю, в воротах зернохранилища, где мы до холодов жили, выставили они ширму, собрались там все дети поселка, и разыгралось небывалое представление. Все куклы участвуют — сражаются, убегают, спасают, женятся. Текст придумывается на ходу — поток сознания. Один персонаж не знает, что выкинет другой. Дети смотрят, раскрыв рот, сюжетная линия не важна. На один раз хватило духу, но и ради этого раза стоило потрудиться.

Потом в жизни и еще я улучал моменты, особенно вынужденного безделья, как в больнице, и делал какую-нибудь куклу. Как будто приятель у тебя появлялся. А то и полезно оказывалось. В 1972 г. я работал на Кубе, дочке исполнялось три года, в октябре. А подарки тогда на Кубе продавали только к Рождеству — одну большую игрушку (например, велосипед) и одну маленькую. Что же подарить в октябре? Вовремя сообразили, и я тайком сделал хорошую куклу, большую. Когда все гости собрались за столом, я ей сказал: “Даша, посмотри в коридоре, кто к тебе пришел”. Дочь была очень рада, до сих пор вспоминает.

* * *

В 50-е годы в СССР создавалась современная система научно-технической информации. В химии до войны в мире было две больших системы, обрабатывающих главные журналы всей химической литературы — американская и немецкая. Они выпускали реферативные журналы, полно представляя всю химию и смежные области. После войны немцы сошли с дистанции, и такую систему стал строить СССР. По масштабу это колоссальная работа, и скоро выяснилось, что только двум странам она и была под силу — США и СССР. Чтобы такую службу создать, надо было иметь целостный, сплошной фронт науки — так, чтобы во всех областях имелись компетентные специалисты, способные понять статью и сделать хороший реферат.

Сейчас многие из числа интеллигентов радуются тому, что СССР уничтожен и США монополизируют многие сферы культуры и техники. К чему, мол, было это ненужное дублирование! В этой радости я вижу непроходимую глупость, она в иных людях почему-то легко уживается с образованием и знаниями. Существование в мире двух целостных систем научной информации было большой и всеобщей ценностью, оно усиливало обе эти системы. Что же касается СССР и многих тяготеющих к нему стран, то для них ликвидация советской системы была тяжелым ударом. Невозможно заменить ее американской системой — это все равно, что попытаться заменить русский язык английским.

“РЖХимия” был хорошим журналом, готовился нашими людьми для наших людей. Он проникал даже в самые маленькие коллективы химиков, даже в небольшие заводские лаборатории. Мы после 4 курса, в 1960 г., были на практике — на заводе синтетического спирта в Орске. В лаборатории один сотрудник и три лаборантки. Заняты контролем технологического процесса. Но все равно ведут исследование, пытаются наладить выпуск искусственной олифы из побочного продукта. В Сумгаите уже сделано, но на каждом заводе свои тонкости.

Мы из МГУ, так нам говорят: посмотрите производство, а потом помогите в лаборатории. Смотрим — есть полный комплект “РЖХимии”. Засели, неделю читали, нашли целый ряд приемов, чтобы разрешить возникшие трудности. Обсудили с инженерами, отобрали варианты. Дальше — с теми же девочками-лаборантками можно было проверить варианты, выбрать лучший и доработать регламент. Можно было работать, и люди работали.

ВИНИТИ набирал силу, и на последних курсах кое-кто из студентов уже делали рефераты статей по своей специальности. Это не полагалось, надо было иметь диплом, но редакторы смотрели сквозь пальцы, лишь бы человек был знающим и умел сжато упаковать материал. Наш шеф всех нас туда устроил, и это была для нас неоценимая вещь. Уже то было большое дело, что десятки тысяч человек получили регулярный и вполне приличный интеллектуальный заработок. А кроме того, сильно повысили свою квалификацию. Мало того что освоили языки и резко расширили химический кругозор. Главное, приходилось много думать и воображать весь ход эксперимента. Потому что требование к нам было такое: так изложить в реферате суть статьи, чтобы квалифицированный химик смог по реферату воспроизвести эксперимент.

Если учесть, что ВИНТИ выпускал реферативные журналы по всем главным отраслям науки и техники, то само создание такого предприятия вызывает восхищение. Сегодня, глядя на нынешний маразм, иной раз даже не верится, что в начале 60-х годов мы наладили такую систему мирового класса, которая работала, как часы, и год от году набирала силу.

Советский человек на Кубе

Как многие помнят, 1 января 1959 г. на Кубе победила революция. Батиста, самый кровавый “сукин сын” США, сбежал, прихватив казну. Эта революция — удивительное и таящее в себе множество уроков явление второй половины века. Совершенная вопреки теориям и расчетам, она вызвала безудержный восторг ентушенок всего мира, а сейчас, по взмаху дирижерской палочки хозяина — стала объектом их самой патологической злобы и клеветы.

То предательство, которое совершила мировая культурная элита в конце 80-х годов в отношении Кубы, — вежа общей смуты. Важная часть этой измены вызревала среди нас, на наших глазах и даже в нас самих. За последние десять лет телевидение Москвы не сказало о Кубе ни одного теплого слова — лишь злорадство и ненависть. Это — чистый, прокаленный случай ненависти, не оправданной никакими разумными обстоятельствами и интересами. Ведь никакой осязаемой вины Кубе приписать не могут. Все эти вопли про тоталитаризм Кастро — полная чушь. С пресловутыми правами человека дела на Кубе несравненно лучше, чем во всех латиноамериканских “демократиях” и даже чем в самих США.

Это — ненависть к народу, который сохраняет достоинство и держится в условиях, когда это кажется абсолютно невозможным. Ненависть к народу, который, находясь на грани самого настоящего голода, сохраняет младенческую смертность на уровне 7 на тысячу — когда в богатейшей демократической Бразилии она составляет 37 на тысячу (в РФ 17). Ненависть неконструктивная и низкая. Если бы мы поняли истоки этого переворота в душе нашей либеральной интеллигенции, мы бы прояснили многое и в нашей судьбе.

Ну ладно “демократы”. Для них Куба враг, потому что была другом СССР. А он сейчас им так ненавистен, что втайне они жалеют, что США не разбомбили проклятую империю, не сожгли напалмом деревни их отцов и матерей. Но ведь таких принципиальных немного. А остальные, молодежь, просто не знают, чем была Куба для СССР сорок лет назад. Она была для нас драгоценным подарком судьбы. И это было всем настолько ясно, что об этом даже не говорили. Ведь мы получили дружественную страну в западном полушарии, и дружба эта не требовала охраны советским штыком, как в Венгрии или Польше.

Тогда это было ясно, но на волне “антисоветской революции” даже наша патриотическая оппозиция (и даже кое-кто из “красных”) нет-нет, да и помянет недобрым словом якобы расточительную помощь советского государства Кубе. За все последние годы ни один авторитетный военный из патриотов не сказал вслух, что значило для нашей страны в 1960 г. вырваться из кольца военных баз США и получить “непотопляемый авианосец” в 90 милях от Майами. Не сказал, что значила для нас помощь кубинцев в вооруженной защите Анголы, Мозамбика, Эфиопии — наших важных потенциальных союзников в Африке. Да, Горбачев все это сдал Западу, но ведь в 60-70-е годы Горбачева еще у власти не было и мы не собирались капитулировать и начать искусственное “вымирание” нашего народа.

Ни один подводник или рыбак не сказал, что значило для СССР получить радушную базу для его флота в центре Америки. “Голоса” надрывались: на помощь Кубе мы тратили миллион долларов в день (по 10 центов на каждого кубинца). Но ведь в то же время мы получали за наши товары, с которыми нас не пускали на мировой рынок, до трех миллионов тонн сахара в год по 30 коп. за килограмм — это сколько будет доходу, если в СССР его продавали по 90 коп.? А тогда мы не только доход могли в уме держать.

Я уж не говорю, что Куба для нас была окном в Запад. У нас появились друзья, владеющие самой передовой западной технологией и самой передовой организацией ряда производств, медицины, связи, ресторанов и отелей. Ведь часть Кубы была по своему уровню частью США, причем не просто частью США, а частью, устроенной для американской элиты. Ряд госпиталей Кубы был оборудован и организован для лечения самых богатых американцев, и нам, кто туда попал и смог там поработать, просто открылся новый технологический мир, мы

такого и не представляли себе.

Наши инженеры и технологи сразу, уже в 1959 г. получили доступ на новенький, с иглолки, нефтеперерабатывающий завод, построенный США по последнему слову техники. Мы, по тупости бюрократов, весь этот потенциал информации не использовали, но множество наших инженеров все это пощупали руками. А разве честь не обязывала наших медиков втиснуться на телевидение и крикнуть зрителям, что блокадная Куба каждый год принимала и принимает сегодня на лечение тысячи и тысячи чернобыльских детей? Что она делает этим детям операции, которые “на рынке” стоят тысячи и тысячи долларов!

Но я не буду здесь вдаваться ни в политику, ни в экономику. Просто дам кусочек мозаики моих сугубо личных впечатлений — из тех, что какую-то малость объясняли нам и в нашем советском строе и в наших процессах.

На Кубе я провел счастливые годы. Работал, глядел вокруг, спрашивал, думал. Вырос я в АН СССР, в среде “шестидесятников”. Набрался от них спеси, с которой они подходили к проблемам общества — демократия, оптимизация, эффективность. Куча дешевых, кухонных рецептов. Куба из меня вытряхнула этот мусор, выбила меня, как пыльный ковер. До сих пор мне бывает до боли стыдно, как вспомню, с каким апломбом давал поначалу советы кубинцам — то у них не так, и то не эдак. И как много слоев “простой” проблемы приходилось преодолеть, пока начинал понимать ее суть. У нас дома, при уже устоявшейся системе, рядовой человек в такое положение не попадал. Он был встроен в организованную машину и выполнял свой кусочек работы.

За эту науку я благодарен огромному множеству кубинцев — на моих глазах разыгрывались драмы любви и раскола, побед и ошибок, искуплений и прощений, как в любой революции. Но не было в ней ненависти. За это кубинцы благодарны СССР. Поддержав Кубу в самый трудный момент, мы позволили их революции не ожесточиться — и это там прекрасно понимали. Мы в 30-е годы такой руки помощи не имели, и радостно было видеть, как прекрасна суть революции нашего типа, если людям не приходится озлобляться.

И вся эта стихия претворялась в творческое движение делом немногочисленного, выбитого Батистой поколения. Не подберу для него иного слова кроме как *светлое* поколение. Они пошли на безнадежную борьбу и безропотно гибли, пока своей кровью просто не смыли мафию Батисты с Кубы. По душевному складу они сродни нашим народникам — как мы их знаем по литературе. Но одно огромное отличие: любовь наших народников к человеку была слегка абстрактной, концептуальной. А на Кубе эти молодые революционеры были исполнены не просто живой, теплой любви, но почти животной нежности к своему народу. Именно ко всем его частичкам — к ребенку в трущобе, к старику в приюте, к девочке-проститутке, которую стали учить музыке. Мне приходилось с этими людьми работать, ходить по лачугам и видеть, как они брали на руки детей и какова была ответная любовь родителей этих детей.

Быть может, сегодня это выходит боком. Любовь — палка о двух концах, и на Кубе прошло поколение избалованной молодежи. Помню, в январе 1972 г. я зашел с дочкой на пляж в Гаване. Никого почти нет — зима. Сидит группа подростков-негров, из “низов общества”, крутят магнитофон и на чем свет стоит ругают Кастро — магнитофон у них ленточный, а у какого-то приятеля, уехавшего в США, кассетный. Подсел ко мне старик, убиравший пляж, тоже негр. Расстроен ужасно. “За них ведь боролись, — говорит. — Раньше они вообще на этот пляж войти не могли. А теперь сыты, учатся, работой будут обеспечены — так магнитофон плохой. Вот свиньи”. А я ему и говорю: “Наоборот, по ним-то и видно, что вы не зря старались. Раньше им и в голову бы не пришло, что общество и правительство им обязаны дать хороший магнитофон. Общество было для них врагом, и они не ждали от него ничего хорошего. Думали, как бы что у него урвать или ему отомстить. А теперь это люди, которые не воруют и не просят, а требуют. Запросы их искривлены, но это дело времени”. К сожалению, головы были искривлены не только у подростков и не только в Гаване, а еще больше в Москве. Но факт, что эти ребята уже вырастали как *граждане* Кубы — а до революции само понятие «гражданин» на Кубе не имело смысла.

Да, любовь и идеализация человека — часто источник поражения, но в тот момент соединение жертвенности с любовью просто создало новую Кубу — новое общество. Что бы там мне ни говорили о производственных отношениях. Благодарность и ответная любовь

народа компенсировали неопытность и ошибки, неизбежные лишения и нехватку. Куба в 60-е годы просто дышала счастьем. Оно сияло на каждом шагу. Я жил в Сантьяго де Куба и иногда ходил на факультет пешком, срезая путь — через фавелу, скопище лачуг. Там уже была начальная школа, в тени огромного дерева поставлена доска, стульчики. Приходила девушка-учительница, весь класс ее окружал и каждый ребенок крепко обнимал и целовал. Только потом она начинала урок.

Чтобы верно взвесить это, надо знать, из чего вырвалась Куба. Это было патологическое общество. Красавица Гавана и Варадеро, виллы на лучшем в мире пляже — роскошное место отдыха и разврата миллионеров и гангстеров с Севера. Небольшой современный сектор: блестящая организация, давние традиции профсоюза, открытость науке и культуре, аристократизм интеллигенции. Малые города с застойным сословным бытом — и море трущоб с отверженными. Именно море. И все это — разные миры, враждебные друг другу. Почти всю землю прибрали к рукам янки и засадили сахарным тростником. Монокультура — полная зависимость от одного рынка и от импорта всего и вся. На рубке тростника сезонникам платили за дневную норму батонем хлеба и разрешением есть тростник. А когда завозили более покладистых и выносливых негров с Гаити, то и этой работы не было. И над всем этим — коррупция и доходящий до абсурда террор.

Я приехал на Кубу в 1966 г. уже в новое общество. Бросился в глаза шрам старого — это не отразишь в статистике. На Кубе много очень красивых девушек, глаз не отвести. Идет такая, с лицом богини — а ноги, как трости, искривлены туберкулезом, рахитом и другими следами детского недоедания. В Орьенте, бедной провинции, это было почти всеобщее явление. Как увидишь, сердце сжимается. Второй раз я приехал туда же в 1972 г. Подросло поколение девочек, вскормленных уже после революции. Это было как чудо — у всех спортивные, гармоничные фигуры. Следы болезней начисто исчезли. Стоило только дать, на голом волонтаризме, каждому ребенку по литру молока в день. Когда я там был во второй срок, уже с маленькой дочкой, и меня коснулось: каждый день по улице медленно проходил грузовик с молоком, и человек бегом разносил к каждой двери литровые бутылки — на каждого ребенка до 12 лет и на старика после 60 лет. Хоть к лачуге, хоть к обшарпанному коттеджу бывшего миллионера. Надо было только выставить с утра пустую бутылку и в ней монету в 20 сентаво.

Выправлять то изломанное общество “заднего двора” США — это был подвиг труда и терпения. Все было творчеством, все — против “теории” и роя иностранных экспертов. Стали строить хорошие дома, с мебелью — и переселять туда из трущоб. Около Гаваны вырос целый белоснежный город. Жильцы переломали всю мебель, разбили ванны и унитазы, сорвали двери — снова организовали трущобу, уже в многоэтажных зданиях. Такова была их культура. Им терпеливо ремонтировали квартиры, объясняли, показывали фильмы. А со всех сторон — шипенье “конструктивной критики”.

Я и сам поначалу сыпал формулами Маркса и Либермана, но протрезвел, примерив на себя реальность. Вот маленький эпизод. Приходит ко мне в лабораторию группа ребят 4-го класса и две учительницы. Говорят: хотим, чтобы вы вели у нас кружок. Ладно, отвечаю. Давайте сделаем кукольный театр и будем с ним ездить по городкам и деревням (я раньше увлекался изготовлением кукол). Посоветались они, выходит карапуз в очках и говорит: нет, будущее Кубы — наука, мы хотим научный кружок. Вот доктринер! Ну ладно, давайте научный. Стал я им объяснять суть процессов производства сахара — от размола тростника до получения кристаллов. Каждый этап раскрывался через эксперимент с научными методами. Понимали с полуслова сложные вещи — то, что студентам 4-го курса трудно было втолковать. Получилась вся цепочка завода, только в колбочках, центрифуге, хроматограммах — наглядно и увлекательно. Заодно я им рассказывал разные вещи, девочки посередине лаборатории исполняли танцы, а мальчики за шкафом по очереди стригли друг друга моими ножницами (вот мистика вещей: как только США объявили блокаду, во всех домах пропали ножницы — как сквозь землю провалились).

Послали нас на слет школьных кружков. Из всех мест поехали к городку Байамо старые автобусы с детьми. Все наутюженные, причесанные. Кто везет поросят, кто растения, кто конструкции. Все это разместились на огромном лугу. Когда я увидел, меня охватил ужас. Столпотворение! Прогомонили до вечера, стали развозить на ночлег — по лагерям,

построенным для старших школьников, которые по месяцу работают в поле. Привезли нас, мальчиков — в один барак, девочек — в другой. Все учителя женщины, оказался я один взрослый на две сотни мальчишек. Все улеглись на койки в два этажа, начальник лагеря выключил свет и ушел. И тут началось! Как будто накопленный за века темперамент вдруг вырвался подобно джинну из бутылки. Чинные минуту назад мальчишки прыгали, кричали, ломали. Я раньше даже не слышал ни о чем подобном. Попытался я что-то сказать — на мой голос полетел град ботинок, книг, каких-то досок.

Прибежал начальник лагеря с фонариком. Все моментально зажмурили глаза — не шелохнутся. Мне неудобно притворяться, я моргаю в свете фонарика. Он напустился на меня: “Как твоя фамилия? Из какой школы?” Я назвал школу, стараясь говорить без акцента. Начальник насторожился. Какой-то голосок из темноты объяснил: “Это профе, из университета”. Начальник ушел, безумство возобновилось. Зашел старик-шофер, спавший в автобусе, стал увещевать сквернословов: “Как же вы будете завтра приветствовать учителей грязным ртом?” Ходит по бараку, рассуждает. Притихли, заснули. Он знал, что им сказать.

* * *

На Кубе мне понравилось рубить тростник. В детстве все мы любили палкой рубить лопухи — а теперь эта любимая игра превратилась для меня в почетное занятие. Да не палкой, а остро отточенным мачете, почти настоящим мечом. Да не какие-то лопухи, а ствол толщиной почти в руку, длиной в три метра. Такой азарт, такие точные движения. Как в каком-то танце. У нас на полях таких азартных работ нет, а там я повидал двух-трех человек, которые шли по полю, как ураган. С криками, с песней, без рубахи. Тростник от них летел, как из какой-то бешеной машины. Есть такие уникальные личности — норм десять давали, хотелось смотреть и смотреть. Но это, конечно, были не преподаватели университета. На фоне кубинских интеллигентов я выглядел неплохо, как раз норму выдавал — 90 арроб (около тонны). За такую норму до революции давали батон хлеба и разрешали есть тростник⁵.

Как раз при мне впервые из кубинских университетов стали посылать сотрудников на рубку тростника — на полтора месяца зимой. Посылали небольшую часть, так чтобы не прерывать занятия — а студенты ездили по воскресеньям. Я напросился и был доволен — много повидал и удовольствие от работы получил. Хотя экипирован был неважно. Меня удивляло, что кубинцы носили рубахи из грубой жесткой ткани — в такую жару. Оказалось, что сухие листья тростника режут тонкую ткань, как пилой — и вскоре мои московские рубашки превратились в лохмотья. Рука, держащая мачете (точнее, его утяжеленную разновидность), тоже поначалу страдала. Вечером первого дня я насчитал на ладони 23 отдельных волдыря.

Поначалу донимало солнце. В полдень надо было идти за три километра в лагерь обедать, но сама эта мысль мне и кое-кому из преподавателей показалась абсурдной — не дойдем. Да и есть казалось невозможным. Решили остаться отдохнуть на поле. А солнце в зените, тени нет ни от чего. Попытались шнурками связать над головой стебли тростника вроде шалаша. Бесполезно. Промаялись три часа в полубредовом состоянии. Еще пару дней пробовали так “отдыхать”, а потом как миленькие стали бегать на обед — и крутой рис на воде оказался вкусным.

Работали бригадами по четыре человека. Со мной работал один профессор, видный на Кубе ученый, спектроскопист. Он был профессором Калифорнийского университета (Беркли), но из патриотических соображений вернулся после революции на Кубу. Вообще, был большой романтик. Другой был молоденький переводчик. Он работал с нашими военными и преподавателями. К нам в бригаду он втерся, чтобы со мной практиковаться в русском языке. Третий был контрреволюционером, который за подпольную деятельность просидел четыре года в тюрьме. Он только что вышел — а тут его невеста, преподавательница с неорганической химии, уезжает на рубку тростника. Ну, он и попросился тоже, чтобы побыть рядом с ней.

В тюрьме он, естественно, четыре года рубил тростник, и был из нас единственным, кто на практике знал главные приемы. У него мы и учились. Сначала тыльной стороной мачете

двумя движениями сбиваешь со ствола сухие листья, потом хватаешь ствол левой рукой в сыромятной перчатке, отрубаешь верхнюю часть стебля, срезаешь у него сочную зеленую верхушку. Потом наклоняешься и точным ударом срубаешь тростник точно вровень с землей. Иначе пенек загнивает и на будущий год тростник выходит хилый. Разрубаешь ствол на два или три куса. Сзади идут женщины и укладывают куски в ровные кучи — чтобы схватил своей лапой погрузчик. Потом мальчики 8-10 лет приводят телеги с шестерками волов, туда грузят тростник и везут к ветке железной дороги. В перерывах волы жуют отрубленные сочные верхушки, которыми усеяно поле, и бензина не требуют.

Между нами в бригаде, конечно, постоянно возникали дискуссии по всем вопросам бытия, и меня спрашивали, как то-то и то-то устроено в СССР, какие точки зрения у нас сталкивались по тем-то и тем-то вопросам. Кубинцы хотели по нашему опыту как-то представить свое будущее. Профессор-романтик верил многим нашим условностям — речам, фильмам. Например, посмотрел он фильм по спектаклю МХАТа “Кремлевские куранты” — об отношении революции и интеллигенции. Рассказывает с восторгом, ссылается, как на аргумент. Я больше говорил о реальной практике и привлекал аргументы Ленина для ее объяснения (без ссылки на источник). Как ни странно, эти аргументы, которые нам в СССР казались надоевшей банальностью, моими собеседниками воспринимались как откровение и поражали их своей оригинальностью. Вот какова роль воспитания — иная точка зрения просто не приходит в голову. Кстати сказать, точки зрения, которые давались образованным людям в системе буржуазного воспитания, были нам, к моему удивлению, хорошо знакомы. Мы в наших кухонных дебатах в Москве 60-х годов ушли далеко вперед по сравнению с профессурой Калифорнийского университета. Хотя занудства в Беркли, похоже, было побольше — у нас в Москве дебаты были поживее, мысли посвежее, хотя и не намного.

Из этой троицы полное совпадение взглядов с моими наблюдалось у контрреволюционера. Он признавал мои доводы здравыми, и у него самого они были продуманы, он к ним сам пришел путем перебора многих вариантов в “школе тюрьмы”. Человек он был очень молчаливый, на кубинца мало похож — высокий, белокурый (я его сначала принял за европейца). Он, как я понимаю, стал убежденным и упорным сторонником кубинского социализма (примем такое условное название). Хотя от политики держался подальше. Я потом попал в Сантьяго де Куба в 1979 г. и был у него дома. Он окончил университет, стал инженером, старшая дочь его уже училась в музыкальной школе при консерватории, имела способности. Сам он мало изменился, и мы с ним поговорили с таким же взаимным пониманием, как раньше.

Другие мои товарищи по бригаде на тростнике были левыми идеалистами. Горазды критиковать — и Кастро за ошибки в политэкономии, и СССР — за недостаточную революционность. Переводчик был, можно сказать, кубинским диссидентом, но таким, который за светлый образ для сравнения взял СССР. Если бы я ему сказал, что у нас диссиденты лелеют образ США, он бы страшно удивился — а так, по структуре мышления был типичный диссидент, все ему не нравилось. Правда, у него идеализм диссидента сочетался с ярко выраженным прагматизмом. Он даже ухитрился эмигрировать в Испанию, а это для кубинцев была большая удача. Гринго, в общем, все на Кубе недолюбливали и убегали в США только потому, что там сразу получали очень большие материальные льготы. А Испания — Мать-отечество (есть в Латинской Америке такая странная формула).

Я, поскольку привез на Кубу приборы, подружился с механиками и электриками в мастерских — надо было переналаживать наши приборы на другую частоту. У них была нехватка элементов — транзисторов, сопротивлений и т.д. Я пошел в порт, на советский корабль, зашел к радисту. Знал, что они свои станции не ремонтируют, а заменяют весь блок с дефектом. Спрашиваю: не дадите ли дефектные блоки? Бери! Я нагрузил целый мешок, взвалил на спину и принес в университет. Ребята были счастливы — на много лет запас. Работали они прекрасно, все сколько-то лет пробыли в США на заработках. И много мне интересного рассказывали о тамошних мелочах быта и человеческих отношений. Многие вещи им казались такими дикими и ужасными, что они переходили на шепот, как будто я иначе мог испугаться.

* * *

Посылая преподавателей университета на рубку тростника, кубинцы, видимо, учитывали опыт и советских субботников, и целины. Я увидел тогда на Кубе этот наш опыт, как бы перенесясь в машине времени в прежние времена — и мог сравнить с тем, чем он стал у нас в СССР в конце 60-х годов. Это было поучительно. Я увидел на Кубе то, что мы в нашем времени уже разглядеть не могли, да это уже и ушло.

Конечно, неизнуряющий физический труд, тем более в поле, всегда и везде полезен. Но он сопрягается с разными социальными условиями и воспринимается по-разному. У нас в середине 60-х годов интеллигентная публика стала относиться к практике посылать ее на недельку-другую в колхоз очень отрицательно.

Здесь, на Кубе, в связи с этой практикой открылась вещь, для меня совершенно неожиданная. Подавляющее большинство не только интеллигентных, а и вообще городских кубинцев не имело никакого представления о труде в той отрасли, которой жила страна. Вся Куба полвека жила на прибавочный продукт, что производили те, кто возделывал и рубил тростник. А что это за работа, горожане не знали. Когда они приехали в поле, взяли в руки мачете, познакомились с бытом крестьян, — это у многих вызвало потрясение. Так вот как жил и трудился их любимый кубинский народ! Батон хлеба за то, чтобы нарубить 90 арроб! Земляной пол в лачуге! Мальчик в восемь лет целый день водит упряжку волов! А цену на сахар американцы иногда сбивают до полутора центов за фунт! Но мы же ничего этого не знали! То есть, в газетах читали, а знать не знали.

Произошла странная вещь. Довольно многие преподаватели готовились уехать — кто в Европу, кто в США. Между собой мы об этом знали, хотя при официальной подаче заявления на выезд человек должен был уйти из учреждений системы просвещения. Не знаю почему, но многие из тех, кто собирался эмигрировать, поехали тогда рубить тростник, хотя особого принуждения не было. Может, решили напоследок повидать сельскую Кубу. Был, например, старенький профессор математики. Встанет на поле среди тростника — и смотрит вокруг. Борода развевается, в руке мачете, на поясе кружка. Ему крестьяне кричат, со своим простонародным произношением: “Сеньоль! Будьте добры, присядьте отдохнуть!”. Он чуть не плачет. А должен был в марте уже уехать, сразу после конца этой работы. Потом смотрю — он все еще в Сантьяго, едет тихонько в университет на своем огромном допотопном “форде”. Оказывается, решил не ехать. И еще такие же. Порубили тростник — и что-то в них сломалось. Или восстановилось.

На наших людей, в 60-70-е годы, физический труд такого эффекта, конечно, не производил. Даже наоборот. Говорили разное: что эта работа неэффективна (я, кандидат наук, тра-та-та...), что эта повинность — отрывка тоталитаризма, что эта бесплатная рабская сила развращает крестьян и т.д. Доля правды во всем этом была. Но я все равно не понимал, почему работа в поле вызывала у многих такое отвращение — ее неприятие было страстным, иррациональным. Ну, пусть неэффективно (хотя — почему? ведь посылали помочь в моменты пиковых нагрузок, это именно эффективно). Пусть даже отрывка тоталитаризма. Но раз уж ты поехал — поработай, ведь это приятно и полезно.

Очень плохо, что власти СССР были нечувствительны к тому важному факту, что у студентов и интеллигенции эта колхозная повинность вызывала отвращение. Нельзя было продолжать, не выявив причины этого отвращения и не сняв их. Но — властей этих уже нет, подумаем о людях. Мне кажется, что многие из новых поколений молодежи не желали идти в поле потому, что боялись взглянуть правде в лицо — их тело не желало работать, делать усилия, радоваться усталости. Оно от этой усталости страдало. И это был признак какого-то угасания. Люди не хотели видеть, как что-то отмирает в их молодом теле. Как угасает воля к жизни, какой-то важный инстинкт.

Может, странно покажется, но в этом было угасание и советского строя. Эти люди хотели, чтобы этот строй сгинул, чтобы не ездить им в колхозы, не трогать рукой землю и сено, не служить в армии. Эти люди хотели такого строя, чтобы он оставил их в покое, дал расслабиться у дешевого телевизора с бутылкой дешевого плохого пива в руке. Чтобы он дал им умереть. После 1991 г. люди стали быстро умирать. Это, конечно, результат реформ — бедность,

безысходность и т.д. Но я думаю, есть и еще одна невысказанная вещь — этот строй *разрешил* умирать. А советский строй этого не разрешал.

Но тогда, конечно, никто ничего такого не думал.

* * *

В деревнях на востоке Кубы делают особый напиток типа кваса — *пру*. Размалывают какой-то корень, заквашивают дрожжами с сахаром, и готово. Вкус и аромат неповторимые, у меня вызывали они какое-то щемящее чувство, чуть ли не галлюцинации. Будто я снова попал в детство. Странный эффект. Еще так же действовал на меня один дешевый, но редкий даже на Кубе фрукт — *мамей* или *сапоте*. Он плохо хранится, поэтому его почти нет в продаже. У него красная мякоть, которую разбивают в миксере с молоком. Когда мне удавалось глотнуть такого напитка, меня охватывал воздух детства, с его светом и запахами. Так живо и сильно, что страшно становилось. Как будто я вот-вот вспомню что-то главное, что я забыл. Удивляло, что никогда в детстве я ни вкуса, ни запаха этих плодов не знал и ничего похожего не встречал в нашей жизни. Такое вот действие на психику. Тропики...

Но тогда, на тростнике, речь шла не об этих тонкостях. Пру давало нам простое и грубое наслаждение. Деревенский *прусеро* поставил свое коммерческое предприятие на перекрестке дорог, по которым мы расходились на поля в темноте, в 5 утра, трясаясь от холода, и возвращались на обед в полдень, содрогаясь от вертикальных лучей солнца. Вот в этот момент никто не мог одолеть соблазна. Отдавали монету и получали почти литровый стакан пру со льдом. Второй стакан — когда снова шли на поле в три часа дня. Тут уже пили не торопясь, со вкусом. Узнав, что я из СССР, прусеро не раз заводил со мной разговор — возможно ли такое, что у нас реки покрыты льдом? Подходи с ведром и коли, сколько хочешь. Прямо так — ни платить, ни спрашивать не надо. Слушал он недоверчиво. Сам он по утрам ходил с тележкой к железной дороге, и там поезд на момент притормаживал, и из вагона-рефрижератора ему кидали блок льда в 50 кг. За что он ежемесячно вносил сумму, которую мог бы сэкономить, если бы их деревенская речка была, как и в СССР, покрыта льдом.

Так мы наслаждались этим пру. Но как-то в полдень, когда мы глотали холодный пру молча, запекшимися губами, подъехал верхом на худой кляче, подстелив под себя мешок, беззубый негр-старик. Он был из тех гаитянцев, которые контрабандой приплывали рубить тростник за бесценок, а после революции остались на Кубе. Говорил он на своем гаитянско-афрокубинском наречии, очень скупое и красноречивое. Хоть и не было у него ни одного зуба, речь его была понятна. Уборка тростника затягивается, рук не хватает, и местный комитет защиты революции велит прусеро на время свернуть свою торговлю и влиться в ряды мачетеро. Мужик он здоровый и умелый, рубить будет за троих. Прусеро чуть не зарыдал — бросить торговлю как раз на пике благоприятной конъюнктуры, при монопольном положении на рынке! “Я же выполняю социальную функцию!” — закричал он, вперемешку с мягкими кубинскими ругательствами, и протянул руки к толпе университетских преподавателей за поддержкой. Но поддержки не получил, все пили свой последний стакан молча. Старик дернул за веревки, служившие ему поводьями, разбудил свою заснувшую кобылу, и уехал.

Больше мне пру попить в жизни не довелось. Уже назавтра прусеро рубил тростник недалеко от меня, действительно за троих. Видимо, это было ему не трудно, потому что у него оставалось время, чтобы постоянно рассказывать анекдоты, которым он сам радовался и смеялся больше всех.

* * *

В Университет Орьенте прислали несколько студентов из СССР. К нам, в Химическую школу, попал один, делать дипломную работу, с химфака Ленинградского университета. Звали его Яша. Я, как химик, помог ему устроиться, со всеми познакомил. Руководителем у него стал тот профессор из Калифорнийского университета. Яша был парень с исключительным

талантом. Он хорошо знал английский и французский — и за два месяца стал прекрасно говорить по-испански. Не просто говорить, а с блеском. Когда мы уже пробыли половину срока на тростнике, вдруг приезжает и Яша. То ли ему наше начальство посоветовало, то ли из любопытства. Стал он у нас пятым в бригаде. Наш профессор-бригадир относился к нему с отеческой нежностью. Его просто переполняло счастье, что у него — дипломник из Ленинградского университета.

Как я уже говорил, на поле мужчины рубят тростник, а женщины его собирают и укладывают в кучки. Яша попробовал рубить, но недолго — до первой мозоли. Значит, полчаса. Бригадир ему говорит: Яша, собирай и укладывай тростник. И стал Яша делать женскую работу. Но не как женщины. Он снял рубашку, чтобы загорать, и сел в своей соломенной шляпе. Куда дотянется рука — оттуда берет срубленные стебли. Потом перебирается в другое место и снова садится. Мне из соседней бригады кричат, с тонкой издевкой: “Эй, *товарищ* ! Не хочешь тоже тростник носить, вместе с Чинитой?”. Чинита — лаборантка с кафедры неорганической химии, симпатичная, с примесью китайской крови (потому и прозвали Чинита). Я отвечаю: “Вместе с Чинитой — с удовольствием. Пусть она собирает, а я ее с тростником буду носить”.

Любопытно было смотреть на профессора. Он был тучный, рубить ему было тяжело — а тут его молодой советский компаньеро, приехавший чуть ли не с крейсера “Аврора”, сидит и загорает. Видно было, что чувства в нем клокочут — но ни разу не сорвался. Выкрикивал какие-то тончайшие намеки, которые Яша не обязан был понимать. Яша любил поговорить и попрактиковаться в языке. Идя с поля, он заводил философские беседы с попутчиками, которые к этому времени уже еле ворочали языком. Я как-то раз шел сзади и вдруг поймал себя на мысли, что моя рука готовится точным ударом перерубить ему сухожилие на пятке. Рука уже привыкла рубить, и очень точно, без всякой помощи головного мозга — и вот как она захотела использовать этот навык. Страшное дело. Я вспомнил, как на целине Наташа Кузнецова всадила вилы в задницу одного сачка. Тоже, наверное, сама удивилась своему поступку.

Когда мы притаскивались вечером в барак, все сначала валились на койки и минут двадцать просто неподвижно лежали, ни о чем другом и думать не хотелось. А Яша смазывал лицо каким-то ароматным кремом, надевал чистую рубашку и отправлялся на экскурсию — осматривать местность и быт кубинских гуахирос. Вслед ему из разных углов барака вполголоса кричали одно обидное слово. Это — за крем, которым не положено было мазаться мужчине, и вообще.

Весной кубинцы объявили Яшу персоной нон грата. Это был первый случай в отношении советского человека, поэтому поднялся шум. Профессор пришел ко мне расстроенный. Я, говорит, в знак протеста решил подать в отставку со всех своих постов в университете. Я говорю: “Бросьте даже и думать, что за глупости. Что вы вообще знаете о Яше и о причинах его высылки?”. Меня тогда сильно удивило это странное стремление — протестовать, хотя и самому неясно, против чего протестуешь.

Пришел ко мне секретарь нашей комсомольской организации: “Напиши Яше хорошую характеристику, мы будем его перед кубинцами защищать. Консул велел”. А консул был одновременно и куратором от КГБ. Я говорю: “Кто я такой, чтобы характеристики писать? А если бы и был обязан, то хорошую бы не написал. Зачем же перед кубинцами в глупое положение становиться? Пусть потихоньку уезжает, ведь ясно, что что-то накопили”. Так и получилось. Пошло наше начальство с демаршем и, как мне рассказывал потом переводчик, им ректор таких вещей наговорил и таких документов представил, что положение их было весьма глупым.

Как ни странно, и позже жизнь меня сводила с Яшей. Он был аспирантом в моем институте в Москве, в начале 70-х эмигрировал, стал видным деятелем, привозил к нам в институт виднейшего раввина с мировой репутацией Адина Штайнзальца... Мы с Яшей встречались не раз, и он очень тепло ко мне относился. Видно, вспоминал юность. Похоже, он сильно окреп и возмужал с той поры.

На Кубу я попал почти дуриком — пришла в голову такая блажь. Как-то в 1959 г. ехал в электричке, и попала на глаза старая газета. В ней статья о партизанах Кастро и фотография: девушка в шляпе, верхом на лошади и с винтовкой за плечами. Лица было не разглядеть, но захотелось поехать на Кубу. Не знаю, где газетчики такой снимок откопали, наверное, из американского фильма и вовсе не про Кубу. Стал учить язык, кстати, попал на месяц в больницу с гепатитом — самые идеальные условия для этого. Приятель достал мне учебник испанского языка, изданный в 1937 г. для наших военных, едущих в Испанию.

Этот учебник мне и помог. С химфака послали одного знакомого на работу в Университет Оренте, он кинулся искать учебник. Нашел у меня, я ему отдал, а он за это там обо мне замолвил слово. Бац — приходит в мой институт заявка на меня с Кубы. Шеф рассвирепел — что за махинации, кто вас так учил жить! В общем, не пускает. Я заплакал, честно признаюсь. Он перепугался: что с вами, что с вами? Говорю: хочу на Кубу. Не знаю, что он обо мне подумал, но смягчился. Сделаете, говорит, диссертацию — и езжайте.

Приятель, который с моим учебником уехал, заслужил на Кубе большую славу. Он там купил себе мотоцикл и обшарил на острове все закоулки, где могли быть научные приборы для университета. Пробился к Че Геваре и с ним ездил отбирать красивые, но ненужные приборы у директоров и министров. Собрал хорошую лабораторию. Я кое в чем ему из Москвы помогал, так что заявка на меня снова пришла. Ну и, конечно, удача. В Министерстве высшего образования отправкой на Кубу занимался мрачный мужчина. Он ко мне хорошо отнесся. Когда я пришел к нему снова, уже с кандидатским дипломом, он прямо сказал: обязательно вас отправлю. Правда, иногда повторял непонятную для меня фразу: “Контракта на вас нет. Контракта нет. Но я отправлю”. И отправил. Даже с явным нарушением инструкций. (Он, например, не дал мне обратного билета, а я и не подумал, как буду возвращаться. Никто в Гаване не хотел его оплачивать, и мне пришлось послать министру Елютину жалобную телеграмму: «Помогите вернуться на Родину». Подействовало моментально).

Кстати, уже из этого видно, что СССР никак не был *бюрократическим* государством, как считают многие. Он был радикально не-бюрократическим. Бюрократия по своей сути — именно бездушная машина, которая не смотрит на лица и действует согласно закону, инструкции. У нас же каждый начальник и тем более начальница — сгусток чувств. Понравился я этому человеку — и он отправил меня на Кубу, явно с нарушением множества инструкций. А в другой раз придешь куда-нибудь с верным и явно полезным делом, сидит за столом женщина, зыркнет на тебя глазом — и сразу видно, что надо уходить. Ни за что не даст ходу, какие аргументы ни придумывай. По глупости начнешь доказывать — и совсем дело загубишь. Тут бюрократией и не пахнет.

В общем, отбыл я на Кубу. С грузом реактивов, приборов и парой аквалангов мне пришлось плыть на пароходе. Чудесным утром мы вошли в бухту Сантьяго де Куба, из порта — в город, и давай спрашивать у девушек, где здесь университет. Оказалось, могу говорить по-испански. Во всяком случае, с девушками.

В университете ахнули, никто меня не ждал, про заявки все забыли, да и вообще не удалось установить, кто их посылал. К тому же, заявка это одно, а контракт — совсем другое. Но, раз уж я приехал, все были рады, все сразу стали друзьями, дали мне из кармана 50 песо, и мы с женой пошли бродить по вечернему Сантьяго де Куба, пить сок кокосового ореха со льдом, манго и т.д. Зашли в ресторан, ни в чем не разбираемся, все нам помогают, смеются. Радужие были общим, даже со стороны политических противников. Все знали, что советские приехали помогать, и были за это благодарны. Я это, кстати, видел и в Испании. Франкист, франкист, а за помощь Испании, ее детям, испытывает к СССР большую благодарность.

В Москве, в лаборатории, мы обсудили возможные темы исследований. Я до этого изучал структуру гликопротеинов — биополимеров, состоящих из белка и углеводов. Методами владел, сам кое-какие новшества придумал для работы без дорогих материалов. Решили, что интересно было бы изучить подобные полимеры из слизи морских моллюсков. Мои друзья занимались изучением веществ из моллюсков на Дальнем Востоке — а тут из Карибского моря. Область новая, обещала множество находок. Я и акваланги прихватил для этого. Собрались мы с кубинцами на совет, я им изложил перспективы и возможности, они приняли с энтузиазмом.

Я пошел в местный аналог ДОСААФ, попросил помощи. Они тоже обрадовались, у них был мощный катер, и мы стали обходить побережье и нырять — знакомиться с местными моллюсками. Главный подводник у них, Педро Соберат, был интересный человек. На одно ухо глухой — пытался найти упавший в море самолет Камило Сьенфуэгоса, нырнул на 90 м и потерял ухо. В Соберате выразился важный на Кубе тип человека, которых у нас как-то не видно. Мы больше действуем сообща, ватагой. А там много одиночек, которые берутся за невозможные дела. “Старик и море” у Хемингуэя — образ типичный. Таков, вообще говоря, был и Фидель Кастро, и те виртуозные рубщики тростника, каких я видел. Например, этот Соберат с ружьем охотился на рыб весом более сотни килограммов, они таскали его по морю по многу часов. Он нырнул так, что я никогда бы не поверил, если бы сам с ним не был — без акваланга на глубине 20 м сидел и копошился в коралловых рифах, как будто имел жабры. А я видел, как люди работают под водой, сам бывал водолазом в морских экспедициях, не раз работал на Японском море. Пишу это, потому что это распространенное в заметной части кубинцев ощущение огромных возможностей личности — важная черта их революции. Различия, думаю, всегда полезно подмечать.

Однако с моллюсками ничего у меня не вышло. Хотя кубинцы и горячо одобрили мой проект, они незаметно свернули меня на другой путь. Повезли на сахарные заводы, посмотреть процесс производства. Рассказывал один из мировых авторитетов в этом деле, человек умный и поэт своего дела. И обнаружилось множество проблем, которые можно было эффективно исследовать, а кое-какие даже решить, с помощью тех методов биохимии, которыми я владел. Причем это были бы оригинальные работы с большими перспективами — мировые исследования сахарного производства методически отстали от современной молекулярной биологии на целую эпоху, и никакого мостика нигде не возникало. А раз уж я тут...

В общем, я начал пробовать и быстро втянулся, какие там моллюски! Погрузился в мир тростника, патоки, кристаллов и множества непонятных явлений, которые происходят в этом мире. Попал и в новый мир людей, которые не были похожи ни на нашу академическую среду, ни на публику из наших отраслевых НИИ. Это были мастера, из которых многие обладали замечательной наблюдательностью и склонностью к обобщениям, самородки. С ними было хорошо работать, много их интеллектуальных приемов надо было перенять. Когда в фильмах видишь фигуру такого мастера-философа, это кажется надуманным, некой метафорой. Ни у нас, ни на Западе этого типа как-то не видно, здесь уже работают большие коллективы. А на Кубе эти люди были важной частью культуры.

Я стал много ездить по Кубе на совещания специалистов. Возникли трения — с советскими экспертами и частью молодых кубинцев. Наши сахарники из Киева категорически не желали знать новых методов, заведомо эффективных для решения их проблем. Это меня по молодости лет удивляло, а дело просто было в том, что они этих методов не знали и боялись за свое положение экспертов. При этом ставили себя в глупое положение. Им подпевала и часть кубинцев. Как-то на совещании одна такая молодая дура из Гаваны начала поучать: “Мы должны решать проблемы производства, а не увлекаться всякими изощренными методами” (я предлагал быстро решить одну проблему с использованием радиоактивных изотопов). Я говорю: “Это демагогия”. Видимо, я не знал, что “демагог” у них в то время было слишком ругательное слово, и поднялся целый скандал. Наш факультет в Сантьяго даже запросил стенограмму того совещания, изучил ее и признал, что я был прав, а та девица — действительно демагог. Это потом мне декан рассказал. Мы, говорит, не можем допустить, чтобы нашего представителя шельмовали — это меня. В целом же технические совещания были таковы, что на них можно было высказываться по существу.

Я за тот год много технических записок подготовил. Некоторые, как показал последующий опыт, были весьма разумными. Например, тогда в США были опубликованы результаты больших исследований влияния газового состава на скорость созревания фруктов и овощей. Я сходил в порт, поговорил с нашими моряками. Они говорят, что им ничего не стоит герметизировать трюмы и контролировать состав атмосферы. Зимой прекрасные кубинские помидоры вполне можно было бы гнать в СССР. Предлагал я создать передвижные лаборатории с современными приборами для анализа, чтобы объезжали сахарные заводы и надежно измеряли некоторые важные параметры производства, которые довольно сильно

влияли на процесс, но до этого не измерялись из-за трудностей анализа. Когда кончился мой срок и я собрался уезжать, приехал молодой парень из министерства и стал уговаривать меня остаться — налаживать такие лаборатории. Мы, говорит, дадим тебе маленький самолет — облетать заводы. Я эти самолетики видел, и очень было соблазнительно, но надо было возвращаться в свою лабораторию в Москве.

* * *

На Кубе тогда шло становление современной научной системы, наблюдать за этим было интересно. Дух научности, как бородавка, может сесть, на кого захочет. Есть страны, которые вкладывают уйму денег — и ничего не получается. И люди есть, и институты, но духа нет, все как-то вяло. В кубинцах такой дух был, и сейчас он силен. Уже в конце 60-х годов были видны “зародыши” блестящих работ. А главное, была цепкость. Как появляется толковый специалист, его прямо облепляют. Я приехал из очень сильной лаборатории, да к тому же знал язык. Множество людей приходило — посоветоваться, посмотреть, что-то освоить. В период между сафрами — мертвый сезон на сахарных заводах. А там лаборатории контроля, два-три химика-техника. Я говорю: присылайте их к нам, в университет. И нам помогут, и небольшие исследовательские проекты будут проводить, по обновлению методов анализа. Так и стали делать. Нам было большое подспорье, а у девушек-техников большой энтузиазм возник. Замечательно работали, и все сделали неплохие работы — приспособивали современные методы большой науки для целей анализа в сахарном производстве. Дело было верное, только работай. Все выступили на научном конгрессе. Кое-кто из них потом эмигрировал и, как писали, очень хорошо устроился в США благодаря этому опыту.

Среди молодых кубинцев я тогда выделил бы такие категории. Те, кто учился в элитарных западных университетах (Куба старалась посылать в разные места). Эти осваивались на Кубе с большим трудом. Им казалось, что работать продуктивно в таких бедных лабораториях нельзя. Даже в Национальном центре научных исследований, который по сравнению с нашей московской лабораторией был роскошным учреждением. Зайдешь к таким “западным” ученикам — сидят, ноги на стол, и магнитофон свой кассетный крутят. Мол, реактивов и приборов нужных нет. Выпускники советских вузов были в этом смысле покрепче, их бедность не пугала, умели наладить работу. Среди тех, кто учился на Кубе, тоже было заметное разделение.

Дети интеллигентов, казалось бы, должны были стать главной силой. Но в них я замечал какой-то комплекс неполноценности, думаю, унаследованный от отцов. Они как-то не верили, что на Кубе может быть сильная наука, робели. Но зато ребята из трудовых семей, часто вечерники, стали просто чудесными кадрами. Их не волновал статус и престиж в глазах “мировой науки”. Они видели проблему — и искали способ ее решить. С теми средствами, какие есть. И проявляли замечательную изобретательность и способность к обучению. Кстати, лучшим институтом Академии наук Кубы стал Институт генетики сахарного тростника, но среди его сотрудников не было тогда ни одного с высшим образованием. Только несколько советских генетиков-консультантов — и молодые кубинцы из техникума.

У кубинцев была исследовательская и изобретательская жилка. Например, они вместе с нашими специалистами сделали комбайн для рубки тростника. При этом решили проблему, которая никому не давалась. Куст тростника такой мощный, что вокруг корней образуется кочка. А ножи комбайна должны срезать тростник вровень с землей, но не зарываться — они должны следовать профилю почвы, и это было трудно. Во время международного конгресса сахарников устроили показательную работу этого комбайна. Собралось человек пятьдесят с киноаппаратами — из Австралии, Японии, Южной Африки — из стран, где выращивают тростник или производят машины. Комбайн прошелся по полю — блеск! Те, кто сам знал, какво рубить тростник мачете, были глубоко взволнованы. А иностранцы кинулись к машине, стали совать под нее свои киноаппараты и стрекотать ими — крутить и вертеть ими с нажатым спуском. Отснимут пленку, перезарядят — и снова. Старались устройство режущей системы заснять. Потом, уже в 1972 г. на Кубе наладили патентную службу, я был знаком с ее

организатором, он мне много интересного рассказал (он учился у Василия Леонтьева, и тот своим ученикам высказал важные суждения о советской экономике и плановой системе — то, что наши реформаторы никогда не напечатают).

Когда я в 1970-72 гг. работал уже в Гаване, один из моих учеников (на степень магистра) сделал прекрасную работу. Я горжусь, что в ней участвовал. Я предложил общий план, но у него родились такие сильные идеи, что исследование получилось выдающееся. Мы изучали процесс почернения сахара при хранении. Это была большая проблема: на складе огромные кучи сахара начинали разогреваться и чернеть. Цена резко снижалась, Куба платила штрафы, а иногда процесс приобретал характер взрыва — огромная куча в тысячи тонн превращалась в вулкан, из которого вырывалась раскаленная лава черного расплавленного сахара. С самыми недорогими средствами (впрочем, не без изотопов), этот парень четко описал химическую динамику процесса и влияние на него исходного состава сахара-сырца. И обнаружил несколько цепных самоускоряющихся реакций. Продолжая работу, он пришел к парадоксальному выводу, что традиционное стремление производителей получить как можно более светлый сахар, как раз и приводит к сохранению в нем бесцветных, но очень активных соединений, которые уже на складе разгоняют процесс разрушения. Напротив, добавляя в процессе варки некоторые вещества, можно загнать этот процесс в тупик, связав активные бесцветные предшественники в стабильные, но слегка окрашенные вещества. Он нашел способ элегантно управлять большой и сложной системой реакций, но вступил в конфликт с традиционными критериями.

Парень этот был из семьи рабочего (автослесаря), кончил вечерний вуз и не слишком грамотно писал по-испански. В жюри, которое обсуждало его диссертацию, был итальянский профессор, специалист по полимерам. Он стал рьяно возражать против присуждения степени. Во-первых, говорит, методы очень просты (для большого количества проб применялись стандартные анализы, которые как раз и делали техники с сахарного завода — для целей работы этого было достаточно). Во-вторых, много орфографических ошибок. Стандарты научности, стандарты научности, нельзя снижать уровень... Я расвирепел, как редко со мной бывало в жизни. Ах ты, думаю, гад. А еще левый экстремист! Сцепились мы, да в присутствии всего ученого совета (обсуждение шло в отдельном зале, куда совет “удалился на совещание”). Почти час спорили, доходя взаимных политических оскорблений. Всем видно, что работа выдающаяся — а он ни в какую (члены жюри имели право вето). При этом актовый зал был полный — это была первая серия защит. И все там притихли, недоумевают — что же там происходит, в совещательной комнате. Я его все-таки переспорил, да еще предупредил ученый совет — будете таким критериям следовать, загубите свою национальную науку.

Наблюдая эту работу, да и некоторых других и старых, и молодых кубинских исследователей, я подумал, что и у них распространен тот стиль научного мышления, который я про себя называл “русским”. Он, правда, и у западных ученых встречается, но как что-то редкое, особенное. А у русских часто, иначе бы ничего не вышло, просто средств бы не хватило на тот объем работы, который русская (и особенно советская) наука сделала. Суть этого стиля я бы выразил так: склонность делать широкие обобщения при большой нехватке эмпирического материала. Не всегда, конечно, это плодотворно, много бывает неудачных “фантазий” и “бредовых идей”, но ум тренируется — и удачные работы с лихвой окупают неудачи коллег.

Поработав на Кубе, я стал думать, что этот стиль возникает там, где ученый не слишком скован идеологическими догмами “научной метрополии”. То есть, он знает эти догмы, уважает их, но находится на периферии мирового научного сообщества и может не бояться его тяжелой руки. Русские были в таком положении и, похоже, кубинцы тоже. А срочные проблемы решать было надо, и кураж для этого был.

Кроме того, для работы в таком ключе нужно иметь “свободу” выходить, на этапе рождения идей, за рамки того рационализма, который, конечно, необходим ученому, но может и слишком его дисциплинировать. Про русский ум давно было сказано:

Он трезво судит о земле,

В мистической купаясь мгле.

В очень большой степени то же самое можно сказать и про кубинцев. Образы, которыми они мыслят, часто парадоксальны (может, сказывается влияние африканской культуры). Мне до Кубы казалось невозможным увидеть Кафку, воплощенного в массовой культуре, а там это

бросается в глаза — и в литературе, и в обыденном разговоре. Эта общая способность вывернуть проблему наизнанку и увидеть ее с неожиданной стороны, незащищенной от исследователя, счастливым образом была не задумана в новой научной молодежи, а развита.

У кубинцев, с которыми я общался, было сильно выражено такое свойство. Они были способны на вдохновение, когда мысль работает в каком-то ином измерении, тыходишь в транс. В лаборатории это хорошо видно — но и на поле, на празднике. И в то же время это — вспышки на фоне постоянной глубокой грусти, постоянного размышления о чем-то не вполне земном. Как будто тоска по Испании (и по Африке) навсегда отложилась в характере под действием этого тропического солнца, которое останавливает время.

Как-то в журнале «Курьер ЮНЕСКО» была большая фотография, получившая какой-то главный приз. Называлась она "Размышление" (*Meditaciyn*), и снято было на ней лицо кубинского крестьянина, присевшего на поле. Я удивился, как мог фотограф ухватить суть того явления, что я и словами-то никак не могу выразить. Вот на этом и поднялась кубинская наука, как только революция создала для этого социальные и экономические условия. Надеюсь, переживет она нынешние трудные времена, как и русская. Надеюсь, но не уверен.

Если бы наше сотрудничество с кубинскими учеными продолжилось подольше, у нас бы могли сложиться замечательные совместные бригады, просто блестящие. Но мы потянулись за Горбачевым — и теперь клячим у Сороса подачки на пропитание. И своими подачками он этот русский стиль научного мышления у нас как сапогом вышибает. Но патриоту Шафаревичу это не объяснишь — он все равно счастлив, что СССР уничтожен.

* * *

В 1967 г. на Кубе создавалась единая партия — по типу КПСС. В нее влились бывшие члены просоветской марксистской партии, которая строго следовала теории и активного участия в революции не принимала, члены бывших подпольных революционных движений. Но главное, в нее собирались уже новые люди, сложившиеся после революции. До появления партии связующей структурой политической системы на Кубе были органы прямой демократии — комитеты защиты революции. Мы о них плохо знаем, а мне кажется, что полезно было бы их опыт изучить и понять. Что-то подобное и у нас появится, когда нынешний хаос станет нестерпимым, а цельной обобщающей идеологии еще не созреет. КЗР были везде и объединяли самых разных людей, согласных лишь в одном — защитить страну, избежать гражданской войны и обеспечить действие простых принципов справедливости. Идеология размытая, но в таком положении достаточная. Правда, для существования такой системы нужна большая терпимость в людях и способность к рассуждениям и диалогу. Кубинцы — прирожденные ораторы и любят выслушать мнение другого, если он его хорошо излагает. Мы же слишком устремлены к истине и ложные суждения слушать не хотим.

Но, конечно, для выработки и выполнения больших программ развития на Кубе нужна была партия, это все понимали. Мы в СССР стали охаивать и разрушать единую партию потому, что страх войны прошел и развитие казалось обеспеченным (а точнее, многим оно стало казаться ненужным, поверили в какую-то волшебную палочку и скатерть-самобранку, которую мессия вроде Горбачева принесет). В общем, на Кубе стали проходить собрания, на которых обсуждались кандидатуры тех, кто подал заявления в партию. Поскольку партии не было, в партию принимали (точнее, наоборот — *отправляли*) на общих собраниях трудового коллектива.

Как-то я в университете пошел в мастерские, а там как раз такое собрание. Подал заявление молодой инженер, я его помнил по рубке тростника. Вел собрание какой-то хмурый "кадровый работник", видимо, из старых подпольщиков. Кандидат изложил свои установки, ему задали вопросы, что он делал «до падения тирана» и пр. Потом стали обсуждать. Встает старик, токарь. Я, говорит, отвергаю его кандидатуру, не место ему в партии. Потребовали от него доводов. Он говорит:

— Гонсалес — хороший работник и честный человек. Но в партию его брать нельзя, потому что он способен человека обидеть, а это для партии опасно.

— Как он вас обидел?

— Я деталь испортил, а он подходит и говорит: “Ты халтурщик, ты ценную деталь запорол”.

— Так он прав были или нет? Вы испортили деталь?

— Я не отрицаю, как инженер он был прав, я по халатности работу запорол. Но ведь он меня обидел. Я же вдвое старше его, а он мне такое говорит. Он обязан был найти другой способ наказания, необидный.

Поднялся спор, и мне он показался интересным. Все соглашались с тем, что старик работал спустя рукава, и его следовало наказать. Вот, попробуй найти способ наказать, но так, чтобы не обидеть. Инженера этого в партию рекомендовали, хотя не без оговорок.

* * *

Вообще, проблема “не обидеть” была на Кубе поставлена как большая национальная проблема, нам это было непривычно. Когда говорят о репрессиях на Кубе, о нарушении прав человека, это надо встраивать в совсем другой контекст, нежели, например, у нас. Слово то же, а смысл другой. Нас возил на машине Карлос, красивый парень, сын генерала при Батисте, которого расстреляли после революции. Очень гордый был, и было бы немыслимо, чтобы кто-нибудь помянул ему старое.

Но режим был строгий, и трагедий возникало немало, особенно в связи с выездом, эмиграцией, разрывом родственников. В аэропорту приходилось видеть душераздирающие сцены отъезда навсегда — при том, что у кубинцев просто животная любовь к своему острову и своей культурной среде. И в то же время это была очень открытая страна, кубинцы — путешественники. У одной преподавательницы возник роман с бельгийцем, где-то на конференции познакомились. Он и в Сантьяго приезжал, симпатичный человек. Решили жениться, она подала заявление на выезд, уволилась из университета — но ее не выпускают, пока сыновья не отслужат в армии, как раз их возраст подходил. Бельгиец уехал, и эта связь как-то угасла. На нее было тяжело смотреть.

Но при всей строгости и тяжести норм, не было такого, чтобы мытарить людей сверх этих норм. Я вращался в тех кругах, где было довольно много “антикастристов”. Ведешь себя в рамках уговоренного минимума лояльности — тебя не трогают. А болтать — болтали свободно. Старики в Гаване сидели на скамейках и рассуждали, как американцы явятся их освобождать — по морю или по воздуху. Социальная база режима была настолько прочной, что на болтовню можно было не обращать внимания.

Мне пришлось вникнуть в эти проблемы из-за одного щекотливого обстоятельства. В 1970 г. мы в Гаване жили почти полгода в отеле, не было свободного дома. К моей дочке привязалась девочка, ее сверстница, симпатичная мулаточка, звали ее Нуассет. Все время к моей дочке бежала, не оторвешь. Пришлось общаться с родителями. Мать кубинка, отец — француз, фотокорреспондент. Ждали документов для отъезда в Париж. Около них — компания видных кубинских интеллектуалов. Один из них, поэт, получил премию Дома Америк, важное событие. Он до этого сидел в тюрьме как слишком нахальный диссидент. Как раз вышел, получил премию, и они постоянно собирались в отеле, в ресторане или в баре, и через эту девочку нас втягивали в светские контакты.

Потом нам дали дом — целую виллу в предместье, мы уехали, а через пару дней звонит эта кубинка и говорит, что ее мужа арестовали как шпиона и что он передает нам привет. И не только стала звонить, но и приходила с девочкой. Из отеля она съехала обратно к матери и стала просить покупать ей продуктов, потому что ее оставили без карточки и т.д. И все время рассказывает о муже, о допросах, о том, что он раздавлен доказательствами — и передает от него привет. Продуктов я ей купил, но показалось мне, что хитрый Пьер хочет впутать в свое дело советского специалиста, чтобы усложнить работу кубинским органам. Поговорил я с некоторыми кубинцами, лаборантами, надежными друзьями, все рассказал. Как, спрашиваю, может ли быть, чтобы осталась эта Фелина с дочкой без карточек? Все, независимо друг от друга, сказали, что это абсолютно невозможно. Семьи арестованных не только не ставят в такое

положение, но даже наоборот, предоставляют некоторые льготы “по случаю потери кормильца”. Разные люди так ответили, с разными политическими установками. Так что я, скрепя сердце, сказал Фелине, что мы к ней и Нуассет прекрасно относимся, но поддерживать с ней отношения не можем. Она сказала: “Понимаю”, — и исчезла.

Пошел я сказать обо всем этом нашему начальнику группы, но хитрый украинец поступил мудро. Вы, говорит, мне доложили — и забудьте об этом. Он как раз собирался уезжать и не хотел себе приключений. Вообще, начальники из глубинки, тем более украинской, имели куда больше здравого смысла, чем столичные, тем более из лучших учреждений. Нельзя столичным власть доверять, они всего боятся. После того украинца сделали начальником молодого москвича Мишу — вирусолог, работал на электронном микроскопе. Мы с ним поначалу даже дружны были, на профессиональной почве. Но из-за своего панического страха перед жизнью он много людям нервов попортил.

Как-то устроили в парке праздник трудового коллектива нашего научного центра. Сидит кучка наших женщин за столиком, потягивают лимонад. Подошел к ним молодой шофер Педро, который возил в школу детей наших сотрудников и был очень дружен и с детьми, и с их мамами. Он только что демобилизовался с флота, был очень веселый и довольный жизнью. Пошутил он с нашими дамами — и широким жестом угостил их ликерами и чем-то там еще. Увидел это наш начальник Миша и велел дамам тут же заплатить Педро ту сумму, что он на них потратил (мол, у парня небольшая зарплата и т.д.). Педро решил, что это в шутку, сказал какие-то галантные слова и исчез. Так этот наш ученый Миша пошел к самому генеральному директору Центра, потребовал вызвать Педро, чтобы тот принял от него деньги. Директор Мишу в разум привести не смог (уместных для такого случая русских выражений он не знал, а Миша не очень-то владел испанским). Вызвали Педро, он выслушал и сказал, что он кого хочет, того и угощает, и пусть они все катятся от него подальше. Возникла международная напряженность, и Педро с нашего горизонта исчез. Другой шофер тоже был хороший, но все же дети по Педро скучали.

Из-за этого бдительного Миши я нагрубил уважаемому человеку, о чем сожалел. Как-то мы идем с ним в лабораторию, а у подъезда машины хорошие стоят. Кто это приехал, спрашиваю. Он мне говорит: “А-а, тренер футбольной команды “Спартак”. Из любопытства”. Я занялся работой, налаживаю свой прибор, момент напряженный. В коридоре тихо, все куда-то попрятались.

Заходит ко мне невзрачный тип, я даже удивился, что футболисты такие бывают. Спрашивает: “Чем это вы тут занимаетесь?” Я очень популярно объяснил — на том уровне, на каком, как мне представлялось, мыслят футболисты. Он был, похоже, не в духе: “Вы мне тему, тему вашу изложите”. Что это, думаю, за спартаковец такой любопытный выискался? Но изложил, более или менее добродушно. А ему опять что-то не понравилось: “А зачем структуру этого черного полимера знать? По-моему, совершенно излишне. Уводит вас от главного”. Тут я разозлился — гонял бы ты свой баллон, а не совал нос в реакцию Майяра. Говорю ему: “Я вас не учу, как по полю с мячом бегать, а тут уж я без ваших советов обойдусь, какой полимер надо изучать, а какой не надо”.

Он хмыкнул довольно зло и убежал. Ну, думаю, “Спартак” не будет чемпионом. Выглянул в коридор — там непривычно пусто, в обоих концах кубинцы в форме. Вернулся я к своему прибору, забыл об этом. А вечером смотрю телевизор — Фидель Кастро идет в обнимку с этим тренером из “Спартака”. Оказалось, это председатель Госплана СССР Н.К.Байбаков.

Он тогда, как я слышал, очень полезные советы кубинцам дал, здравые. Правда, и по мне они ударили. Ром тогда стоил всего 2,4 песо, но давали его по карточкам. Кубинцам — бутылку в месяц, а нам, советским специалистам, без ограничений. Байбаков уговорил пустить его в свободную продажу — по 18 песо. И остался я почти без рома, но зато избежал риска пристраститься к этой замечательной штуке. Может, это легенда, но кубинцы верили, что это Байбаков так облегчил их положение — все равно они ром на черном рынке по 30 песо покупали. Так же и сигареты стали продавать свободно — по 2 песо (правда, сохранилась и норма по карточкам — пачка на неделю по 20 сентаво).

* * *

Боязнь кубинских властей “обидеть” политических и социальных противников создавала необычные проблемы. Памятуя об общей ненависти к режиму Батисты, человек в форме на Кубе тогда никого и пальцем не мог тронуть. Как-то, мне рассказали, подрались на остановке два парня, а рядом офицер стоит вооруженный. Кинулся он к прохожим: “Товарищи, разнимите их, я не могу, я в форме”. Почти поголовное вовлечение граждан в милицию было там абсолютно необходимо — все стали стражами порядка.

Эта боязнь власти, кстати, как раз вызывала недовольство обывателей. На подъеме революции, при всеобщем энтузиазме, хулиганство в принципе исчезло как социальное явление. Но в конце 70-х годов, как говорят, стало возрождаться — а тут как раз жесткая кампания за права человека. В начале 80-х годов зачастили на Кубу международные инспекции, и правительство вообще выпустило всех преступников из тюрем. Чего, мол, еще вам надо? Правда, какая-то их часть отплыла в демократические страны — выезд стал свободным. Но все равно обстановка ухудшилась, а люди как раз привыкли к полной безопасности. Я был в Гаване летом 1988 г., попал на карнавал. Все на улицах, и в такой толпе хулиганство опасно. А полицейские без оружия и без дубинок. Правда, в касках. Как где заварушка, они как тигры туда прыгали, каску с головы сорвут, возьмут в руку — и давай “разнимать”. Удивляло, как они прыгали — вспрыгнут на парапет набережной и кидаются в толпу прямо через головы людей.

Помню другой карнавал, 1967 г., в Сантьяго — там карнавал самый типичный и красочный. Открывает шествие братство масонов, впереди идут их старейшины — старику 104 года и старухе вроде того. Почти все негры, в цилиндрах и полосатых штанах, как в 18-м веке. Глава провинциальной власти выходит, целует старуху, старику дает конверт с деньгами — особая помощь ансамблю, в котором самые старые участники. Но я карнавал описывать не буду, это большое дело. Массовая культура высокого уровня. То, что нам показывают из Рио де Жанейро — театрализованная эстрадная туфта. Настоящий афро-латинский карнавал, в той же Бразилии, вещь сложная.

На том карнавале по время шествия выделялась “компарса” треста “Куба-Табак” (компарса это ансамбль в несколько сот человек, со своим оркестром, костюмами, хореографией и огромной многоэтажной повозкой для солистов). На повозке танцевали восхитительные красавицы — и кидали в толпу пачки сигарет и сигары. Я на них так разинул рот, что они стали кидать в мою сторону, я был в ударе, высоко прыгал и поймал несколько сигар и три-четыре пачки сигарет. Вокруг меня прыгала стайка мальчишек, лет десяти, но я безжалостно перехватил все трофеи. Тогда один из них подошел ко мне и говорит, что я много поймал, не поделюсь ли с ними. Но трофеи есть трофеи, и я сунул ему под нос кукиш. Он страшно удивился, взгляделся в него и спрашивает: “Что вы хотите этим сказать, товарищ?” Я ему популярно объяснил, он восхитился выразительности этого жеста, побежал к своим и, вижу, все они тренируются в составлении кукиша и хохочут. Никогда не видели, и очень он им понравился. Так я способствовал распространению русской культуры.

Но я вспомнил карнавал по иному поводу. Возвращались мы как-то с женой с того карнавала домой уже под утро, останавливается огромная полицейская машина, еще из старых американских, пожилой полицейский предлагает подвезти до дому. Сели, разговорились. Он всю жизнь прослужил в полиции и рассказывает о карнавале. Раньше, говорит, карнавал был для полиции тяжелым испытанием — очень много убийств. Во время карнавала сводились все счеты. Все в масках, ткнул ножом в толпе, ищи-свищи. Этот полицейский одобрил новую власть потому, что она сразу приняла разумное, по его мнению, постановление — запретила носить маски на карнавале. Сразу убийства прекратились. Я удивился: неужели такой эффект? Ведь все равно толпа, поймать трудно. Старик мне объяснил: дело не в том, трудно или не трудно поймать. Человеку без маски совесть не позволяет убийство совершить. А маску надел — и как будто сам себя не видит. Он это сказал так убежденно, будто вещь очевидная. Но это он на опыте знает, а нам удивительно. Кстати, в 1988 г. правозащитники яростно требовали от правительства разрешить маски на карнавале и почти добились своего. Обыватели вздохнули спокойно, когда власти все-таки не пошли на уступки, еще разок проявили свой тоталитаризм.

Полицейского этого мучила раздвоенность. Он не знал, как ему относиться к новой

власти, всю жизнь его воспитывали в крайнем антикоммунизме. Он хотел обиняком, негласно что-то выяснить. И стал ко мне по вечерам домой заезжать — поговорить. Сначала стеснялся, придет и стоит за дверью, один раз даже напугал меня — я поздно вечером открыл дверь, а за ней — полицейский. Мне, говорит, воды надо в мотор залить, а видно, что давно уже стоит. Выпьем кофе, по стаканчику рома, разговариваем. Он спрашивал, как у нас жизнь устроена, самые простые вещи.

Советских специалистов любили и уважали — и за честную работу, и за нормальное сердечное отношение к людям. Что ни говори, а этим наши сильно выделялись, даже среди “народных демократов”. Жаль, что в массе своей неважно наши языком владели — для работы достаточно, а о тонких материях поговорить уже трудно. Примером своим изъяснялись. Это, конечно, главное, но людям хочется и тонких материй. Да и сами без языка многого увидеть и понять не могли. В этом смысле у меня было преимущество, и я им пользовался. Ездил, куда хотел, с самыми разными людьми разговаривал, по радио выступал.

* * *

На Кубе в те годы сошлись в одних коллективах советские люди трех разных поколений. Как в пробирке — чистый эксперимент, не то что в полноценной общественной каше дома. Были люди, прошедшие войну в сознательном возрасте, даже работавшие или воевавшие; были такие, как я — помнившие войну простым детским умом и желудком; были и совсем молодые, знавшие о войне теоретически (и скептически). В чем-то я бывал заодно со “стариками”, в чем-то — с молодежью. Иногда различия вспыхивали ярко.

В 1967 г. университет решил, видимо, в качестве подарка к юбилею Октября, устроить нам роскошную поездку по острову. Было время каникул, можно было отлучиться. Дали автобус, тронулась в путь вся наша колония, с семьями, весело. Замечательные вещи мы посмотрели — и техникумы, устроенные в живописных местах, по 20 тысяч студентов, и место высадки группы Кастро со шхуны “Гранма”, и рыболовецкие кооперативы. Ночевали мы в старых гостиницах, еще колониальных времен, угощали нас вещами, которые в больших городах и делать разучились.

Где-то на южном берегу дали нам ужин на высшем уровне. Видно, местечко это строили для туристов — ресторан устроен со вкусом, на какой-то очень старой барже, стоит на якоре. Сначала столько всяких креветок и пр., что главное блюдо уже энтузиазма не вызывало. А оно тоже было прекрасно (вообще, искусство поваров на Кубе было тогда выше, чем, например, в Испании и Мексике, не говоря уж о США). Но, раз этот великолепный кусок мяса принесли, то “старики” его съели, и тут я был вместе с ними. Смотрим — наши “молодые” (это были ребята-переводчики из языковых вузов) к угощению даже не притронулись. Сыты!

“Старики” сначала с удивлением, а потом и со скрытой угрозой стали спрашивать: “Вы чего это не едите?” Ребята равнодушно отвечают, что не хочется, закусками наелись. И вообще, в чем, мол, дело? Тут на них зашипели: “Как в чем дело? Как в чем дело? Что значит наелись?” Кончилось тем, что мы, “старики”, взяли у своих молодых соседей нетронутые тарелки и съели по второму куску мяса. Потом, когда шли обратно, слышался возмущенный шепот: “Видал? Они наелись! И из-за этого пропадать пища? Вот что значит человек войны не видел, ты ему уже в голову простых вещей не вобьешь”.

Я понимаю, что молодому человеку все это покажется странным. Но тем, кто прожил войну хотя бы, как я, ребенком, диким и абсурдным казалось именно поведение тех молодых переводчиков.

Тогда, в конце 60-х, советские люди стали обустриваться, покупать квартиры, мебель. У многих прежняя вынужденная непритязательность жизни вызвала болезненный приступ скупости, желания накопить, а потом и купить. Я, выросший уже после войны, в себе и в моих сверстниках, не говоря уже о более молодых, такого не замечал. Во всяком случае, это было реже, чем в старших.

Конечно, и нервы были натянуты, многие за границу тяжело переносили. Сломает что-нибудь ребенок или утопит в море, в волнах, маску — крик поднимается, искать

заставляют. Скажешь: “Ну что ты, Алексей, из-за маски убиваешься! Смотри, парень уже ревет. Все равно ведь не найти”. Одумается, расстроится, сам удивляется, что на него нашло, объясняет: “Ты пойми, по халатности вещь угробил. Если так пойдет...”. А просто у него в уме калькулятор щелкнул: маска — десять песо, мог бы их обменять на пять сертификатов, это в Челябинске 25 руб. Почти четверть моей зарплаты м.н.с.! Ищи маску, мерзавец!

Дома-то, в Союзе, это накопительство широко и не могло проявиться, на зарплату не разгуляешься. А тут нам половину зарплаты обменивали на особую псевдовалюту (“сертификаты”) — а половину трать на Кубе. Но, с помощью разных ухищрений можно было и больше обменять, ужаться в расходах. И некоторые в самоограничении доходили до крайности.

Когда я приехал в Гавану в 1970 г., с годовалой дочкой, пришлось долго жить в гостинице, не было свободных домов. В ресторане мы платили треть цены, остальное оплачивал научный центр. Но все равно для нас было дорого. В кафе только два блюда — жареная рыба или почки в вине. Вкусно, но за три месяца с ума сойдешь, а годовалый ребенок и за неделю.

Я неделю ждать не стал, из консервной банки сделал печурку, в колбочку приладил фитиль, налил спирта, и можно было варить дочке еду не хуже, чем на газу. На работе мне знакомые давали кусочек мяса, чуток овощей — ребенку хватало. Недалеко от нас, на том же этаже жила другая советская семья, у них был мальчик лет пяти. Худенький, бегал в длинных черных трусах босиком по холлу самой роскошной гостиницы “Ривьера” — ее только-только перед революцией отстроили себе гангстеры США, чтобы проводить там свои конгрессы и приезжать в карты играть. Прекрасное творение зодчества, скульптуры и изощренного вкуса.

Там останавливались всякие мировые лауреаты, диссиденты всех мастей и шпионы. Чьи они были, неизвестно, но у них прямо на лбу было написано, и все друг друга знали. Кстати, одна такая шпионка из США, специалист по партизанскому движению в арабских странах, была очень милая девушка, прямо “гений чистой красоты”. И среди этой публики бегали по роскошным коврам моя дочка и этот белобрысый мальчик.

Как-то вечером они набегались и поднялись поиграть еще в комнате. А я как раз сварил кусочек мяса, провернул его на мясорубке, поставил на стол и пошел в ванную, где на роскошном мраморном столике у меня была кухня. Возвращаюсь в комнату и вижу, что этот мальчик лихорадочно хватается руками с блюда вареное мясо, запихивает в рот и, давясь, не жуя, глотает. Стосковался по пище и не утерпел. Большой уже, и стыдно ему. Увидел меня несчастными испуганными глазами и побежал из комнаты. Дозэкономились родители.

Легко было бы посмеяться над ними и обвинить их в скопидомстве, а не получается. Почти все эти советские специалисты выросли в семьях, которые много поколений тяжело работали и скудно потребляли. И вот, выдалась им возможность накопить денег и потом купить что-то, ранее недоступное. И стал бес их толкать под руку — одних сильнее, других меньше.

А тех, кого этот бес толкнуть не мог, обязаны этим, скорее всего, не своему благоденствию, а тому, что несколько поколений их предков жили сытой жизнью. И даже если сами они лично в детстве недоедали, эта историческая память их поддерживала.

* * *

К началу 70-х годов экономическая политика на Кубе еще не устоялась, иногда происходили непонятные шараханья из стороны в сторону. Вернее, непонятны они были нам, далеким от конкретных деталей процесса. Еще в 1968 г. много было частных лавочек, где продавались овощи, фрукты, причем очень дешево. По улицам мулы тащили тележки, окрестные огородники привозили свой продукт. Кричали, созывали покупателей — спускайся и бери. Когда я приехал в 1970 г., многое изменилось, и это были, говорят, самые тяжелые годы (до краха СССР, разумеется). Не было ни зелени, ни овощей. А у меня дочка маленькая, да и сын был на подходе.

Поселили нас на прекрасной вилле, в предместье Гаваны, рядом с Национальным научным центром. Что делать? Я, скрепя сердце, распахал киркой и лопатой шикарную лужайку перед верандой, сделал грядки и засеял — помидоры, морковь, капуста. По ведру

помидоров утром собирал. Потом и кубинцы так стали делать. Но летом ничто из знакомых нам культур не росло. Непонятно почему — то же солнце, та же температура. Вырастет чуть-чуть — и хиреет.

А недалеко жил китаец-кубинец с большой семьей. Видно, переселили его из трущобы в пустующую виллу. Человек семь детей. По вечерам он всех их выводил, вплоть до грудных, и рассказывал про звезды, объяснял карту звездного неба. Так и стояли все, задрав головы, даже маленькие на руках. Вечера там темные. Бывает, идет негр в темной одежде — только глаза как будто по воздуху плывут, моргают, да зубы, если улыбнется. Когда такое читали, не верилось.

Этот китаец имел за городом огород и стал нам давать то, что летом растет — зелень, корнеплоды тропические, вместо картошки. А ему за это рис, кофе и немного сигарет. Нам полагалось много на всех, включая детей, так что оставалось. Сигареты я носил в лабораторию, они лежали в определенном месте, люди заходили и брали по одной, когда курить неумоготу хотелось. Кофе после обеда варили — на аромат тоже народ сходил. Но оставалось и китайцу. Овощи приносили его дети, старшему было лет десять, звали его Сантьяго. Всегда в пионерском галстуке — революционер. Светлая голова, другого слова не подберешь. И как с детьми управлялся — ни разу не крикнет, а все подчинялись ему с радостью. Когда моя дочка с ними играла, я был рад — такой пример перед глазами.

Этот мальчик вообще среди сверстников в поселке верховодил. Как-то я иду, еще не знал их близко, и вижу такую сцену. Мальчик, сын моего коллеги, немца из ГДР, что-то не поделил с кубинцем, обхватил его и пытается повалить, как обычно. А все вокруг стоят, оторопели, не понимают. Сантьяго увидел меня и кричит: “Товарищ, скажите пожалуйста, что он делает?” И от многих наших родителей я слышал тогда эту странную вещь — среди кубинских детей не было драк и они не понимали, когда их сверстники из Европы пытались с ними драться. Скорее всего, это было временное явление, романтический момент. Но очень любопытный.

Вообще, отношения с детьми на Кубе были очень ласковыми, и дети росли незлобивыми. Когда в автобус входила женщина с ребенком, к нему тянулось несколько пар рук — взять к себе на колени. Уступать место там не было привычки, да и тесно обычно было, передвигаться трудно. Передают малыша под крышей автобуса с рук на руки. “Ах ты, мое солнышко! Ах ты, мое небушко!”. Дети не боятся.

* * *

В Сантьяго, в 1966 г., Педро Соберат, подводник из их “ДОСААФа”, мечтал создать группу подводной археологии. Около Сантьяго было много испанских кораблей потоплено, еще колониальных времен. Они ныряли, даже пушки доставали (при Батисте их чуть не арестовали — решили, что собираются чугунную пушку восстановить и к Фиделю отправить). Для начала надо было наладить съемки. А я как раз привез бокс для подводной съемки, нам на свадьбу перед отъездом подарили. Я решил его отдать, все равно понял, что времени у меня не будет. Попробовали — прекрасно снимает, но сломался мой аппарат “Зенит” для этого бокса. Педро говорит: “Здесь есть один советский товарищ, Пабло, прекрасный мастер. Он у нас в Сьерре-Маэстра ведал радиостанцией. Поехали к нему, он починит”. Надо же, думаю, мы и слыхом не слыхивали, что в Сьерре-Маэстра у Фиделя был наш радист. Вечером поехали, куда-то на окраину. Где же, думаю, здесь советские живут? Я же все их места обитания знаю.

Приехали. Обычный кубинский домик, выходит Пабло, столь же обычный кубинец. Заходим, Педро ему объясняет — и Пабло переходит на русский язык, правда, скованный. С трудом говорит, но прилично. Потом зовет: “Мама!”. Выходит старушка, в русском платье, лицом совершенно русская. После 1917 г. девочкой уехала с родителями из Ярославля, осели на Кубе, Пабло ее сын. Обрадовалась случаю поговорить на русском языке, нисколько его не утратила. Видно, читает.

Я потом в машине говорю Педро: “Вы знаете, что советский — это не то же самое, что русский”. Он удивился: “Да? А в чем же разница?”

Значит, радистом у партизан Фиделя был русский Павел, которого кубинцы зовут “совьетико”...

Русских на Кубе было не так много, но все же заметное число. Приедешь в какой-нибудь городок, тебе говорят: “У нас есть один старый советико, сапожник”. А как-то в гостинице, в Гаване, пришли ко мне кубинцы, только что вернувшиеся из Москвы. Я заказал обед в номер, старик-официант прикатил столик с обедом. Я смотрю и говорю по-русски: “Видно, кофе-то он забыл”. А старик мне по-русски же отвечает: “Кофейник в печке, чтобы не остыл” — под столиком маленькая печка укреплена.

* * *

Многие вещи на Кубе нас удивляли и казались неправильными. Мы эти вещи давно пережили и забыли, теперь их даже кое-кто осмеивает. Что они противоречат теории, и сами кубинцы знали, и многие там их тоже порицали. Но, взглядевшись, я во многих теоретических истинах усомнился. Например, тогда, в 1966-68 гг., многие блага давались на Кубе бесплатно или очень дешево. Телефон-автомат на улице был бесплатный, вход на стадион, на любимый кубинцами бейсбол — бесплатно. Если массовый праздник, вдруг бесплатно раздают по бутылке пива и редкостное любимое лакомство — булку с куском ветчины. Казалось, это несправедливо. Ведь кто-то это оплачивает, а достается это явно не всем. Не все ходят на бейсбол.

Но, накапливая наблюдения, я стал видеть во всем этом большой символический смысл. Даже литургический, если можно так выразиться. Какое-то совместное причащение, как будто восстанавливалось утраченное братство людей. И тут не было ни идеологического, ни политического смысла, и эффект был гораздо глубже и очень сильный. Это по людям было видно.

Например, никто никогда не взял бы лишней бутылки пива или булки с ветчиной. И никто в этом другого не заподозрил бы. Когда мы приехали на слет школьных кружков, там стали раздавать эти булки с ветчиной. Один мой ученик меня увидел и мне отдал свою. Я спрашиваю: а ты как же? Пойду, говорит, еще возьму. Спокойно сказал. А в университете на каком-то празднике я подошел, а переводчик, который рубил со мной тростник, только что взял бутылку холодного пива, увидел меня и мне отдал. Сам подошел к ящику со льдом и тянется за другой. Наш стеклодув, член профкома, этим заведовал, удивленно говорит: “Ариас, ты же только что брал”. Это у него вырвалось, без всякого злого умысла. Ариас взвизгнул что-то нечленораздельное и бросился прочь. Я говорю стеклодуву: “Он мне отдал свою бутылку”. Тот побежал за ним, кричит: “Товарищ Ариас, вернитесь! Товарищ Ариас, немедленно вернитесь! Я вас предупреждаю...”. Тот не вернулся.

Но в общем, эти бесплатные мелочи глубоко переживались — как будто люди совместно “преломляли хлеб”. В ночь на Новый, 1967 год на самом большом проспекте Сантьяго накрыли длинный стол — ужин для всего города. Билет стоил три песо, очень недорого, и ужин был хороший, даже кусочек халвы и виноград из Испании — ритуальные для новогодней ночи вещи. Я думал, мало народу придет. Нет, почти весь этот стол был заполнен, и все были довольны побыть вместе. Больше не повторяли, видно, все же слишком дорого обошлось.

Я жил потом на этом проспекте, а за ним напротив дома — большой стадион для бейсбола. Вход бесплатный. Перед домом большая лужайка, под уклон к проспекту. Когда была игра, лужайка заполнялась заседланными стреноженными лошадьми. Это приезжали на игру крестьяне из деревень, иногда издалека. Лошади там прекрасные, арабские. Всадники отпускают подпруги и идут на стадион. Ночью вернутся, еще поговорят об игре, сядут на лошадей и по домам. И такая радость, такое спокойствие было в этих голосах, что я начал думать, что затраты на содержание этого стадиона окупаются многократно. Тогда окупались. Теперь этого нет, это и не нужно, люди это переросли. Но тогда это был простой и искренний знак расположения и уважения ко всем людям, без различия классов и сословий. И понят этот знак был совершенно правильно. И смеяться над этим, ссылаясь на какие-то учебники политэкономии, было попросту глупо.

Вообще, в СССР в то время происходил поиск новой системы вознаграждения за труд. Старая, похоже, исчерпала свой потенциал, и нам казалось, что вообще моральное

вознаграждение — легенда, выдумки. Если бы я не видел, как она в то время действовала на Кубе, не поверил бы. И действовала именно на простого человека, просто вдохновляла его. Как-то на поле, когда мы рубили тростник, приблизились к дороге. А по ней идет крестьянин — заскорузлый, прокаленный солнцем, рубит тростник всю жизнь. Подошел к нам, разговорился, и мы присели отдохнуть. С гордостью рассказывает, что в воскресенье ездил куда-то в другой район на соревнование рубщиков тростника. Мол, хорошо рубил, хотя призового места не занял. Но это, мол, не важно — он так и так уже нарубил достаточно, чтобы получить талон на покупку мотоцикла. Главное, приемы свои показал и кое-чему у других научился. Он и нам тут же свои приемы показал. И видно было, как этот человек, который всю жизнь занимался этим тяжелым трудом, был счастлив, что он встретился с лучшими работниками, что он тоже признан одним из лучших, что они уважительно друг с другом поговорили, пообедали большой компанией. И в этом не было фальши, вот в чем дело. Ни с той, ни с другой стороны.

* * *

В Сантьяго я жил в трехэтажном доме на втором этаже. Дом хорошо был сделан, все время продувался сквозняками, прохладно даже в жару. Под нами жил американец, геолог. Веселый мужик, все время на мотоцикле разъезжал с геологической сумкой. А жена была мегера, ей, видно, на Кубе не нравилось, и по ночам у них слышались крики и звон разбиваемых тарелок — полы там каменные. Я днем частенько опаздывал на наш автобус, так уставал, что хоть минут пятнадцать надо было подремать, и голову не оторвешь. Она меня подвозила на машине — большой черный драндулет. Как-то ко мне зашел кубинец с факультета, и она прихватила обоих. Он сел и бестактно пошутил: “А я всегда думал, что это машина из *фунерарии*”. То есть из похоронного бюро, катафалк. Она губы поджала, но ничего не сказала.

Как-то мы с ней ехали в университет. Проспект поднимался на холм, где был перекресток, главный въезд в город, а дорога налево круто спускалась к университету. На перекрестке стояли пионеры, вроде бы регулировали движение под руководством полицейского. Видимо, у них был урок правил движения. Мы поднялись на холм и остановились, пропуская встречные машины. К нам подошел мальчик лет десяти, с жезлом. Наряжен он был ради такого случая в костюм американского шерифа — шляпа, звезда, игрушечный кольт у пояса. Видно, купили ему в подарок на Рождество. На шее пионерский галстук. Подошел к окошку водителя и говорит на своем негритянском наречии: “Сеньола, налево крутой спуск, будьте осторожны”.

Это, видимо, ее доконало, и вся ее ненависть к Кубе и этим негритянским мальчикам прорвалась — во взгляде, в одном только взгляде, прямо в глаза этому пионеру-шерифу. Лицо этого мальчика у меня на глазах вспухло от ужаса. И губы, и нос, и уши — все вспухло, а глаза наполнились слезами и выражали животный страх и полное непонимание. Если бы я не видел, никогда бы не поверил, что чувство, выраженное одним взглядом, может материализоваться в такое сильное физиологическое действие.

Потом эта женщина уехала в США, геолог остался и забрал к себе венгерку с медицинского факультета. Эта была бой-баба, эмигрантка 1956 г. и ярая антисоветчица. Замечательно вскрывала кроликов на занятиях, чуть ли не руками их разрывала. Любила это дело и достигла мастерства. Зажили они с геологом весело, и из их квартиры уже раздавались другие звуки.

* * *

Стал я писать это отступление о работе на Кубе ради одного поучительного инцидента, да не удержался. Воспоминания о молодости... Теперь перейду к этому эпизоду.

Во время работы на Кубе у меня возникла возможность на опыте прощупать репрессивную силу советской системы. В мягком варианте, без потерь для экспериментатора. Для моей дальнейшей жизни опыт был полезен, хочу им поделиться. Он длился долго и вовлек

в действие многие механизмы нашей системы. Поэтому какое-то полезное знание дает.

Дело в том, что я, вопреки моим желаниям и моему характеру, вошел в сильный конфликт с начальством советской группы специалистов, с консулом и с секретарями парторганизации — как группы университета, так и провинции. Такая вещь за границей — ЧП, поэтому оказалось втянутым и начальство более высокого уровня.

Когда я приехал, у меня установились прекрасные отношения со всеми советскими коллегами. Большинство их было из Ленинграда. Начались между нами трения по пустячному поводу. Кроме меня, был еще один специалист-химик, с химфака МГУ. Человек мрачный и, видимо, в быту не очень-то приятный. Вот на него коллеги и начальство заимели зуб — по чисто личным причинам. Чем-то он их допек, еще до моего приезда. Приходит он ко мне и говорит: “Помоги, как химик химику. Хотят меня сожрать, ставят на партсобрании вопрос о моей работе. Говорят, я предложил кубинцам плохие темы исследований”. Посмотрел я его темы — все нормально, как химик он имел высокий уровень, хотя таких занудливых химиков немного найдется. Ладно, говорю, пойду на партсобрание, поддержку тебя.

Пришел. Публика интеллигентная, ведь Ленинград — наша Европа. Думаю, договоримся. Выступаю, как в лаборатории, чуть шутливо. Говорю: бросьте, мол, дорогие товарищи, к его темам привязываться, темы тут ни при чем. Вы все тут, говорю, вообще не химики, как можете судить, какая тема хороша, а какая плоха. К моему удивлению, эти разумные слова у начальства вызвали очень болезненную реакцию: “Как это не можем судить! И можем, и обязаны судить, на то мы и парторганизация”. Я им опять по-хорошему говорю: “Тогда давайте проведем эксперимент. Я тут на бумажке написал пять нормальных, разумных исследовательских тем — и пять идиотских, заведомо абсурдных. Пусть каждый член КПСС отметит крестиком те темы, которые он считает разумными. А потом мы посмотрим, пришла ли парторганизация к единому мнению”. Это уж совсем очевидно разумное предложение привело начальство в ярость. Даже удивительно было увидеть такой темперамент у ленинградской профессуры. “Вы нам тут цирк из партсобрания не устраивайте!” — кричат. Но вопрос о темах мрачного химика с повестки сняли.

И надо же так случиться, что он хоть и зануда был, но не дурак. Каким-то образом он со всеми помирился и даже стал приятелем — получил прекрасную характеристику и уехал себе спокойно в Москву. И еще зарекомендовал себя как защитник советских ценностей на переднем фронте идеологической борьбы. Мы с ним начитали химикам каждый свой курс. И приходят ко мне активисты из Союза молодежи — на него жаловаться. Он на экзамене всех заставляет наизусть пересказать ленинское определение материи. Кто не может — ставит двойку. Я говорю: пойдете вместе с ним разберемся. Он говорит: “Тот, кто не знает ленинского определения материи, не может понять неорганическую химию”. Я ему по-русски: “Ты что, Вадим,...?”. Я такого идиотизма в СССР ни разу не встречал. Студенты нашего русского разговора не поняли, снова заныли: “Мы ничего усвоить не можем. Может быть, вы нам плохо перевели? Что это такое — “данная нам в ощущении”? Кем данная?”. Тут уж не смог я его поддержать, при всем моем уважении и к Ленину, и к материи. Потом, слышу, он парторгу жалуется — на кубинцев. Ленинское определение материи не хотят учить! Вот, мол, тебе и социалистическая революция... Я так до сих пор и не знаю, всерьез он это или ваньку валял. Уж больно натурально.

В общем, уехал он, а всю свою нерастраченную злость начальство обратило на меня. Как раз весь старый состав преподавателей сменялся, но начальство оставалось. Только старый парторг университета уезжал. Добрый мужик был, из Запорожья. Он накануне отъезда мне сказал: “Будь поосторожнее, решили тебя сожрать”. Я удивился: “Что они на меня могут навесить?”. Он говорит: “Ты какие-то технические предложения кубинцам писал. Пока что только это. Ты бы лучше наладил с ними отношения”. Ну, думаю, это ерунда. Я эти предложения подавал через советское представительство, там и должны были решать, передавать их или нет нашим кубинским друзьям.

Приехал новый состав группы преподавателей, все очень симпатичные, много биологов и биохимиков. Я им помогал — и методами, и реактивами, свел с нужными людьми и т.д. К тому же вел семинары для них — вводил в курс кубинской жизни, и все были довольны. Однако начальство, где-то в темной келье, вынашивало планы. Месяца за три до отъезда совершался

ритуал обсуждения характеристики. Потом она обсуждалась и утверждалась у консула, потом в посольстве в Гаване, потом отсылалась в личное дело в Москву. Всегда это проходило гладко и вообще незаметно. Стандартный текст, подписи, номер протокола. Со мной весь процесс пошел по-иному. Уже на начальной стадии, на простых собраниях начали выдвигать мне какие-то туманные обвинения. Все притихли, никто ведь не знал, как возникла размолвка, и никаких признаков ее продолжения не было заметно. В общем, вижу, и впрямь решили гадость устроить. Собрал на всякий случай все бумаги, которыми можно отбиваться, припомнил все упущения и слабости. Ну, думаю, валяйте, все чисто, все в пределах нормы. Стали мы с женой на собрания ходить с большими черными папками (на конгрессе сахарников их получили). Жена у меня тоже химик, и кубинцы ее попросили поработать в университете. В черных папках у нас все бумаги, туда и все обвинения стали записывать, а то и не упомнишь. Эти папки сильно злили руководство. Ишь, записывают, стрикулисты. Нехорошо, конечно, было с нашей стороны злить людей, но и потакать им уже нельзя было.

Наконец, настал день партсобрания, на котором мне должны были дать характеристику. Как я ни гадал, что они придумают, догадаться не мог. Выступает новая парторг группы преподавателей и несет какую-то чушь: “Вы, товарищ Кара-Мурза, написали в кубинскую газету статью, где утверждали, будто все пятьдесят лет советской власти в СССР органы госбезопасности из-за угла убивали людей”. Все честные коммунисты окаменели. Они тоже такого не ожидали. Я прервал ее красноречие, и между нами произошел такой диалог. Я говорю:

— Что это за статья, в какой газете?

— Это статья, которую вы написали для газеты “Сьерра-Маэстра” по поводу 50-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции.

— Вы лично читали эту статью?

— Да, читала, вместе с секретарем парторганизации провинции.

Этот секретарь сидел рядом с ней и кивнул. Я спросил:

— Вы можете показать эти места и зачитать их? Учтите, что вы несете ответственность за свои слова.

— Показать не могу, поскольку этот текст утерян.

— Почему же утерян? Вот он, пожалуйста. — И я достал из своей черной папки этот несчастный текст. Все ахнули. Это был славный момент в моей жизни.

А получилось так. В ноябре как раз исполнялось полвека Октябрьской революции, и кубинцы еще в конце лета попросили нашего секретаря, чтобы кто-нибудь написал большую статью для их газеты. Тот поручил мне, я написал, отдал ему и забыл об этом деле. Но осенью на Кубе состоялся судебный процесс против их “антипартийной группы”, видных членов бывшей компартии, которые сильно расшипились на Фиделя. Свои издевательские беседы они вели с работниками нашего посольства, а кубинцы это все записали на пленку и обнародовали. Получилась заминка в официальных отношениях, и кубинцы советскую статью печатать не стали, а написали что-то свое. Никто из нас, естественно, об этом и не вспомнил.

Секретарь парторганизации не нашел ничего лучшего, как выбросить мою статью в мусорный ящик. Как-то я зашел к приехавшему недавно новому переводчику поболтать и выпить пива, а он мне говорит: “Тут у меня под кроватью валяется какая-то ваша рукопись. Может, она вам нужна? Я иду и вижу, лежит в мусорном ящике. Это непорядок, нельзя за границей свои бумаги раскидывать, и я ее домой принес. Все забывал вам сказать”. Я эту статью у него забрал и на всякий случай к другим бумагам ее приложил. Так что теперь вытащил я статью из папки и говорю:

— Ищите эти места. А если не найдете, я при всей парторганизации скажу, что вы лгунья.

Она покраснела, взяла статью и говорит:

— Это другой текст, вы подменили.

Я даже рассмеялся — на полях были какие-то банальные замечания и глубокомысленные вопросы, начертанные рукой секретаря парторганизации провинции. Обращаюсь к нему:

— Иван Иванович, удостоверьте, пожалуйста, что это тот самый текст, что вы просили меня написать. Учтите, что речь идет об очень серьезной клевете политического характера.

Он взял, посмотрел, делать нечего.

— Да, это тот самый текст.

Теперь я смог торжественно заявить:

— Вы, Марья Ивановна, уже пожилая женщина, а врите самым наглым и неприличным образом. Стыдно.

Я тут, конечно, допустил элемент садизма, но посчитал, что она того заслужила. Это была молодящаяся женщина, ходила в мужской рубаше навыпуск, плясала на всех молодежных вечеринках. Что ее называли вруней, она перенесла бы легко — но пожилой женщиной! Вся прямо сникла, даже на момент жалко ее стало.

На защиту партийной чести выскочил начальник. “Как вы разговариваете... вы грубиян... вы и сейчас ничего не поняли...”. Но эффект, конечно, уже не тот. Стали зачитывать характеристику. Три вещи мне туда вписали: “неправильная политическая ориентация”, “неправильное личное поведение” и “несамокритичность”. Попросил я объяснить все эти понятия на доступном языке, но на это махнули рукой. Стали голосовать. Бедные члены партии, которые так сильно мне симпатизировали, голосовали чуть ли не с рыданиями (это я о женщинах). Мне еще потом пришлось их утешать, мол, какие пустяки. Один парень, с медицинского факультета, который “не врубился”, воздержался.

Поскольку было видно, что эти властные болваны сожгли все мосты и не отцепятся, стали мы с женой определять свою стратегию. Сошлись на том, что будем стоять, покуда не замаячит реальная опасность попасть за решетку. А до этого склонять головы не будем. Уж если что-нибудь они изобретут подсудное, тогда конечно, наплевать и повиниться. Молодость, дескать, то се...

Для начала не стали мы ездить со своими соотечественниками на автобусе, который отвозил нас в университет и домой. Ходить было всего километра два, но в обед по жаре это было не принято. Кубинцы это сразу заметили, и шофер потешался — догонит нас, остановит, откроет дверцу. Мы рукой помашем — мол, спасибо, мы пройдемся. А он тихонько едет рядом. Все в автобусе сидят злые, молчат.

Созвали на собрание в консульстве всех наших специалистов из провинции, приехало начальство из Гаваны. Требуют у меня объяснить — как это так, бойкот всему коллективу, виданное ли дело. Я прижал руки к груди, дрогнувшим голосом прошу: “Не спрашивайте меня об этом, тяжело говорить. Но, конечно, если собрание проголосует, чтобы я сказал, то подчинюсь. Но лучше не надо”. Жизнь за границей у многих скучная, любое развлечение манит. Естественно, все дружно проголосовали. Говори, мол, мерзавец, со всеми подробностями. Я взволнованно:

— Бойкот коллективу — об этом я и помыслить не мог. Я коллектив люблю. Но есть два недостойных человека, — я уставил на них палец — начальник группы и парторг. С ними никак не могу в автобусе ездить, это презренные люди. Пусть они ходят пешком, а я с удовольствием буду ездить с моими товарищами советскими специалистами.

Народ был очень доволен спектаклем. Начальство из Гаваны фарисейски спрашивает:

— А вот еще говорят, что вы несамокритичны. Как же так, товарищ Кара-Мурза?

— Каюсь, было такое дело, но мне вовремя указали. Теперь я хочу при всех подвергнуть себя самокритике.

И я от души повеселился, приятно вспомнить. Собрание хохотало. Под конец и я едва не расхохотался. Но, поскольку тюрьма явно не маячила, можно было не стесняться — остального все равно было не поправить. Назавтра приходит ко мне в лабораторию наш молоденький переводчик — велят мне явиться опять на какой-то синклит, в узком кругу. Прихожу, мне говорят: “Сейчас мы вам зачитаем письмо, которое направляем в Москву в ваш институт”. Кто-то, видно, шибко умный придумал такую страшную кару. Все встали, будто смертный приговор зачитывают. Трагическим голосом зачитали какую-то глупейшую бумагу. Я там просто монстр! Я в душе рассмеялся — представил, как эта дичь приходит в наш институт. Потом встречаю переводчика, говорю: “Поди, скажи начальнику и парторгу, пусть придут ко мне завтра в 9-30 в мою лабораторию, я им зачитаю письма, которые направляю в их институты”. Бедняга совсем приуныл — что же такое происходит.

Много за оставшееся время они еще глупостей придумали. Например, получили мой отчет о работе, там список моих публикаций — в соавторстве с кубинцами. Что-то около 17 штук,

много было мелких методических работ. Требуют, в присутствии председателя профкома, представить справку, какова доля моего личного участия. Мол, примазался я к бессловесным соавторам. Думали, наверное, что я впаду в истерику от их оскорбительных намеков. Я сделал официальную справку, несу им нарочно вторую копию. В такой-то работе моя доля 17, 32%, в другой 13,04% и т.д. В истерику как раз впал начальник:

— Как вы могли с такой точностью подсчитать долю участия?

— Трудно было, но постарался. А в каком месте вы видите ошибку?

— Вы занимаетесь профанацией, и мы вам это еще добавим в характеристику.

Прямо как дети, а ведь профессора. Возможно, неплохие специалисты. Наконец, заключительное собрание у консула, утверждение характеристики. Там уж мне слова не давали, обиженные начальники оттянулись со вкусом. Консул, который в Сантьяго от скуки помирал, был очень доволен. Напоследок говорит:

— Вот видите, как вас оценивает коллектив. Да-а, товарищ Кара-Мурза... У нас есть сведения, что вы должны были ехать на работу в Париж, в ЮНЕСКО. Вынужден вас огорчить. С такой характеристикой за границу вам больше ездить не придется. Разве только во Вьетнам.

Тут уж я смог патетически ответить:

— Поехать во Вьетнам — высокая честь для каждого советского человека. А вы, Павел Сергеевич, похоже, считаете это наказанием. Как это понимать?

Консул даже крикнул от удовольствия — мол, как чешет, стервец. Так что с ним мы расстались друзьями. А насчет Парижа был такой мелкий случай, который я тут же забыл. Как-то наш преподаватель-металлист пристыдил меня за то, что я не знаю, какими ресурсами цветных металлов располагает СССР — я сказал, что хорошо бы нам делать такой ширпотреб, как американцы. Я зашел в университетскую библиотеку и взял большой том международной статистики — ликвидировать свою безграмотность. В автобусе меня кто-то спросил, что это я, химик, мировой статистикой увлекся. Что-то надо ответить, и я говорю: “А разве вы не знаете? Я же отсюда еду в Париж, буду в ЮНЕСКО работать”. Кажется, ясно, что хохма. Оказывается, приняли всерьез и запомнили. В общем, напоследок мы с женой повеселились и на характеристику решили наплевать — черт с ней, с заграницей. Настроение было прекрасное.

Вся эта история ясно показала, что нечего человеку трястись от страха перед системой. Вовсе она уже была не всесильна, и если ты брыкаешься, ничего тебе сделать не могут. Надо только иметь крепкий тыл — не делать самому гадостей, которыми тебя можно шантажировать, и не ожидать каких-то добавочных благ. Люди слабы, когда клюют на соблазн мелкой коррупции, который подсовывает подлое начальство, или хотят урвать что-то лишнее. Тогда, конечно, ты на крючке.

Для всей моей дальнейшей жизни этот опыт имел очень большое значение. Не надо бояться! Все эти разговоры о монолитности, иррациональности и жестокости системы, которая якобы может запросто перемолоть любого, чушь. Это искусственно созданный страх. Тоталитаризм отошел в историю — независимо от воли начальников, они вовсе не всесильны. Тоталитаризм возникает лишь тогда, когда он в нас самих, когда мы нутром ощущаем его необходимость. А если мы чувствуем, что он не нужен, неразумен, то и не действуют угрожающие маски начальника и парторга. Они могут не дать тебе каких-то благ, но они уже не могут отнять у тебя твои фундаментальные права. Долой страх, только не клюй на приманку!

Кстати, дальнейшее лишь подтвердило этот вывод. Это уже не такая важная история, но забавная.

Уехав из Сантьяго, я надолго застрял в Гаване — мне в Москве не дали обратного билета. Это была райская жизнь. Удовольствия от роскоши, бассейн, прогулки. А днем уезжал в Национальный центр научных исследований, работал в роскошной лаборатории. Сказка! Здание изумительной красоты, построено молодым шведским архитектором, который явно был в ударе — соединил форму ладьи викингов с китайской пагодой. Центр этот только вставал на ноги, большую роль в его организации играл Хуан Бланко, “советский испанец”. Он был видным летчиком-республиканцем, крупным командиром ВВС Республики. После войны уехал в СССР, выучился на химика, стал видным ученым — и вот, приехал на Кубу создавать этот научный центр. Людей там не хватало, он меня давно знал и был рад, что я пришел поработать, оживил лабораторию. За месяц удалось много сделать — еще бы, с такой аппаратурой.

Как-то, гуляя по Гаване, я проходил мимо советского посольства и подумал: а не зайти ли мне поговорить о моей характеристике. Тут я никого лично не обидел, может, спокойно разберутся. Надежд на это я никаких не питал, но и греха гордыни на душу брать не хотелось. Зашел к секретарю парторганизации “всея Кубы”. Это была важная фигура, что-то вроде “парторга ЦК”, какие бывали в 30-е годы. Встретил меня спокойный и умный человек. Дело мое он знал — “с той стороны”, — попросил изложить мою версию. Я изложил. Про мои технические предложения кубинцам он тоже какие-то сигналы имел, но сразу сказал, что это глупость, об этом и не говорили. Прочитал характеристику. Спросил, что имелось в виду под “неправильной политической ориентацией”. Ничего не имелось, просто штамп. Он это тут же вычеркнул, как и “несамокритичность”. Поймите, говорит, что трудно людям за границей жить, стресс, вот и создают проблемы на ровном месте. Но “неправильное личное поведение” это, говорит, верно сказано. Вы молодой человек, а полезли в бутылку, стали оскорблять людей гораздо старше вас. Это вам упрек разумный. Что ж, я не мог не согласиться.

Кроме того, мы с ним поговорили о том, как следовало бы улучшить организацию научной помощи Кубе. Через год он был в Москве, нашел меня, и мы с ним снова на эту тему долго говорили. Задача нам была ясна, и средства для нее были, но многое упиралось в систему управления внутри СССР, а это менялось медленно. Но, конечно, менялось, и в лучшую сторону — да потом все покатило не туда.

В общем, приехал я в Москву, пошел отчитаться в Министерство высшего образования. Тот молчаливый человек, что отправил меня на Кубу без контракта и без билета, уже там не работал. Сидел другой человек, подавленный полным беспорядком в делах. Схватился за меня: “Вы с Кубы, вы всех там знаете? Разложите личные дела хотя бы по провинциям, я не знаю, кто где находится”. Полез я в шкаф — какое по провинциям, там дела по разным папкам перемешались — половина дела Иванова лежит в папке Петрова. Помог я ему. Заодно смотрю — мое дело в папочке. Раскрыл — вот она, характеристика. Ну, думаю, тут ей не место. Вырвал и в карман сунул.

Проходит года полтора, начинают меня снова звать на Кубу — уже в Национальный центр в Гаване. Контракт через “Внештехнику”, все такое. Я соблазнился — лаборатория там прекрасная, друзья ждут, работы начаты очень интересные, денег дома нет, экономить еще не научились. Ладно, говорю, оформляйте.

Во “Внештехнике” оформлял меня мужик из бывших военных, все сделал четко и быстро. А дальше застопорило. Не могу, говорит, найти вашу характеристику за прошлую поездку, а без нее нельзя. Вы откуда на Кубу ездили? Я начал темнить, мол, сам я из Академии наук СССР. Искал он, искал, не нашел. Я думал, плюнут и так оформят — нет, никак. Он не знает, что делать, нигде нет. Но, видимо, в каждом учреждении специально держат умного человека, который всякие дела распутывает. Не знаю, есть ли такая должность или с должностями мухлюют, но человек такой всегда есть. Так и тут, вдруг повел меня мой патрон в какой-то кабинетик, сидит там невзрачная женщина, но и по глазам ее видно, что она — на реальной должности умного человека, И вид у нее усталый — трудно такому человеку жить. Она с двух слов поняла проблему и спрашивает меня: “В каком учреждении вы получали паспорт?”. Тут деться некуда, все раскусила. Я говорю: “В Минвузе”. “Там характеристика”.

Мой мужик обрадовался, сейчас, говорить, пошлю курьера. Да бросьте, говорю, я как раз туда по делу собирался — зайду и возьму. Позвонил я домой тому “парторгу ЦК” с Кубы, он уже в Москве на какой-то большой должности работал. Говорю:

— Опять приглашают на Кубу, в Национальный центр.

— Ну что ж, прекрасно. Поезжайте.

— Характеристика у меня плохая, могут не пустить.

— Что же делать. Разберутся...

— Да я ее украл. Теперь не знаю, возвращать или обойдутся.

— Неужели украли? Вот никак бы не подумал, что вы на такое пойдете. Да... Вы вот что, лучше верните, иначе дело не сдвинется. А если заартачатся, мы вам другую характеристику дадим. Здесь, в Москве, как раз Квасов [культурный атташе на Кубе] находится, он подпишет и я.

Теперь у меня встала проблема — как вернуть. Известно, вернуть труднее, чем украсть.

Пошел я в Министерство, говорю тому человеку: “Здравствуйте. Помните, я у вас свою характеристику брал? Теперь хочу вернуть”. Он изумился: “Какую характеристику? Из личного дела? Как я мог вам ее отдать?”. Я опять: “Помните, я вам тут помогал дела в порядок привести, а меня как раз хотели в делегацию включить, срочно характеристику требовали. Вы и дали по дружбе”. Он напрягся, что-то вспоминал. Достал я характеристику, показал ему и говорю: “Теперь меня опять оформляют, так, может, я сам ее отнесу?”. Он вздохнул с облегчением: “Забирайте”.

Отнес я эту бумажку по “Внештехнику”, отдал. Прочел ее чиновник, удивился: “Что это такое — неправильное личное поведение? Что ты там натворил?”. Да, говорю, начальника группы и парторга на собрании подонками назвал. Он хмыкнул, с каким-то удовольствием, подколот характеристику к делу — и я поехал на Кубу.

Такова уже была наша советская тоталитарная система.

Конечно, те начальники на Кубе, которые на время из обычных преподавателей вдруг превратились во власть, тогда помытарили меня, были безжалостны — до определенного предела. В этой их жестокости было что-то детское. Бывает такой возраст, когда ребенок уже может стукнуть тебе по голове молотком, у него уже есть сила, но нет понимания. Глядя на них и даже отвечая им жестокостью, я не только не испытывал ненависти или хотя бы неприязни к советской системе, это мне показалось бы верхом идиотизма, но у меня не было ненависти и к этим людям. В них было почвенное, очень близкое, “скифское” хамство. Оно должно выходить из человека по капле, и оно выходило. Я бы сказал, выходило в нашем народе очень быстро — по историческим меркам. Есть у меня такое чувство, которого я не берусь обосновать, что насильственное “изгнание” этого скифского хамства из западного человека (через возведение на пьедестал индивида с его правами) породило нечто худшее, куда более страшное. Хотя, может быть, и удобное.

К тому же я смутно чувствовал, хотя и не давал хода этой мысли, что *по большому счету* я в том конфликте был не прав. Именно по большому счету — ведь когда тебя пытаются стереть в порошок, тебе не до большого счета, надо решать срочную и жизненно важную проблему выживания. Но потом полезно рассудить и по большому счету. Получается такая картина.

То, что начальство обозлилось на меня гораздо сильнее, чем на того, за кого я заступился, понятно. У того вина была частная и ограниченная, а я поставил под сомнение само их право судить да рядить, а также те процедуры, которые они считали справедливыми и уместными. То, что я в этом нашем принципиальном столкновении не только не пошел на попятную, но еще и проявил увертливость, сделало меня в их глазах опасным смутьяном, которого обязательно надо было усмирить.

Вот, они хотели немного проучить человека, тяжелого в общении — он мучил студентов “ленинским определением материи”, донимал своих земляков занудливыми и мизантропическими комментариями. Они только хотели привести его в чувство, заставить уважать других в трудных условиях заграницы. Я по сути против этого и не возражал — но прицепился к их *методу*. И тут по большому счету они были мудрее и гуманнее меня.

Нас загнала в тяжелый конфликт недоговоренность, отсутствие навыка уклончивого диалога. Парторг, если бы умел формулировать ускользающие вещи, которые он интуитивно понимал, мог бы сказать мне примерно следующее: “Наше наказание было бы ритуальным и даже абсурдным, это всем было понятно, но для него оно стало бы предупреждением. Он бы смекнул, что все мы чем-то недовольны, но наказание не было бы для него разрушительным. Ах, он предложил кубинцам неактуальные темы! Придя домой, он сказал бы жене: эти идиоты ни бельмеса в химии не смыслят.

А теперь представь, что мы обвинили его именно в том, в чем он действительно виноват: ты, мол, страшный зануда и пессимист, с тобой рядом находиться людям невозможно. Каково было бы ему и его семье? А ведь это именно то, чего ты от нас требовал с твоей глупой выходкой на партсобрании”.

Но парторг формулировать не умел, да и стеснялся. А я, перейдя грань, уже не мог остановиться.

* * *

На Кубе, вдали от России, во мне улеглось и даже слегка успокоилось то, что было заложено советским воспитанием, нашей бурной, невыносимо напряженной советской жизнью 40-60-х годов. Рано утром в Сантьяго меня будило пение множества боевых петушков, которые перекликались от одной труппы к другой. Несмотря на закон, запретивший петушьи бои, старики в лачугах продолжали этих петушков выращивать, и они кукарекали, привязанные за лапку к колышку. Это солнце и это бодрое пение наполняли сердце радостью. Ночью все затихало, и без пяти двенадцать кто-то проезжал по проспекту мимо моего дома верхом, цокая подковами. Стук копыт слышался издали, когда он спускался с холма, въезжая в город. Видно, этот человек где-то работал ночным сторожем и ехал из деревни. Целый год каждую ночь я ждал топота его лошади, идущей рысью — и ни разу он не заболел и не опоздал. Один только раз он чуть-чуть задержался, с холма пошел галопом. Когда я его слышал, на душе становилось спокойно — и сон был крепким, до петухов. И все это на Кубе опиралось плечом на силу и мысль советского строя.

Как жадно ждали наши демократические интеллигенты, чтобы эта Куба рухнула без СССР, озверела от голода, разложилась. Как сладострастно они смаковали каждое издевательское сообщение. Ура, на набережной Гаваны опять появились проститутки! Ура, потребление белка на Кубе снизилось ниже физиологически допустимого уровня! Ура, нет горячего для автобусов — на улицах появились рикши. Как их бесило, что не растет на Кубе детская смертность, не закрываются школы. Насколько люди, проникнутые нашим “скифским” хамством, благороднее и добрее, чем эти защитники прав человека.

Куба выкарабкивается, хотя еще ждут ее самые трудные времена — смена поколений. Молодые ее интеллигенты, у которых в детстве уже не было рахита и костного туберкулеза на почве голода, не верят, как и мы в 80-е годы, что голод существует. Во всяком случае, не верят, что он может ударить и по их лично детям. Но им уже нестерпимо скудное для всех существование. Они, уверенные, что желают улучшить любимую социалистическую систему, “не знают общества, в котором живут”.

Последний раз я был в Гаване в октябре 1999 г. Да, по улицам, изнемогая на подъемах, везут седоков рикши на тележках, построенных из велосипеда. Молоденький полицейский ведет девочку-проститутку, будет говорить с родителями. Слышно, как он ей внушает на простонародном наречии: “Тебе надо учиться, а ты чем занимаешься”. Она гримасничает. В предместье на перекрестке шоссе “желтый человек” (в особом желтом комбинезоне) останавливает грузовики, проверяет путевой лист и сажает, сколько можно, людей, которым нужно ехать в том же направлении. Остальные терпеливо ждут в тени.

Людьми моего возраста и старше там овладела одна мысль, полная трагизма. Эти люди выражают ее на удивление одинаково — значит, она витает в воздухе. Рикша остановился передохнуть около меня на набережной. Разговорились. Он сказал: “Пока старики у власти, мы живы. Придут молодые — и продадут нас, как Горбачев продал вас”. Вечером, по холодку, гулял старик с внучкой — нарядной, в красивом платьице, счастливой. Перекинулись парой фраз. Он сказал: “Пока старики у власти, мы живы. Придут молодые — мы все подохнем”. Чем я мог его утешить? Только тем, что подохнут не все. На завтра — лекция перед студентами гуманитарных факультетов. Светлые лица. Родина или смерть! Говорю о перестройке, о результатах либеральной реформы — формально верят, а за живое не берет. Понятия “мы подохнем” нет в их интеллектуальном аппарате.

В день гибели Камило Сьенфуэгоса, как обычно, все школьники Гаваны двинулись к набережной — бросить в море цветов. Все в красивой, отутюженной форме, все веселые и здоровые. За время, пока я там не был, лица детей стали тоньше, повадки сдержаннее, разговор насыщеннее. Какой контраст с тем, что я видел за эти годы в Мексике, Бразилии и даже Уругвае. Куба вырастила поколение юных аристократов — не на свою ли голову? Увидим, но иначе воспитывать детей никто не хотел. Сложное общество потому и хрупко.

Из гавани вышел и пошел вдоль набережной военный корабль, ракетносец. Сильное волнение, он почти скрывается между волнами. На палубе неподвижно строй матросов в парадной форме. Будут бросать большой венки. Корабль догоняют военные вертолеты, дверцы

открыты, видны венки. Вдоль набережной — десятки и десятки тысяч детей, с восторгом смотрят и на красивый кубинский корабль, и на вертолеты. Я тоже смотрю — они построены еще в СССР.

Что печалит испанских моряков

В начале 1992 г. случайно познакомился я в Испании с человеком, который много повидал на свете и в то же время почти всю жизнь прожил в отрыве от прессы и телевидения. С юных лет и до седых волос он плавал моряком на самых разных судах и под разными флагами. Тогда, в 1992 г., был капитаном испанского рыболовного флота. Плавает по полгода, приехал в Сарагосу в отпуск (сам он баск) и зашел навестить друга в университет. Так мы встретились, разговорились, быстро подружились (до сих пор он — мой близкий друг). А назавтра я уехал с лекцией в маленький городок в ста километрах, за Уэской. Он взялся меня подвезти на машине, а там остался и на лекцию, а потом часть аудитории переместилась в ресторанчик, где проговорили почти до утра. И простые суждения этого человека были для меня, избитого демократической пропагандой, как глоток свежей воды в жару, хоть и наговорил он мне неприятных вещей. Хочу этим глотком поделиться, пересказываю вкратце, но почти дословно.

То, что произошло с СССР, сказал Эдуардо Гарсия Осес, — большое горе для очень многих во всем мире, даже для тех, кто вроде бы радуется краху коммунизма. И дело не в политике. Без опоры оказались и те, кто считал себя антикоммунистами. И не из классового сознания надеялись люди на СССР, не потому, что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Все это давно не так, и на Западе рабочий — это тот же буржуй, только без денег. А надеялись потому, что у вас говорилось: «Человек человеку — брат». А по этому тоскуют *все*, что бы они ни говорили на людях.

Потому что чувствуют себя здесь все, как мухи, прилипшие к клейкой бумаге. Бумага эта сладкая, и вроде бы ты сам к ней тянулся, а прилип — и стало тоскливо. Спротивляться всей этой пропаганде «Нового мирового порядка», которая лезет тебе в душу и через прессу, и через рекламу, и через витрины, у человека нет сил. Он сдается, но у него всегда была уверенность, что есть на свете Советский Союз и есть очень культурный советский народ, который на сладкую приманку не клюнет и к бумажной ловушке не прилипнет — а там, глядишь, и нам поможет оторваться. И что же мы видим? Этот-то народ и увяз глубже всех и поверил в совсем уж невероятную ложь. Если это так — все меняется в мире.

Смотри, — говорит Эдуардо, — как из человека делают марионетку. Стоим мы в порту в Нигерии. Рядом — кубинский корабль. На берег кубинцев власти не пускают — мол, на Кубе нет демократии. Кто же это такой чувствительный к правам человека? Военный режим Нигерии, явные фашисты, которые уничтожили целые племена, миллионы людей, никто и не знает точно, сколько. Но они — свои для Буша и рады ему услужить, как раньше были своими все диктаторы, что Батиста, что Сомоса. А сегодня то же самое в Анголе. Буш, да и ваши, наверное, все требовали от Анголы свободных выборов. Когда я бывал в Анголе, мне говорили: если будут выборы и победит нынешний режим, нам устроят мясорубку. Так и получилось. Савимби устроил в Анголе кровавую баню, и никакая ООН наводить порядок не собирается.

Но дело-то не в диктаторах и не в Савимби. Вот нигерийский докер. Все, что у него есть — кусок мешковины прикрыть наготу. Получает гроши — и миску риса с кукурузной мукой. Живет в хижине из листьев, мы к нему заходили. Вместо мебели картонный ящик. Детей бросил — прокормить не может, а видеть невыносимо, как умирают один за другим. Грузит каждый день какао и арахис — лучшая земля Нигерии «работает» на Европу и Америку. И он понимает это, и понимает, почему сам в жизни ни разу не пробовал шоколада из нигерийского какао. И в то же время — тычет пальцем в кубинский флаг: «Ах, боюсь Кастро!» Ну чего тебе-то бояться? «Как же, у них нет демократии». Да что такое демократия, что она тебе? «У них нет свободы!» Какая к чёрту свобода, ты сначала детей должен накормить, они у тебя с голоду мрут! Молчит, сжимается, чувствует, что всю эту чушь о демократии ему в голову вдолбили, и она ему дороже детей стала. Так вот этот-то докер и страдает, что СССР рухнул. Значит, все. Теперь установлено во всем мире, что дети — чушь, а многопартийность — самое главное в жизни. А он втайне надеялся, что кто-то поставит этот мир с головы на ноги.

И спрашивает меня с надеждой Эдуардо: «Неужели и у вас в России думают так же, как этот докер? Ведь он-то в школе вообще не учился, а у вас инженер на инженере». И не могу я его утешить. Да, говорю, думают примерно так же, и в первую очередь как раз инженеры. Хотя дети у них пока с голоду не умирают, но даже если и до этого дойдет, они от этой демократии не отступятся. Ведь сейчас у нас много партий — такое счастье.

Да, кое для кого многопартийность важна, — соглашается Эдуардо. Для тех, кто стал болельщиком политики. Один болеет за одну команду, другой за другую — чья возьмет? Но увидишь, что скоро и у вас таких болельщиков станет немного. Футбол и интереснее, и честнее политики. А вообще-то это к демократии никакого отношения и не имеет. Я во всех портах бывал — и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. Таковую-то демократию везде установили, везде и парламенты, и многопартийность. Да разве это хоть чуть-чуть мешает грабить страну или расстреливать крестьян? Посмотри, что сделали с Латинской Америкой. Я после войны плавал на пассажирских судах. Мы туда возили полные пароходы — каждый месяц тысячи человек. И в Аргентину, и в Уругвай. Земля богатейшая, население — те же европейцы, не скажешь, что, мол, негры, не умеют работать. А сегодня все они, если бы смогли, переплыли бы океан обратно в Европу. Производство у них каждый год растет, а все уходит на оплату долга, да и долг-то увеличивается. А теперь мы слышим, что и СССР полез в эту яму к Международному валютному фонду. А ведь всем уже точно известно, как она устроена — вылезти невозможно.

Вы говорите — коррупция была в СССР. Вы еще не представляете, что такое коррупция в обедневшей стране. Там все коррумпированы, и иначе быть не может. Когда заходишь в порт, нормально для проверки судна являются 4 человека — из порта, из полиции, из таможни и санитарной службы. А сейчас зайди в любой порт в Африке или Латинской Америке. К тебе плывут человек тридцать. Выпьют, закусят, а потом каждому надо дать в лапу. И сердиться на них нельзя — семью прокормить не могут, а мы почти со всеми знакомы много лет.

Если уж говорить о демократии, то вот тебе простой показатель — врач на судне. Если общество ценит рыбака или моряка как личность, а не как рабочую силу, оно тратится на врача, это-то и есть демократия. Потому-то наши испанские капитаны как придут в район лова, первым делом выясняют, где находятся ближайшие кубинские или советские суда, и стараются, чтобы они всегда были в пределах досягаемости. Потому что у кубинцев и у вас на любом судне есть врач, а во время лова чуть не каждый день травмы, то палец оторвет, то крюком зацепит. И люди чувствуют себя спокойнее, когда знают, что если дело серьезно — прибудет катер с кубинским врачом, поднимется он со своим чемоданчиком и даже, если надо, операцию сделает. И денег не возьмет — засмеется. Сегодня вам на это наплевать, а посмотрим, что скажут русские рыбаки завтра, когда останутся без врачей, а операции им будет делать боцман с консультациями по радио. Это у нас — вершина прогресса.

Или вот еще — ты скажешь, мелочь. Раньше у советских почти на каждом судне был биолог. Мы всегда удивлялись, откуда у них столько ученых. А для нас очень было важно, что кто-то рядом изучает море, и нас спрашивает. То и дело по радио просят советские капитаны: привет, Эдуардо, там у тебя мерлуза идет, вскрой пяток, посчитай, что там у нее в желудке — нашему биологу надо. Думаешь, это для рыбака неважно — чувствовать себя членом экипажа, который не просто гонит треску, а и ведет научную работу? Важно, да вы на это наплевали. И будут завтра ваши рыбаки и без врачей, и без биологов.

Будет ли только это завтра у русских рыбаков? Что-то их стало почти не видно. А когда видно, тошно смотреть. Раньше советские суда были самые чистые и самые красивые. А сегодня они похожи на пиратские. Не ремонтируют, не красят и даже не прибирают. В последнем рейсе зашли мы в Салерно, в Италии. Стоит рядом русское судно, уже под чужим флагом. А капитана я давно знаю. У судна толчется портовая шпана — русские распродают контрабанду, привезли ящики с американскими сигаретами. Потом смотрю и глазам не верю — продают канаты с судна, а один тащит банки с краской. Корабль весь ржавый, а краску продают. Спрашиваю капитана — что творится? А он смеется. Хочешь, говорит, продам тебе корабль? Покупай, Эдуардо, судно почти новое.

Что же вы это, сволочи, сделали со своей страной?

На этот вопрос испанского моряка я не нашел ответа. Мы и сами еще не понимаем, что же

мы, сволочи, сделали со своей страной.

Бедность: личный взгляд

Хочу изложить некоторые сугубо личные впечатления от моих первых столкновений советского человека с бедностью в буржуазном обществе. Именно такая бедность, как считается, должна установиться в России после стабилизации нынешнего «демократического» порядка. Это — совсем иная социальная ситуация, чем та, которую мы видим при нынешнем массовом обеднении все еще советских людей. Поэтому наше невольное представление о будущем как простом воспроизводстве, чуть хуже или чуть лучше, того, что мы видим сегодня, — ошибочно.

Мы как народ переживаем нынешнее обеднение как *общее* бедствие — типа разрушительного землетрясения всей России или какой-то странной войны. Это бедствие пока что не делит нас на две несоизмеримые и несовместимые «расы». Скорее, нам кажется, что временно образовалась маленькая больная «раса» богатых — «новых русских». Их можно жалеть или ненавидеть, но их появление не разрушило народ, потому что он-то по своим основным признакам остался именно народом, не разделившись на расы. А «больные», когда страна вернется в норму, или уедут, или вылечатся (не без помощи лекарственных средств).

Такое ощущение сохраняется потому, что, во-первых, в России обеднело именно подавляющее большинство граждан, так что они друг друга «разумеют». У всех них еще сохранилась данная общим образованием единая культурная основа, один и тот же способ мышления и рассуждения, один и тот же язык слов и образов. Все это сильно подпорчено телевидением, но и подпорчено почти одинаково у всех. Подавляющее большинство наших бедных имеют еще жилье, а в квартире свет, водопровод, отопление, книги на полках. Все это «держит» человека на весьма высоком социальном уровне.

Совсем иное дело — бедность в классовом (или почти классовом) обществе, в трущобах большого капиталистического города. Здесь бедность приобретает новое качество, для определения которого пока что нет подходящего слова в русском языке. Вернее, смысл слова, которым точно переводится на русский язык применяемый на Западе термин, у нас совсем иной. *Бедность* (*pobreza* — исп., *poverty* — англ.) в городской трущобе на Западе для большинства быстро превращается в *ничтожество* (*miseria* — исп., *misery* — англ.).

Что же это такое — ничтожество? Это, прежде всего, бедность неизбывная — когда безымянные общественные силы толкают тебя вниз, не дают перелезть порог. Кажется, чуть-чуть — и ты вылез, и там, за порогом, все оказывается и дешевле, и доступнее, и тебе даже помогают встать на ноги. Мы этого пока еще не знаем и не понимаем.

В такой ситуации очень быстро иссякают твои собственные силы, и ты теряешь все личные ресурсы, которые необходимы для того, чтобы подняться. У нас мы это видим в среде небольшого контингента опустившихся людей, прежде всего алкоголиков, но это другое дело, они в каком-то смысле счастливы и не хотят оторваться от бутылки. Ничтожество — это постоянное и тупое желание выбраться из ямы, и в то же время неспособность напрячься, это деградация твоей культуры, воли и морали.

Переход людей через барьер, отделяющий бедность от ничтожества — важное и для нас малознакомое явление. Если оно приобретет характер массового социального процесса, то вся общественная система резко изменится — а наше сознание вообще пока что не освоило переходных процессов. Надо наблюдать и изучать то, что происходит на этой грани, в этом «фазовом переходе». На Западе, я считаю, важный опыт имеет католическая церковь, помогающая, с небольшими средствами, *удержаться* людям в фазе бедности или даже перейти в эту фазу «снизу».

В Сарагосе, богатом городе Испании, исторический центр застроен зданиями X-XIII веков. На реставрацию всех этих зданий никаких денег не хватит, и эти руины заселили бездомные. Странная трущоба в самом центре города — беднота живет во дворцах, но без воды, света и канализации. Только крыша, которая вот-вот рухнет. Церковь отремонтировала пару комнат, в одной сделала три кабинки душа, в другой поставила три стиральные машины. За сто песет (1 доллар) можно принести свое тряпье и постирать. Такая мелочь, а около сотни

семей воспрянули духом. Дети-подростки впервые в жизни помылись в душе, и он их восхитил. “Какое счастье — мыться в душе!” Может, это чисто телесное ощущение для многих из них станет соломинкой, вытянувшей из ничтожества в бедность.

Конечно, мы в России должны думать о восстановлении достойной жизни *для всех*, хотя поначалу она и будет на грани бедности. Но пока произойдет переход рычагов хозяйства в здоровые руки, надо создавать и временные вспомогательные механизмы для того, чтобы помочь людям удержаться от разрушения крайней бедностью. Надо вовремя услышать какой-то знак, звук, не дать себе привыкнуть. Тут опасна ложная мудрость, которую нашептывает телевидение: мол, все эти наши бедные — профессионалы, а доходы у них, как у банкиров. Это соблазнительная, но лживая мысль. В 1999 г. я был в Испании и ехал утром в метро. Подошла женщина с ребенком, протянула руку. Взглянула таким взглядом, что было понятно — надо дать денег. Этим взглядом, я бы сказал, не злоупотребляют. Рядом стояли двое русских с переводчиком, видимо, предприниматели. Один говорит: “Я бы лучше голодал, но просить не стал”. Я ему говорю: “Это особенно убедительно звучит после сытного завтрака, который вы только что съели”. Он ничего не ответил, замолчали.

У меня был тяжелый опыт, когда я из благополучного еще СССР поехал в 1989 г. работать в Испанию. Купил старую машину и ездил — где-то на защиту диссертации оппонентом, где-то лекция. На каникулы приехала ко мне дочь, и мы как раз поехали большим маршрутом. Надо было пересечь Кастилью-Леон — равнина, до горизонта пшеничные поля, жара страшная, ни деревень, ни городов. На шоссе в одном месте был ремонт, для проезда по очереди в один ряд был поставлен временный светофор, и около него расположился парень с ящиком. Там у него был лед и банки кока-колы. Когда машины останавливались на красный свет, он подходил и уговаривал купить. Подошел ко мне, я отказался — экономил, все деньги тратили на поездки по Испании, когда еще такой случай будет. Он уговаривает. Я говорю: “Посмотри на мою машину. Мне ли шиковать. Вон у меня на сиденье бутылка из магазина”. Он опять: “Ну, купи девушке холодной!”. Я говорю: “Нет” — и тут как раз зеленый свет, я тронул. Он протянул руку и крикнул: “Ну помоги же мне!”. А меня уже сзади подпирали, и я уехал, а в ушах так и стояли эти его слова. Вот уже одиннадцать лет прошло, но стоит бессоннице одолеть, как вдруг слышу: “Ну помоги же мне!”. Этот парень держался.

И какое же тяжелое зрелище представляет собой человек, впадающий в ничтожество — даже если он формально не так уж беден. В 1992 г., перед конференцией “Рио-92” я был на одном из подготовительных симпозиумов, собранных там же, в Бразилии. Мы были в городе Белен, в Амазонии, и в первый день нас повезли на экскурсию. С нами был молодой переводчик из США, полиглот и лингвист. Около собора было много старух, просящих подавание. Ко мне подошла одна из них, очень худая и в черной одежде. Долго и сурово говорила, я не все понял, но почувствовал, что надо дать ей денег. Деньги я обменял ночью в аэропорту, все бумажки были одинаковые, я еще в них не разобрался и дал ей одну. Это было много, потом оказалось, что около 50 долларов, но так и так, делать было нечего, не просить же сдачу. Старуха взликовала, подняла эту бумажку и пошла, показывая ее своим подругам. Все они стали подходить ко мне и благодарить, никто из них не просил еще, все это было очень достойно. Переводчик, стоявший рядом со мной, сильно возбудился, просто перекосило его. Говорит мне: “Зачем вы столько ей дали? Ей хватило бы мелочи. Лучше бы вы дали мне. Я, филолог и лингвист, делаю вторую диссертацию. Я веду важное исследование — и вот, вынужден отвлекаться и ездить на эти конференции переводчиком, чтобы заработать денег. А вы, вместо того, чтобы поддержать меня, дали этой неграмотной старухе, которая и денег-то таких никогда не держала”. Что угодно я мог ожидать от молодого американского доктора двух наук, но не этого. Мы и сами-то в 1992 г. получали какую-то символическую зарплату, раз в сто меньше этого переводчика. Человек свихнулся от страха перед бедностью и свалился в ничтожество.

В 1971 г., работая на Кубе, я видел по телевидению известный фильм, шедевр американского кино, «Держатель ломбарда». В бедном квартале Нью-Йорка старик-еврей, пострадавший от нацистов и уехавший в США, держит маленькую лавочку-ломбард, дает под заклад небольшие деньги (как старуха-процентщица у Достоевского). В фильме есть сложная психологическая драма, аналогия между нацизмом и человеческими отношениями в этом квартале, где заправляет мафия, но меня поразило не это, а именно тип бедности обитателей

квартала. Они приносят последнее, что у них есть, и торгуются со стариком, умоляют его накинуть доллар-другой. Супруги приносят в заклад туфельки их умершего ребенка, молодой человек — золотую медаль из колледжа и т.д. Вынужденная жестокость доброго ростовщика, рыдания, семейные истории.

Обсуждая назавтра с кубинцами в лаборатории этот фильм, я сказал, что он сделан очень художественно, найдены сильные символические аллегории. Мне с жаром возразили люди, которые жили буквально в этих кварталах. Эта сторона фильма, сказали они, сделана не то чтобы реалистично, а прямо-таки натуралистично — все так и есть, тип быта и детали переданы абсолютно точно. Именно в таком положении живут люди. Разговаривая об этом в Бразилии, я узнал важную вещь: вырваться из этого состояния ничтожества можно только совершив скачок «вниз» — в *антиобщество* трущобы, в иной порядок и иной закон. Понимаем ли мы это?

Даже в благополучной и более уравнительной, чем США, Европе бедные отделены от общества, а если еще и стоят в нем одной ногой, то это их состояние нестабильно. Привез меня друг в Испании погостить в свою деревню. Вышли мы погулять в поле, идет навстречу с речки старик с ведром. Друг говорит: «Это у нас в деревне красный». Поравнялись, друг говорит старику: «Эвенсио, ты у нас коммунист, а вот человек из Москвы». Старик испугался: «Что ты, какой я коммунист, это ты слишком. Левый, это да», — и пошел дальше.

Был он в республиканской армии, после поражения бродил, выполнял за бесценок самую тяжелую работу. Смог вернуться в деревню в конце 70-х годов, починил дом, работает на своем клочке земли, голосует за коммунистов. Вернулись мы в деревню уже в темноте, старик поджидает у своей двери: «Неужели сеньор из Москвы? И Красную площадь видели?». Потом я спросил у друга: что же старик в темноте к нам подошел, ведь все дома в деревне прекрасно освещены? Оказывается, не имеет этот старик ни света, ни водопровода — дорого. Задержался один бедняк в деревне, некуда больше идти. А где же остальные? По городам, по трущобам, там есть шанс хоть что-то заработать. Треть домов по деревням заколочена, а много поселков совсем пусты. Едешь ночью по малым шоссе — много деревень-призраков. А в городах целые районы превращены в трущобы.

Когда я впервые выехал за границу вне социалистического лагеря (в 1983 г. в Индию), меня потряс вид страданий от бедности детей — их переживание голода и первые связанные с этим духовные травмы. Это чувство трудно передать. Тяжелые сцены начались прямо по пути от аэропорта. Дело было в феврале, и по ночам в Дели было довольно холодно, а на газонах ночевало множество людей, имевших всего лишь кусок мешковины в качестве набедренной повязки. Кое-кто неподвижно лежал и днем — жив он? Умер? Мы проезжали мимо строительства тридцатизэтажного дома, подъемных кранов у него не было, наверх, как муравьи, поднималась вереница девочек (может, девушек, но худеньких), несущих на голове по два кирпича.

Небольшие деньги, которые у меня были, у меня в первый же выход в город вытрясли большие мальчишки. У них выработан для этого целый набор остроумных приемов, от которых новичку спастись трудно. Я бы так и провел все дни на конференции да в гостинице, но меня пригласил на рынок делегат из ГДР, у него были деньги. Мы шли по улице, и он ловко и резко отмахивался от мальчишек. Я на момент отстал, ко мне подбежал мальчик лет четырех. Он стал мне протягивать старую газету, как бы продавая ее и, поскольку я невольно остановился и наклонился к нему, он решил, что я ему дам монету. Но у меня ничего не было, и его нервы не выдержали этого перехода от надежды к отчаянию. Он зарыдал и затопал ногами, прыгая на месте. Видно было, что он голоден, живот вздут, слезы залили все лицо.

Я обошел с немцем рынок, потом поехали по гостиницам на такси-мотороллере. Он жил в городе, а я на окраине, километров за пять, через огромный лесопарк. Он видит, что у меня нет денег, и дал мне сколько-то рупий одной бумажкой — заплатить таксисту. Не помню, почему, но я ее зажал в руке. Водитель остановился у бензоколонки, и ко мне подбежала девочка лет восьми, в платье из мешка. Она вцепилась в мою руку с этой бумажкой и стала ее просить, тыкая пальцем себе в живот и в рот — мол, хочет есть. Вырывая у нее руку с деньгами, я проклял и себя, и этого немца, который увлек меня на экскурсию.

Когда в 1988 г. соратники Горбачева начали выпускать мальтузианские манифесты и утверждать, что бедность — естественное и законное явление, я вспомнил эту девочку и этого

мальчика с газетой — и как отрезало. Для меня эта перестройка стала делом врагов рода человеческого. Одно дело, когда в Индии большая масса интеллигенции и государственных чиновников бьется над тем, чтобы сокращать бедность и поддерживать тех, кто впадает в крайнюю нищету — и другое дело *создавать* массовую бедность в благополучной, развитой индустриальной стране.

В 1984 г. я поехал в Мексику. Здесь детская бедность не такая страшная, к тому же я немного знал их культуру и мог с детьми объясниться. Здесь меня поразило другое — люди в пограничном состоянии, в момент, когда они переступают порог, отделяющий один уровень бедности от другого. В центре Мехико здания построены так, что тротуар становится своего рода галереей, отделенной от мостовой рядом колонн. Пешеходы идут в тени. И утром, и даже поздно вечером все нормально, идет поток людей. Но как-то друг провожал меня в гостиницу после полуночи, и я увидел немыслимое зрелище — в этих галереях масса людей с одеялами и сумками устраивалась на ночлег. Это были, что называется, приличные люди. Дети в ночных рубашечках, матери, стоя на коленях, расчесывают им волосы, раскладывают вещи, цепляют вешалку с разглаженными одежками. Рано утром они скатают свои одеяла и исчезнут.

Но сильнее всего меня поразило то, что я увидел в первый день. В этой же галерее, рядом с отелем, стояла очень красивая пара — юноша и девушка, музыканты. Он в черном концертном костюме, она в длинном платье. Очень тонкие лица и хорошее образование. Скрипка и виолончель, играли Бетховена. Видно было, что они — выходцы из состоятельных семей, но какая-то причина сталкивает их вниз, и они пошли на крайнюю меру. Возможно, вышли на улицу в первый раз.

Такое отчаяние и такой ужас был в их глазах, что, казалось, у них уже петля на шее, вот-вот она их потянет от земли. Ничего похожего на уличных музыкантов, которых полно в Мехико и теперь полно в Москве. От этой красивой пары, переступающей порог, исходила такая волна горя, что люди шарахались из этой галереи и обходили это место по проезжей части. Я долго стоял неподалеку — ни один человек им не подал, не кинул монету в футляр. Человек я довольно бесчувственный, но в ту ночь чувствовал себя очень скверно.

Во время перестройки многим из нас, особенно из молодежи, устроили поездки на Запад. Организовали умело. Социологи знают, что при выезде за границу возникает эффект «медового месяца» — все кажется прекрасным, глаз не замечает ничего дурного. Длится это недолго, пелена спадает, и за изобилием сосисок, витрин и автомобилей начинаешь видеть реальную жизнь, и тебя охватывает неведомая в России тоска. Ощущение изнурительной суеты, которая бессмысленна и в то же время необходима. Это — конкуренция, «война всех против всех».

Я в 1989-90 гг., когда я был в Испании, тема России была в моде, и у меня как-то взяли большое интервью для журнала. Под конец спросили, не хотел бы я остаться жить в Испании. Я люблю Испанию, но признался, что нет, не хотел бы. Как так, почему же? Я подумал и ответил попроще, чтобы было понятно: «Качество жизни здесь низкое». Еще больше удивились и даже заинтересовались. Как объяснить, не обижая хозяев? Говорю: «Я привык, чтобы ребенок на улице называл меня дядя, а не господин». Не поверили: какая, мол, разница. Пришлось сказать вещь более наглядную: «Выхожу из дома, а в закутке около подъезда на улице старик ночует, зимой. И качество моей жизни от этого низкое». Мне говорят: «Ладно, оставим это. Мы не сможем это объяснить читателю».

Сейчас я и сам вижу, что ничего им не объяснил — ведь и у моего дома теперь стоит нищий старик. Тогда я такого не предполагал. Сейчас видно, что нас затягивают в ту же яму, но не затянули еще. Я чувствую, что при виде нищего старика в московском метро у людей сжимается сердце. Одни подадут ему милостыню, другие отведут глаза, третьи придумают какое-то злое оправдание — но все войдут с этим стариком в душевный контакт, все чувствуют, что качество их жизни низкое. Стариков, ночующих на улице Рима или Чикаго, просто никто не замечает, как привычную часть пейзажа. Участь отверженных, если они не бунтуют, никак не касается жизни благополучных.

Мы сегодня, видя нищих, в том числе музыкантов, думаем, что и мы дошли до этого уровня — и дальше, укрепись эта демократия, будет примерно так же. Это глубокая ошибка. Наши нищие-музыканты не очень-то сильно отличаются от нас, и особого отчуждения между нами нет. А та пара музыкантов в Мехико, было видно, оказалась в пустоте. Они уже

отторгнуты их прежней «расой», но они чужие и не хотят, не могут стать своими и для «расы отверженных». Если антисоветский режим надолго продлится в России, многим из нас придется переходить такой порог, какого пока что у нас нет и какой мы и представить себе не можем. Ведь пока что, случись какая-то катастрофа, можно выйти к людям и с протянутой рукой. Тяжело будет им в глаза смотреть, но терпимо. А будет другое — другие будут люди и другие глаза.

Уже появилась у нас обширная прослойка людей, у которой глаза уже меняются. Был я в 1988 г. с одним приятелем, который стал потом видным «демократом» (даже в ранге министра при Гайдаре), в командировке в Риме. Дело было зимой. Около гостиницы, где мы жили, спал на улице старик. Вид у него был особенно драматический из-за двух деталей. Во первых, из-под кучи тряпья, которой он был укрыт, валил пар — необычно много. Во-вторых, на себя он положил свою гладкошерстную собаку, и она тряслась крупной дрожью. Зрелище — не забудешь. Как-то позже, в Москве, я по какому-то поводу спросил приятеля: «Помнишь того старика в Риме?». Он удивился: «Какого старика?». — «Как какого? С собакой, около гостиницы!». — «Не видел никакого старика». Говорил он совершенно искренне — он на этого старика в упор глядел и не видел. Так они сегодня и «своих» русских стариков не видят. А мы думаем, что они злые.

Лирическое отступление о «переходном периоде»: далековато от Москвы

Хорошо строить дом. Каждое усилие как будто приобретает смысл. Разум не то чтобы отключается, а переходит в другое измерение. Да и люди вокруг становятся иными — или просто ты их видишь иначе.

Дом я начал строить давно, еще при советских ценах. Благодаря реформе я пребуду в состоянии строительства, видимо, весь отпущенный мне на земле срок. Разочарования оседлой жизни в готовом доме мне, похоже, переживать не придется — не успею достроить.

Каждый год непохож на предыдущий. Время приобрело какой-то неизвестный философам вид. Оно и не следует солнечным циклам, как у крестьян, и не устремлено вперед, в никуда, как у горожан. Экономический базис, говорят, предопределяет надстройку. Видно, еще больше он влияет на постройку — время меряешь ценами. «В те времена, когда обрезная доска была по 50 тысяч за кубометр...». Впрочем, и сами деньги, образ которых стал таким зыбким, мозг давно уже автоматически стал пересчитывать в доски. Наш деревянный рубль — как мне понятны эти слова! Получая где-то гонорар, я не пытаюсь представить себе его ценность в численной мере, но в мыслях хорошо вижу, сколько на него можно купить досок. Прямо ощущаю их вес, запах, занозы в руках.

Строиться втянул меня мой начальник, человек большого оптимизма. Дело было на излете перестройки, уже начали распродавать тайком земли деревень, но еще не пустили на распыл поля и луга. Бензин еще был дешев, так что купили мы участки в далекой деревеньке, около речки. Приехали мы в пустую долинку, а теперь там добрая сотня домов.

Возник странный мир — никто достроиться не может, даже очень богатенькие. Всех захватило это чувство неустойчивости, и людей вроде бы даже пугает сама мысль, что придется остановиться. Что придется вступить в определенную жизнь и уже нести ответственность — за дом и за жизнь. А пока что мы все как будто в походе, идем каким-то обозом. Людей вокруг мелькает много, но они еще вокруг тебя не застыли, как в дачных поселках. И любопытные же видишь вещи.

Когда закачалась наша жизнь, все вокруг стало выглядеть по-новому. И солнце ярче, и трава зеленее, и звуки чище. Сегодня прямо кожей ощущаешь свою смертность, и каждый день — как подарок. Вглядываешься в людей и удивляешься, как же раньше мало видел. Все-таки, большой смысл есть в тех встрясках, которые судьба насылает на страну. Хотя, скорее, встряски вроде нынешней — следствие, а наша прежняя тупость — причина. Вернее, не наша, а моя и мне подобных.

Я не владею словом писателя, лучше мне не пытаться лепить образы, через которые

просвечивала бы какая-то художественная правда. Долгая служба в науке научила даже свои собственные чувства использовать как инструмент, глядеть на себя со стороны и «отбирать» впечатления, которые могут быть полезны для познания.

Здесь я и привожу кое-какие свои впечатления о людях, которых вижу вокруг. Впечатления несильные, потому что слишком яркие использовать как материал для познания опасно. Прибор надежен, когда стрелка посередине шкалы.

Так вот, наша тихая в прошлом деревня. Понаехали многие на иномарках, заложили дома огромные, с фантазиями. Звучали слова «коттедж», «под ключ», но смысл их был туманный. Сейчас, залезая на чердак, и гляжу на все эти «коттеджи» и каждый раз поражаюсь. Все сильнее проступает их настоящая сущность. Это же просто огромные избы! И весь этот поселок «коттеджей», сбоку которого должна была бы потеряться усохшая деревня, стал просто ее продолжением. Он послушно следует за деревней, повторяя все ее черты.

* * *

Те робкие предприниматели, которые еще по зову Горбачева начали зарабатывать деньги хоть что-то создавая, особого интереса не представляют. Злодейство их — какого-то невысокого полета, и веселья большого в них нет. Из моего института было нас поначалу четверо застройщиков, и на нас сделал свой первый бизнес добрый малый Дима. Наверное, он стал и одним из первых предпринимателей в масштабе района. Торжественно покинул он свою скромную службу техника в коммунальном хозяйстве, чтобы «целиком заняться нашим строительством». Мы вчетвером взяли его на зарплату плюс развозы на такси («очень много хлопот»). Считалось, что нам очень повезло, тем более что Дима гордо сказал магические слова: «под ключ».

Но ведь даже багдадский вор совсем иначе понимал свои желания, чем джинн, который их выполнял. Когда цены подскочили так много раз, что я бросил всякие попытки уследить за сметой и забыл исходные расчеты, возник сруб (вернее, конструкция из бруса). Тогда-то и открылся истинный смысл этих слов — «под ключ». Это означало, что в срубе выпилили, слегка наискось, проем, чудом забили в него дверь, уже где-то честно послужившую нескольким поколениям советских людей, на дверь повесили замок, а мне вручили ключ.

Я был счастлив. Тот, кто залезал в сруб своего дома, знает это чувство. Еще по инерции казалось, что денег на дальнейшее строительство можно заработать. Я помчался читать лекции доверчивым испанским студентам, научившись и песеты пересчитывать в доски.

На дворе уже всюду орудовала демократия, ходили страшные слухи о том, как мафиози ставят своим должникам на живот утюг, включают какой-то «счетчик». На проспекте Калинина просил подавание толстяк в расстегнутой рубашке, и на его огромном животе вздулся след от утюга. Подавали ему неплохо, но таким толстяком еще надо родиться.

Меня он заинтересовал потому, что мой подрядчик Дима заявил, что я его неправильно понял, и те деньги, что я ему принес — это только за материалы, а за работу надо еще столько же. А рабочим, как известно, в демократической России надо платить вовремя. Денег у меня уже не было, и я живо представил себе, как мне на живот шлепается утюг.

Вернее, деньги-то у меня были, но в Испании. Там платят с задержкой, так что деньги за прошлый курс как раз должны были подойти, и их было тютелька в тютельку. Так что я собрался с духом, встретился с Димой в полутьме моего сруба и признался: отдать смогу только через месяц, как съезжу с новыми лекциями в Испанию. Он помрачнел, потом подобрел и сказал:

— Из уважения к вам заплачу своими деньгами. Но это вам обойдется в тысячу долларов сверху.

Тут помрачнел я, но напугать Диму мне было нечем. Все же я выторговал себе скидку за то, что сам буду обивать стены досками. Так что следующее лето я был занят приятной, полезной работой. К сожалению, насчет договоренности о скидке Дима начисто забыл. И по глазам видно было, что никак не вспомнит.

Кстати, то лето я работал, как говорится, плечом к плечу с плотниками, которым Дима

должен был заплатить день в день прошлой осенью — своими кровными из-за моей задержки. Он и через полгода им еще не заплатил — ни своими, ни моими.

Плотники эти были хорошие люди, старательные, всему пытались научиться. Мой дом был, похоже, их первым опытом. Главный у них был до этого зав. отделом культуры в РК КПСС. Он был художник, имел образование, очень любил вырубать топором деревянные фигуры. Потому и попал в райком — украсил такими фигурами райкомовскую баню, и областное начальство было очаровано. Второй, самый веселый, был до этого таксистом. Но в связи с демократией такси как общественный институт в России существовать перестало — трудящимся не по карману, Диме такси не нужно, он уже ездил на белой «волге». Подался таксист в плотники и не унывал. Третий вернулся с Севера, был рыбаком. Море и водка сделали его философом, он все время о чем-то думал и говорил с глубоким и неясным смыслом. Стоило ему спуститься в подвал, как оттуда доносился его печальный вздох:

— Да, мы — дети подземелья. Дети подземелья...

Мы толкались вместе в этом срубе, они делали полы и врезали окна, я обивал стены досками, и меня удивляло, что все мы, с таким разным опытом, говорим на одном языке. У нас был один и тот же набор метафор, символов, недомолвок. У кого шире, у кого уже — но барьеров не было. Наша прежняя школа и прежняя жизнь вырастили нас одним народом. Я и раньше это вроде бы знал, когда бывал и на целине, и в колхозе, и на заводе. Но не думал об этом, пока порядком не пожил на Западе.

В общем, сделали эти новые пролетарии свою работу на совесть, как умели. Правда, в одной стене брус почему-то со временем вогнулся внутрь и получилась пугающая впадина. Вот уже пятый год как я пытаюсь понять, каким образом эта стена держится вопреки всем школьным законам физики — ведь проекция ее центра тяжести явно не попадает в площадь опоры. Теперь, впрочем, ничего не видно, я все обшил досками. А потом мы с приятелями создали успокоительную теорию «слабых взаимодействий». Множество маленьких гвоздиков держат стену, как ниточки держали Гулливера. Никуда не денется.

И еще раз пришлось пережить сильные эмоции из-за неопытности моих строителей. Подъезжаем мы с женой осенью к дому и глазам не верим. Смотрю и не понимаю: крыши нет. Жена ахнула:

— Украли!

Нелепая мысль, а ничего другого на ум не пришло. Это был год всеобщей веры во всемогущество мафии — почему же не предположить, что унесла она наш драгоценный алюминий. Однако все оказалось более прозаично. Прибывали таксист да рыбак этот мягкий алюминий, а никаких шайбочек под гвозди не подкладывали. Дунул ветер и снял полкрыши на глазах у изумленных соседей. Хорошо, что унес листы в поле, никому из соседей голову не отрубил.

Но все это было после. А пока что я был счастлив тому, как мужики сделали свое дело. И пол под ногами, и окна есть, и крыша. Так что устроил я новоселье, поблагодарил их, и все мы были довольны. Как наш вечер кончился, я помню смутно. Куда-то мы плыли, как по волнам, в высокой траве, на их «уазике», через болота, пересекая по-партизански какие-то шоссе. В какой-то деревне под утро ели у бабки борщ. Но очнулся я в своем новом доме, с ощущением счастья.

Кстати, работая все лето и осваивая соотношение кубометров и рублей, я не мог отделаться от тревожного ощущения, что всех этих кубометров завез Дима мало. Очень мало. Вдвое меньше, чем выходило по его округленной устной смете. Считал я, считал, поделился сомнениями с плотниками. Да, так и выходило. Какая неприятность. Тем более, что за работу платить столько же, сколько за материал. Что делать, подкараулил я Диму и, стараясь смягчить оскорбительный для него смысл, протянул листок с крупно написанными цифрами.

— Дима, во всем доме и около него имеется вот сколько бруса, досок, стекла и прочего.

— Ну и что?

— Как что! Это же вдвое меньше того, что я заплатил.

Дима доверительно взял меня за пуговицу, вздохнул и признался:

— Сергей Георгиевич! Не хотелось вам говорить. Ведь не только все ваши деньги ушли, я еще и своих уйму добавил. Дай, думаю, получше дом поставлю хорошему человеку. Вы уж

только жене моей не проговоритесь. Она мечтала в отпуск куда-нибудь поехать в Турцию или в Испанию, да уж не придется.

Стыдно мне стало моей жадности. А тут еще Дима меня совсем доконал:

— Но я попрошу вас еще досок подвезти, мне приятель с базы должен. Я вас очень уважаю.

Больше я Диму не видел. Но его слово про доски оказалось крепким. Как-то ночью подъехал к дому огромный трейлер-холодильник, распахнулись его дверцы, и какие-то люди, ни слова не говоря, под холодным дождем начали выкидывать к моим ногам доски. Высохнуть они до лета так и не смогли и покрылись красивой чернотой. Я из них сделал потолок.

* * *

Когда на моем участке возникла деревянная конструкция под крышей, я время от времени стал приставать к моему подрядчику:

— Дима, надо, наверное, оформить дом?

— Как это?

— Ну, бумагу какую-то мне получить, что это дом мой.

— Зачем бумагу?

— Как же — собственность... Священная...

— Ну и владейте. А бумагу-то зачем?

— Откуда же видно, что дом мой? Придет какой-нибудь тип и скажет: «Это моя дача».

— Да вы что, Сергей Георгиевич? Кому такое придет в голову? Все же тут знают, что это ваш дом.

— Так-то оно так, но я думаю, какие-то документы бывают.

— Не знаю, не знаю, зачем вам это. Я, конечно, могу сходить в управление, там у меня все знакомые. Но ведь, Сергей Георгиевич, если дом поставят на учет, вам придется платить налоги. Зачем вам это? Живите лучше, как люди.

Этот аргумент меня отрезвил. Спросил я кое-кого из «людей». Они к затее отнеслись неодобрительно и привели массу разумных доводов.

— Какие документы, ты что? Для этого ты целую комиссию должен привезти, угостить. Есть же какие-то приличия. Куда ты ее привезешь? Ты же сам по доске в дом залезаешь. Не дури.

И стал я жить, как люди. Только в одном пошел наперекор народу — в оплате электричества.

Свет мне провели удивительно быстро, прямо в сруб. Взял с меня Дима деньги («на столбы и проводку»), и — готово. Только книжечку на оплату он мне никак не отдавал, все забывал дома. Когда Дима исчез, я забеспокоился — долг растет, пени. Стал ездить в управление, там копались в каких-то книгах, отсылали в другие кабинеты, успокаивали. Так прошло два года.

На третий год больная совесть заставила меня бросить все дела и идти до последнего — отстаивать мое гражданское право заплатить за свет (тем более, что это были какие-то копейки). Я сказал, что потерял книжку и потребовал выписать новую. Против этой обычной просьбы доводов в управлении не нашлось, и они быстро выяснили, что никакой книжки на меня никогда выписано не было.

— Так вы самовольно подключились к линии! С вас штраф два миллиона рублей!

На это я ответил, что разумную сумму я бы еще заплатил, а за два миллиона буду вопить, как бешеный. Это сочли резонным и указали мне путь к тому, чтобы узаконить мое энергопотребление — в районное отделение «Мосэнерго».

Поехал я туда. Это акционерное общество, похоже, процветало. Бывший барак, в котором размещалась контора, был покрашен и обнесен решеткой. Я подъехал на стоянку рядом со скромной иномаркой, из которой вылезал какой-то иностранный военный в картузе, как у Де Голля. Судя по галунам, генерал. Ничего себе, думаю. Может, на водохранилище какую-нибудь совместную с НАТО летнюю военную школу открыли? Сейчас ничему удивляться не

приходится.

Закрыл машину, иду к проходной. На ней новенький плакат: «Предъявите пропуск в развернутом виде». Но советского человека этим не напугаешь. Открываю дверь в проходную — мать честная! На вахте стоит французский генерал! Рука на никелированном турникете. Как адмирал на мостике.

— Вы куда?

Подчиняюсь какому-то внутреннему голосу, я выпалил:

— Я насчет электричества.

— Проходите.

Слава богу, угадал я пароль в «Мосэнерго». Вхожу в бывший советский барак — снова удар. Стены обложены мрамором. Как его прилепили к корявым кирпичам? Да, повышение платы за электричество пошло энергетике впрок. В коридоре сидит перед компьютером добродушная девица, разбирает на столе какие-то семена. Указала мне кабинет. Там уже попроще, прогресс еще не докатился. Обычные милые женщины нормально пьют чай. Начинаю, как меня учили:

— Строю дом в деревне. Хочу провести свет.

— Пожалуйста. Вот образец заявки. Заплатите за столбы и проводку — и на здоровье.

— А у меня столб есть прямо перед домом.

— Да? Покажите на плане, где ваш дом. Здесь? Да здесь же нет никаких столбов, мы этот край деревни еще не электрифицировали. Мы к вам пошлем техника, он проверит.

Я перепугался. Может, я выдал какой-то секрет? Помчался советоваться. Не шутка — домов двадцать уже три года пользуются всеми благами РАО ЕЭС, а мне говорят, что столбов нет. Спрашиваю у соседей — никто ничего не знает. Наконец, один, из местных, мне говорит:

— Тебя спросят, кто ставил столбы. А ты скажи: Клямкин.

— А кто это Клямкин?

— Неважно. Больше ничего не говори. Да они и не спросят больше ничего.

Так и получилось. Иду к себе — на участке стоит машина. Техник. Посмотрел на столбы, на провода. Зашел в дом. Там счетчик, пломба, все в порядке. Не сказал ни слова, сел в машину и уехал.

Приезжаю я снова в управление, меня отсылают к начальнику. Тот спрашивает:

— Кто ставил столбы?

— Клямкин.

Больше ни о чем не говорили, заполнил я заявку, оплатил столбы и проводку, живу с чистой совестью плательщика.

А другой улице не повезло. Там столбы признали незаконными, заставили собрать деньги и вкопали рядышком новые. Только перевесили провода — какая-то новая комиссия. Оказывается, и эти столбы — незаконные. Снова прибыла техника, и вкопали рядом по третьему столбу. А говорят еще, что в России падает производство столбов.

* * *

Мой ближайший сосед, который наезжал только в картофельную страду, поставил на меже вагончик — где-то раздобыл по случаю. Дверью ко мне на участок. Однажды в вагончике завелись люди — бригада строителей, которая этот вагончик арендовала, оплатив натурой, взявшись недорого поставить домик хозяину. Поскольку эти строители выпрыгивали из вагончика на мою землю и прямо перед моей дверью, они на все лето плотно вошли в мою жизнь. Причем вошли без надрыва, незаметно, но необратимо.

Все они съехались издалека, собрались по зову своего атамана Саши — из-под Винницы, из Мордовии и Таджикистана. Не тащить же с собой инструменты, и они быстро освоили мой арсенал. Уже через неделю стали обычными такие сцены. Поедаю я бесшумно свой обед обедневшего аристократа, вдруг дверь распаивается:

— Дядя Сережа, дайте маленький рубанок.

— Гена, я не знаю, куда он девался, давно его не вижу.

— Не беспокойтесь, я знаю, он наверху.

Лезет наверх и уходит с рубанком. Молодая память, позавидуешь. Помнит, куда положил.

Выйдешь на участок — навстречу Саша с огромным кочаном капусты и свеклой. Готовится варить борщ.

— Дядя Сережа, замечательная у вас капуста. Как вы хорошо огород устроили, я прямо люблюсь.

Разве не приятно иметь под боком таких людей? Никто ведь мой огород никогда не хвалил.

Саша этот был таджик, но давно кочевал по центральной России, всю жизнь был строителем. Теперь осел в Мордовии. Уходя с очередного места, оставлял очередной жене квартиру или дом. Он рассказывал мне о своих сложных семейных отношениях, но уловить нить я не мог — объем моей памяти был мал. Особо мучила его проблема — бить или не бить детей новой жены, если они делают что-то неподобающее. Ведь не бить — это значит как бы не признавать за своего.

Саша был настоящий предприниматель периода первоначального накопления. Правда, каждый год он терял накопленное — или оставлял накопленное покидаемой жене, или нарывался на какое-нибудь несчастье. То машину на дороге отнимут, то дом сожгут. Но это — особенности его личности, а как социальный тип он все делал правильно. Не по Гайдару. Источником его наживы была огромная энергия, знание своего дела и зверская эксплуатация нанятых им рабочих. Брал он с заказчиков очень дешево, делал хорошо и был вне конкуренции.

В бригаде его было три парня как на подбор: сильные, веселые и красивые. Ростислав и Коля-художник с Украины; Гена, только что демобилизованный из воздушно-десантных войск, из Мордовии. И еще был приехавший из пекла, из Таджикистана, Христа ради, зять Саши. Он называл свое таджикское имя, но никто запомнить его не мог и звали его тоже Коля.

Сам Саша вел все дела с заказчиками и поставщиками, руководил работой и варил еду. Видимо, мыслил он в форме диалога и нуждался в доверительном слушателе. Поэтому настойчиво посвящал меня в свои финансовые дела и планы. Строго предупреждая, что его рабочие ничего знать не должны — получают свою фиксированную оплату, остальное их не касается. Они меня и не спрашивали.

По моим понятиям, получали они долю ничтожную, акулы дикого капитализма XVIII века локти бы кусали, узнав о том, какую Саша вышибал прибавочную стоимость. Но, совершенно необъяснимым образом, это ни Гену, ни Ростика с художником нисколько не заботило. Они с рассвета до темноты работали, возвращаясь в вагончик, еле волоча ноги. Изредка веселились, от души и добродушно.

Когда я наблюдал за ними, в моем уме рушились все привычные представления о конфликте труда и капитала. Они все прекрасно понимали, все были люди развитые и довольно образованные (художник даже с высшим образованием) — и никакой классовой ненависти. Иногда казалось, что Сашу они воспринимают как увечного ребенка, которого родителям приходится терпеть.

Один только раз при мне возник «социальный» конфликт со скрытой угрозой, но ни в какие марксистские формулы он не вписывался. Редко-редко Саша позволял ребятам глоток водки или пива. Из приличия звали и меня, из приличия я шел. В эти-то моменты и натягивались струны (возможно, умный Саша специально меня затягивал, как охлаждающий стержень в реактор). В тот раз, разлив борщ, Саша не утерпел и похвастался.

— Вот как я вас кормлю. Посмотрите, дядя Сережа, какой борщ. И окорочка, и сало. Пройдите по другим бригадам, где вы такое увидите?

По мне, так безобидная похвальба, но чего-то я не понимал. Ростик положил ложку и каким-то необычным голосом сказал:

— Ты уже второй раз говоришь, что хорошо нас кормишь. Это — последний раз.

И Саша как будто испугался. Почему? Мой друг, испанский историк, сказал мне потом, что у батраков-поденщиков в Андалусии бывали раньше стычки с хозяином, даже кровавые — но не из-за оплаты или условий труда, а именно когда хозяин начинал хвастать тем, что кормит своих батраков лучше, чем другие хозяева. Значит, и в наших людях возрождаются классовые инстинкты — но батрака, а не пролетария? Проскочили мы целый этап в нашем откате к

«светлому прошлому» — или вообще откат пошел не по тому пути?

Со своей бригадой Саша был нарочито суров. Требовал соблюдать технику безопасности, угрожал:

— Соцстраха у нас нет. Проткнешь ногу гвоздем или прорежешь руку пилой — бери билет и уезжай. Бюллетень тебе никто не оплатит.

Сам он поздней осенью поскользнулся на высокой крыше и упал с высоты десять метров. Сверху на него рухнул Ростик и сломал ему тазобедренный сустав. Следом прилетел лист железа, который был у Ростика в руках, и рассек Саше плечо. Так что он до весны пролежал в гипсе. Но это я узнал лишь на будущий год, когда он заехал повидаться.

В своем деле Саша был настоящим мастером и от всей души старался научить других всему, что знал сам. Успехами своих рабочих гордился больше, чем своей ловкостью предпринимателя. Он признавал, что они уже могли работать сами, но им противно было вести дела с клиентами и считать деньги. Тут нужна была иная хватка.

Стали они делать дом красивой и сложной архитектуры новому застройщику — снабженцу того завода, что содержал футбольную команду. Прибыли дорогие материалы, начали дело споро. Вдруг — остановка. Оказался клиент на мели, поставки прекратились. Саша помрачнел — борщ ребята едят как обычно, зарплата им тоже идет независимо от работы. Ребята, наоборот, повеселели. Утром на речку, потом растянутся у меня на солнечном месте. Смех, философские беседы, Коля-художник даже просил меня купить ему в Москве краски, хотел писать пейзаж. Тут уж антагонизм интересов труда и капитала выявился наглядно.

Две недели прошло, Саша мне говорит:

— Все, Григорьич. Иду объявлять, что включаю счетчик.

Смысл этого выражения я понимал туманно, но выразил сомнение:

— Разве уже пора?

— Да, две недели. Больше не могу, я уже почти разорился.

Помылся, приоделся и пошел. Я думал, ерунда какая-то, обычный скандал. Но нет, видно, клиент нарушил какие-то незыблемые законы. На переговоры собрались все уважаемые люди нашей деревни — упрашивать Сашу «выключить счетчик». Само собой, наш банкир Петр — рассудительный арбитр. Поговаривали, что собирался приехать сам Иоффе, директор завода, хозяин дома, в который ни разу не наведался. Но, возможно, тщеславный Саша насчет Иоффе преувеличил. В общем, счетчик выключили на неделю.

Отсрочка неожиданным образом ударила по мне, хотя я и не жалею. Саша уговорил меня сделать террасу. Я бы и не стал, собирался сам соорудить крыльцо из остатков материала, но он соблазнил, замыслил красивую, необычную конструкцию, да и просил дешево. Понимал, что нельзя людям бездельничать. Работали весело. Я не верил, что получится, что улягутся в одну плоскость такие сложные стропила — ведь все проектировал Саша на палочках. Вышло прекрасно, у всех поднялось настроение.

Только под конец, когда они крыли крышу, вышла у них стычка с Алексеичем, стариком-жестянщиком. Шел он мимо и, слышу, начал ругаться, все больше распаляясь. Саша молчал, потом стал огрызаться. Я выхожу, он уже весь красный, как рак. Оказывается, неправильно кроют. Успокоить Алексеича было невозможно. Вот уже третий год, а он, проходя мимо, каждый раз начинает ругаться и жаловаться.

— Я говорю таджику: «Ты неправильно режешь». Он промолчал, думаю, понял. Я и пошел дальше. А он коварно разрезал все железо.

— Да что уж теперь. Дело сделано.

— Нет не сделано. Я жду, когда сгниет твоя крыша — все равно меня позовешь перекрывать.

— Доживем ли мы с вами?

— Доживем, доживем. Она быстро сгниет.

На ту неделю, что строили террасу, я превратился в клиента, и мой статус резко изменился. Я упал куда-то вбок. Еще вчера эти люди были на моем участке гости, а меня звали уважительно «дядя Сережа» (Коля-таджик даже почтительно называл меня просто «дядя»). Теперь обращение было полупрезрительным — «Григорьич», на «ты». Когда кончилась их работа, вернуться к «дяде Сереже» было как-то уже неловко, и я вдруг стал «Сергей

Георгиевич». Значит, прекрасно знали они мое отчество.

Иногда по вечерам они пели песни — русские и украинские. Коля-таджик не улавливал ни слов, ни мелодии, но его так переполняли чувства, что он начинал не то что подпевать, а подвывать, все более и более страстно. Странное это создавало ощущение. У меня в это время гостил знакомый философ из Германии. Он мечтал познакомиться с Россией, учил русский язык — я и привез его в деревню. Он подружился с этой бригадой, надел телогрейку, сидел с ними у костра, выслушивал их откровения, наблюдал за их отношениями и уехал, полностью перестав что-либо понимать. Он только твердил под конец:

— Это — свободные люди. У вас выросли свободные люди.

Я с ним был согласен, хотя и не уверен, что понимал его. Он был философ-экзистенциалист, разве разберешь, что они понимают под свободой.

Когда немец уезжал, Саша решил устроить ему прощальный ужин на речке. Видимо, и ребятам требовалась разрядка. Всего накупил для шашлыка по-таджикски, водки — обильно и не самой дешевой. Пришли земляки из Мордовии, еще одна бригада, с хорошим гитаристом. Коля-таджик танцевал. Красивая река, осенний лес, красивые люди, резкие силуэты на фоне темнеющего неба. Немца все это потрясло. Он все время пытался мне объяснить:

— Ты посмотри, как они стоят, какие позы.

Мы и вправду этого не замечаем, разве мы думаем об осанке. А ведь на Западе так люди не стоят, там другая красота. Там осанка выражает предупредительность — и отгороженность, независимость. А уж если человек встал в гордую позу, то в ней вызов, а то и скрытая агрессия. А тогда я взглянул на наших мужиков глазами немца и сам удивился: стоят гордо и в то же время не вызывающе, открыто, доверчиво.

Зажигая костер для шашлыка, Саша мимоходом бросил:

— Да будет огонь, как сказал Прометей.

Немец опять дернул меня за рукав:

— Поверь, Сергей, в Германии не найдется ни одного рабочего-строителя, который вдруг сказал бы такую фразу.

При этом он явно не имел в виду турок, говорил о немцах.

* * *

Сложнее всего было утрясти понятие свободы, наблюдая за Колей-таджиком.

Приехал он откуда-то из-под Курган-Тюбе, из самого пекла, с выбитым глазом и поврежденным лицом. Трясся от холода, и я дал ему шинель и мою старую телогрейку. После него она навсегда пропахла запахом горя и бедности. А ведь он в своем городке принадлежал к элите, был фельдшером скорой помощи. Теперь он превратился в какое-то двойное существо. Однажды он собрался в город — кажется, звонить домой. Надел костюм, в котором приехал, галстук. Вышел из вагончика другой человек, его было не узнать — интеллигентный, элегантный, уверенный в себе.

В Коле жила глубокая, животная тоска по советскому строю. Я встречал ее и в других таджиках из «горячих» мест. Стоило ему чуть-чуть выпить, он вступал в любой разговор и без всякой с ним связи вдруг сообщал:

— А у нас старики говорят, что через семь лет Советский Союз восстановится.

О проблеме свободы в связи с Колей я вспомнил потому, что в нем явно созрело неосознанное желание стать рабом. В простом, буквальном смысле слова — при том, что духовно он был человеком именно свободным и даже несгибаемым. Мы по инерции еще этого не понимаем, верим в исторический прогресс, хотя рабство в конце XX века становится общемировой реальностью. У нас наготове отговорка — то Бразилия, Филиппины, а мы же просвещенная страна, поголовно с высшим образованием. На деле-то оказывается, что никаких препятствий к тому, чтобы принять рабство, ни высшее образование, ни просвещение не создают. Но о философии грядущего рабства надо говорить отдельно. Я скажу конкретно о Коле-таджике.

Его сознание сузилось на одной мысли — прокормить пятерых детей, которых он оставил

дома. На «скорой помощи» он получал зарплату 16 нынешних рублей — на пять буханок хлеба в месяц. Вот и пришлось ему найти шурина и попроситься к нему в бригаду. Но это было не фундаментальное решение вопроса. Видно было, что инстинктивно он готов к тому, чтобы продать себя именно в рабство. Если бы нашелся человек, который сказал ему: «Будешь моей собственностью, а я обязуюсь кормить тебя и твою семью», — он бы, думаю, согласился. Да, пожалуй, и русских таких уже немало. К радости нашей демократической интеллигенции. Она велела нам выдавливать раба по капле — а вливала лоханками.

Делать Коля ничего не умел, да и был очень щуплым. Никто в бригаде его не попрекал, кроме Саши (платил-то он). Но дело было не в попреках или прочих мелочах, это была проблема бытия. В Коле проснулась роль раба — он страстно желал услужить всем. Услужить бескорыстно, бесплатно, исходя из сути своего положения, а не по принципу «ты мне — я тебе». Это далеко выходило за рамки и благодарности, и дружеского расположения.

Такое поведение для нас вещь необычная и, я бы сказал, труднопереносимая. Идешь, тащишь на плече лестницу. Тут же откуда-то вылетает Коля, кланяется и начинает у тебя эту лестницу с плеча срывать — он отнесет. Распиливаешь на станке доску — подбегает с умоляющим взглядом, позвольте помочь. Сразу доску перекосит, пилу заклинит, ремень у станка рвется. Сядешь наточить ножовку — он тут как тут. Прощай, ножовка, ее будет трудно исправить. Отказать ему было нельзя, видно было, что в нем что-то происходит, он не в себе.

Когда стало подмораживать, Коля совсем загрустил. С чем он уедет домой? Как-то разрешил вечером Саша выпить, завели в вагончике песни, а Коля пришел ко мне.

— Как жить, дядя? — слезы ручьем из пустой глазницы.

— О чем же вы думали, когда русских гнали и советскую власть свергали?

— Да разве это мы? Это же все из Москвы шло.

— Теперь терпеть надо, быстро не выправить. Видите — собака воеет, а терпит.

Это брошенная кем-то собака, чуя холода, пыталась с воем пролезть через щель ко мне на террасу. Надеялась, что если окажется за дверью террасы, то и в дом рано или поздно я ее пушу.

— То собака. А мы все-таки люди, а не собаки.

— А это, Коля, еще не факт.

Сорвались у меня с языка эти злые слова. Но ведь мы сами уничтожили благополучие и справедливость нашей жизни. Конечно, жалко наших людей, по мере сил надо поделиться телогрейкой и капустой. Но обманывать не хочется, даже совсем уж невинную собаку. От всей души желаю, однако, чтобы отлились слезы из выбитого глаза этого таджика тем, кто обманывал его и ему подобных.

Но я отклонился. Вопрос-то о рабстве и свободе. В одной пьесе про Эзопа финал — это гимн свободе. Обвиненный в краже Эзоп, накануне получивший вольную, может спасти свою жизнь, объявив себя рабом. Но он не желает. Он кричит: «Где тут ваша пропасть для свободных людей!». Посмотрев на Колю, я подумал, что Эзоп так расшумелся потому, что в нем еще бушевала душа раба. И эта гражданская свобода была для него высшей ценностью.

Коля-таджик всю жизнь прожил свободным человеком — это в нем и увидел мой немец, привыкший к гражданскому обществу Запада, к свободе Эзопа. И как свободный в душе человек, Коля ощущает на себе груз ответственности, какой не имеет раб. Он отвечает и за детей, которых родил, не ведая о грядущей демократии. Отвечает за своих стариков, за свой поселок, за Советский Союз, который должен возродиться через семь лет. И чтобы поддержать всю эту жизнь, он готов пойти в рабство. Рабство — терпимое неудобство, небольшое по сравнению с его ответственностью. Это — попытка именно свободного человека, доведенного до крайности и не видящего выхода. Наверное, плохая попытка, но нам, не прошедшим через Курган-Тюбе, еще трудно о ней судить. Мы еще плачем обоими глазами.

* * *

В моем ряду участков, в ближнем окружении, поселились Сергей и Викторы — через одного. Ближайший Виктор редко появлялся — только картошку сажал, приезжал разок с

семьей колорадских жуков вылавливать, а в сентябре выкапывать — сокрушаясь каждый раз ничтожному урожаю. Все лето через заросли бурьяна, скрывавшего побеги картофеля, у меня был прямой контакт взглядом и голосом с Сергеем Викторовичем, известном как Серега.

Могу себе представить, как нелегко было жить в русской общине. Стоит выйти на двор и встретиться взглядом с соседом — и ты втягиваешься в его проблемы, начинаешь переживать его беды. А он втягивается в твои, что тоже не всегда желательно. Но такова наша жизнь, «других соседей у меня нет». Отклонить взгляд — это уже недружественный акт. А поставить высокий забор — почти объявление войны. Заборы созревают постепенно.

Серега в разговоре не излагал связного текста, за нитью его мысли следить было нелегко, сведения он давал внешне противоречивые, как-то по-особому диалектичные. Так что образ его все пять лет, что я его знаю, непрерывно дополняется. Жена его была швеей, потом стала предпринимательницей (он предупредил, что она не любит, когда ее называют портнихой). Наладила она пошив спортивной одежды. Поначалу дела шли хорошо, из этого построили они большой дом. Но когда я утвердился как сосед, уже начался упадок, а потом и кризис (из-за него она и погибла, но об этом я говорить не буду). Она была талантливая, полная сил и жизни русская женщина.

Серега безвылазно сидел в деревне и был мрачен. Он работал в фирме жены — на своей машине развозил продукцию заказчикам. А как начались трудности, она его уволила.

— Представляешь, первого уволила. Говорит, надо со своих начинать. Ну ладно, уволила. А назавтра говорит: поезжай, развези заказы. Да на своей машине. Уволила, так нечего.

Социальный конфликт перерос в семейный.

Раньше Серега был футболистом, один завод содержал их команду, а он на заводе работал (из его туманных высказываний можно понять, что работал для виду). Теперь его мучал радикулит, но он все еще обладал необычной силой — хотя зачем футболисту сила? Может, это было умение собраться с силами.

Его всегда тянуло к людям, и его голос слышался из разных концов деревни. Этот голос обладал способностью пронизывать пространство, ничем не заглушаясь. Ничего из деревни не слышно, а его голос звучит как будто рядом. И интонация его такая, что кажется, там назревает драка. Всегда полон страсти.

Серега всех знал и меня вводил в курс дела — там «композитор» живет (директор-распорядитель эстрадного театра), там «профессор». Махнул на дом моего начальника, который к тому времени был в Вене, занимал очень высокий пост в ООН:

— Там Димка живет. Сейчас его нет, за кордон завербовался.

Это было сказано с большим сочувствием. Мы, мол, тут с тобой на солнышке греемся, а Димка, небось, где-то вагонетку толкает. Завербовался.

Показал на большой дом по соседству:

— Бизнесом занимается. Этой весной обоср...ся.

— В каком смысле?

— В буквальном смысле.

— Как так? Взрослый человек?

— Да так. Все, говорит, кончаю строиться, нет денег.

В Сереге выразилась в преувеличенном виде вся противоречивость нынешнего русского человека. Он тяжело переживал, что «всю страну разворовали», поломали нормальную жизнь:

— На нашем заводе в приемной директора теперь ОМОН сидит — это как? Директор в цех выходит, а с ним телохранители — а?

Похоже, не приемлет Серега эти рыночные реформы. Но вот президентские выборы 1996 г. Как-то перед вторым туром копаюсь я понуро в огороде. Решил Серега, что я переживаю, захотел ободрить, кричит:

— Не робей, Григорыч! Не допустят, чтобы коммунисты власть взяли. — И потом добавил, как о несурзадной вещи — А знаешь, деревенские-то все за Зюганова голосовали. Тут приходит ко мне Петрович, бульдозерист. Ты его знаешь, он часто ко мне ходит. Я, говорит, за Зюганова голосую и тебе советую. А я ему говорю: «Ты что, давно не плакал? Сейчас у меня заплачешь».

А после второго тура сообщил мне:

— Слышал, Петрович-то запил. Из-за Зюганова. Он ведь лечился, два года в рот не брал, а теперь запил. Сейчас все деревенские напились.

Через неделю, смотрю, снова бредет к нему Петрович, а голос Сереги снова стал звучать из разных углов деревни. Наверное, до следующих выборов.

* * *

На окраине города при молокозаводе свой магазин. Покупатели делятся на две очень разные категории. Пенсионеры и вообще те, кому каждый рубль дорог, приходят сюда издалека, с бидончиком и маленькой баночкой — потому что цены процентов на двадцать ниже, чем в обычных магазинах. А очень богатые приезжают издалека, с большими емкостями — потому что все очень свежее и замечательного качества. По пути, бывает, заезжаю и я — по обеим причинам.

Заехал я как раз на другой день после выборов Ельцина в 1996 г. В очереди одни пенсионеры, и обстановка очень напряженная. Администрация района ввела свой налог на продажи. Конечно, незаконно — не имеет она на это права. Но о праве никто у нас не думает, все были оскорблены тем, что цены повысили уже в понедельник — назавтра же после выборов. Слишком уж нагло, хоть бы недельку подождали.

Да и тяжело уже стало даваться всякое повышение цен. Тем более, что в этот магазин люди приходят за два-три километра, и все до копейки рассчитано. Одна старуха даже заплакала — взвесили ей маленькую баночку сметаны, а заплатить не может. И продавщица на взводе, что-то ей неприятное сказала, обратно из чужой баночки не может она сметану отлить.

В очереди стояла целая семья «новых русских». Муж и жена в шелковых тренировочных костюмах, с ними мальчик лет четырех. И вся накопившаяся горечь расстроенных людей полилась на эту парочку. К ним никто, конечно, не обращался, но между собой говорили о них. Они, эти молодые и холеные люди с большими бидонами для сметаны, стали воплощением той силы, что посадила нам на шею Ельцина с Березовским, всю шайку воров и бесстыжую администрацию, которая отбирает последние гроши.

Парочка стояла молча, у мужчины покраснела шея. А мальчик, который вначале весело скакал и щебетал, почувал неладное. Он понял, что люди в очереди настроены враждебно к его маме и папе и говорят про них что-то нехорошее. Он стал снизу вверх заглядывать, как затравленный зверок, в глаза старухам в очереди — то одной, то другой. Вид у него стал несчастный.

Это продолжалось совсем недолго. Люди в очереди как-то заметили, что происходит с мальчиком, и сразу их разговор переменялся. Все одновременно сменили тон, сделали усилие и спрятали свои чувства. Кто-то приветливо обратился к матери мальчика с каким-то вопросом, она охотно ответила. Мальчик понял, что он ошибся, что ему показалось. Все эти люди прекрасно относятся к его маме! И он снова весело запрыгал, стал шалить, успокоился. Заполнив сметаной и творогом свои емкости, семья отправилась к выходу. Перед самой дверью женщина повернулась и слегка, чуть заметно, поклонилась очереди. Мужчина вышел надутый, как индюк.

* * *

Застройщики, с которыми я общаюсь, добыли денег на дом в начале реформ. Они не то чтобы «новые русские», но около того. Другой тип — всякое начальство и бухгалтеры, но они держатся особняком. Номенклатура. У кандидатов в «новые русские» работа, видно, нервная. Отсюда потребление водки намного выше среднего по стране. Это создает для меня некоторые проблемы. Часто то с одного, то с другого участка вызывают в темноте к моему соседу:

— Серега, свежи до городка.

— Не могу, я еще не вышел из состояния.

У меня при этом ноет сердце — придут. Жалко времени, а иногда и денег. Проклятая

рыночная экономика! Магазины открыты 24 часа в сутки. Так и есть, под окном слышится необычно мягкий голос Сереги:

— Сережа! Сережа! Съездим в город, Виктору очень надо.

— Да я уже лег, Сергей. Чего Виктор сам не едет?

— Сам знаешь, чего. А очень надо, Сережа. Ключ надо отдать, он ключ увез, а к нему мать приезжает, в дом не попадет. Поехали, а? Ты один трезвый в деревне.

Аргумент неотразимый. Едем. Для виду заворачиваем в какой-то двор «ключ отдать» и сразу — в магазин.

Если у людей нет денег, они проявляют чудеса дипломатичности. Слышу, Сергей принес жене целый тазик клубники.

— Рита, возьмите клубники, у меня пропадает.

— Да что ты, Сергей, придет Галя, варенье сварит.

— Нельзя ждать, ее лягушки съедят.

— Да разве лягушки едят клубнику?

— Что ты! Всю дорогу ее сосут. На, возьми, пусть Григорьич поест.

И только через день, никак не раньше, просит Серега займы двадцать рублей. Вернее, просит съездить и привезти бутылку.

Молодые более прямолинейны. Услышал серегин зять (тоже, конечно, Сергей), что я позавидовал тем, у кого есть бензопила. Мне надо было выпилить наверху дверь, а ножовкой не очень-то. И через пару дней является ко мне с бензопилой, в сильном «состоянии».

— Сергей Георгиевич, где пилить?

— Не надо, Сергей, я передумал.

— Да что вы, это же один момент.

Дернул шнур, пила взревела, он начал размахивать ею у меня перед носом и требовать, чтобы я определил место двери. Здоровый, до пояса голый, волосы до плеч, на шее золотой крест болтается. Я бы сразу отдал ему его двадцать пять рублей, но нет, нельзя, их он попросил потом как бы невзначай, вне всякой связи с пилой. А пока я должен был натерпеться страху. Дав полный газ, он влез на стул, потерял равновесие и рухнул прямо в проем лестницы. Я его поймал, и это был один из самых мужественных поступков в моей жизни — пила ходила ходуном, и ее путь в воздухе был совершенно непредсказуем. Ну, думаю, сейчас чиркнет себе по бедренной артерии, и одним молодым демократом будет в России меньше.

Однако дверь он выпилил. Вообще он был добрый и бесшабашный парень, в душе артист. Как-то в воскресенье отключился свет. Видно, сломался трансформатор в будке на том конце деревни. Все притихли, сидят по домам, надеются выжить поодиночке. Идет ко мне этот зять:

— Подъедем к трансформатору?

— Не могу, машину начал красить, нельзя прерваться. Да брось, Сергей. Разве ты разбираешься в этом деле? Кто-нибудь починит.

Но он вошел в роль гражданина и тяжело вздохнул:

— Эх, Серега! Никому здесь ни до чего нет дела, кроме нас с тобой. Если не мы, никто и пальцем не пошевелит.

Помню, раньше это называлось «активная жизненная позиция». И пошел, нашел себе все-таки напарника. Тот потом рассказывает:

— Ну, дела. Как Серега открыл будку и сунул голову, у него все волосы туда втянуло. Ну, зрелище.

Однако трансформатор он починил.

Но все же грустно смотреть, как пьет на своих недостроенных дачах эта наша новая элита. Как-то быстро она выдохлась. При этом все понимают, что дело неладно, пытаются оправдаться. Самый уважаемый здесь сосед — Петр. Он банкир, спонсор, спортивный меценат и прочее. У него теория: люди его круга испытывают стресс, и он вынужден раз в неделю приехать в свой нелепый дом и «отдохнуть». Если кто-то говорит об их выпивках, они очень обижаются. Серега мне пожаловался:

— Виктор Николаич-то, слышал? Внуки к нему приехали, он им говорит — с этим не водитесь, он алкоголик. Это он обо мне!

Заботливость Виктора Николаевича умиляет. Он чинно водил мимо моего участка

прогуливать своего дога, больше я его и не знал. Как-то осенью смотрю — лежит он недалеко от моего дома в бурьяне без сознания, а рядом дог. Ну, думаю, с сердцем плохо. Подхожу — дог ощерил такие зубы, что мне осталось только отступить тихо-тихо, не делая резких движений. Никого уже на дачах нет, осень. Нашел одного соседа. Может, говорю, следовало бы пристрелить собаку? Человека спасать надо. А он смеется:

— Все образуется. Вы просто человек здесь еще новый, людей не знаете.

Пошел я к дому, смотрю — никого в бурьяне нет. А на закате Виктор Николаевич, как всегда чинно, повел своего дога гулять.

* * *

Дом мой из бруса, надо обивать его снаружи досками. Встал вопрос, проложить ли под доски толь, чтобы не продувало. В деревне работало несколько бригад строителей — и русские, и украинцы, и белорусы, и армяне. Обошел я их, посоветовался. Общее мнение было такое: рубероид подкладывать не надо, он влагу не пропускает и отсыреет. А пергамин — можно и даже нужно. Так я и сделал.

Участков за шесть от меня жил солидный человек, ходил не торопясь, с белой собакой бультерьером, штука редкая. В деревне он считался профессором. Как раз я прибил очередную полосу пергамина, идет профессор с собакой, на обычную свою прогулку. Вдруг остановился напротив моего дома и строго говорит:

— Что это вы делаете?

— Обшиваю дом.

— Это я и сам вижу. Зачем подкладываете пергамин? Оторвите немедленно!

— Почему?

— Как вы не понимаете? Влага в холодное время будет конденсироваться.

— Да я спросил у рабочих, они сказали, что можно.

— У рабочих? Да вы что! Им же плевать на наши дома. Это же пролетарии. Пролетарий может только весь мир разрушить до основания. А затем? А затем образуется плесень, ваш дом будет гнить.

Профессор разозлился не на шутку. Собака тоже злобно уставилась на меня своими свинными глазками. Я принял виноватый и подавленный вид. Помогло, оба смягчились, профессор даже изложил свою мысль доходчиво:

— Ведь это законы физики. Если вы наденете плащ из пластика, ведь вы вспотеете, не так ли?

— Да, вспотею.

— Ну вот видите. Так же и дом. Оторвите немедленно ваш пергамин.

Я засуетился, скрылся в доме — возможно, за кусачками. Когда выглянул, никого уже не было, и я быстро стал орудовать молотком, закрыл досками черную полосу. Впредь буду осмотрительнее — зачем демонстративно вылезать со своим пергамином, когда нервный человек выходит на прогулку, да еще с бультерьером. Забора-то нет. Но назавтра, хотя я занимался чем-то безобидным в углу участка, профессор не остался на дороге, а вместе со своей свиноподобной собакой полез ко мне прямо через заросли полыни.

— Меня все время мучает вопрос, как же вам оторвать из-под досок те полосы, что вы уже прибили. Теперь это целая проблема. Ума не приложу. Просто не знаю. Может быть, если оторвать верхнюю доску, то каким-то крючком? Что-то вроде багра. Надо еще подумать. Не хочется много досок отрывать.

Я что-то проямлил насчет того, что не такая уж это ценность, дом, чтобы так из-за него переживать. Пусть потеет, лет на пятьдесят хватит. А может, и на будущий год сгорит. Вижу, профессор заподозрил скрытый вызов, и на его высоком лбу вздулась жила. У собаки тут же на загривке поднялась шерсть. Надо же, какое взаимопонимание. Я срочно пообещал, что тоже буду думать, как выйти из положения, в которое я попал из-за доверия к пролетариату.

Как я ни берегся, профессор снова застал меня, когда я предавался пороку — прибывал последнюю полосу пергамина. Почему-то он пошел к речке в неурочное время. Посмотрел,

прошел мимо. Больше со мной не здоровается.

* * *

Стал я копать колодец — не нанимать же людей по таким диким ценам. Вроде бы никаких секретов технология не содержит. Пригласил своего аспиранта помочь — куда ему деваться? Тем более он испанец, приехал изучать Россию, вот пусть и изучает. Наладили ворот, я копаю, он поднимает. Народ подходит глазеть, нет большего удовольствия, чем поглазеть на чужую работу, особенно тяжелую. Дать совет, указать на ошибки.

Углубился я уже далеко вниз, вода под ногами, грязь. Сапоги у меня кирзовые, им уже тридцать лет, швы разошлись. Заливает холодная вода. Кричу снизу соседу, он от моего колодца почти не отходил:

— Сергей, у тебя есть резиновые сапоги?

— Есть, тридцать девятый размер.

Надо же, думаю. Нога как у женщины, а еще футболист.

— Не годится, мне сорок четвертый.

Копаю дальше, настроение неважное. Подходит какой-то старик из деревни, мне неизвестный. Шел мимо, видит — народ глазет. Присоединился, свесился вниз, переговаривается с Серегой. Конечно, считает, что копаю я неправильно. Слышу, Серега вдруг спрашивает старика:

— Погоди-ка, Алексеич! Ты в резиновых сапогах. Какой у тебя размер?

— Сорок четвертый.

— Как раз! Снимай сапоги, кинь ему вниз. Видишь, он в кирзовых, а там уже вода сочится.

Старик засопел, потом с преувеличенным сожалением говорит:

— Не подойдут ему мои сапоги. Тут на левом, видишь ли, дырка. Ее под грязью не видно, но дырка есть. Все равно будет заливать.

Серега хмыкнул, но отковыривать грязь не стал. Старик исчез. Когда я после работы вылез, мой испанец все еще не мог прийти в себя от изумления:

— Зачем этот старик сказал, что есть дыра в сапоге? Разве он обязан дать вам сапоги?

Я бы и не придал этому случаю значения, а тут задумался. Ведь правда, чего бы старику врать и стыдиться. Взял бы да сказал прямо: «С какой стати я буду снимать сапоги и отдавать их этому типу, которого я знать не знаю?». Но такое ему и в голову не пришло, а если бы он так сказал, то всех бы удивил. И так он ушел со слегка подмоченной репутацией.

Когда я потом читал в Испании лекции о русской культуре и излагал представление о собственности, я рассказал со этом старике и его сапогах. По лицам я понял, что мне не поверили, и больше использовать этот пример не стал.

* * *

В деревне коров нет, поехал я за молоком на шоссе, в село. Выставляют там перед домом на табуретке трехлитровую банку с листком бумаги — значит есть молоко. Около ближайшей банки, уже с молоком, сидит парень. Я подошел.

— Почему молоко?

— Двадцать рублей.

Я полез за деньгами. Он вдруг говорит:

— Возьмите за восемнадцать.

Я сунул деньги обратно в карман и спрашиваю:

— Что, старое? Кипятить нельзя?

— Нет, только что подоили.

— Так почему же сбавляешь?

— Мать сказала, если брать не будут, проси восемнадцать. Что-то сегодня плохо берут.

- Так ведь я же и за двадцать брал.
- Ну, как хотите. Я и за восемнадцать отдам.
- А еще говорят, что наш народ не созрел для рыночных реформ.

* * *

У меня работали два человека с Волги, приводили в порядок верх дома — зашивали там все досками, делали карниз. Поставили леса и бегали по ним, как по дорожке. Все делали с такой скоростью, что я с ужасом понял, что работой их на две недели никак не обеспечу. А они собрались у меня жить две недели. Если у них была задержка из-за нехватки материала, меня охватывало чувство вины. По мне, жить с лентяями как-то легче, хоть и скуднее. Не совсем с лентяями, а так, в меру.

Это я к тому, что, как оказалось, у меня не хватает листа железа, чтобы покрыть карниз. Бросился я на рынки и базы — нет железа. Дефицит. Наверное, Эстония все закупила. Что делать? Я к соседям — нет ни у кого. Потом Серега, видно, сжалился и кричит:

— Есть один лист. Случайно на чердаке нашел, — и выносит мне лист железа. Через пару недель подходит и говорит:

— Ты насчет железа не узнавал? Это ведь не мое железо, а Петра. Он у меня хранить оставлял, а теперь просит вернуть. Водостоки, что ли, хочет делать.

— Сергей, завтра специально проеду по магазинам, пока не встречал.

Проехал — нет железа. Ну, думаю, появится. Водостоки подождут. Проходит еще неделя, снова машет мне Сергей. Я остановил машину.

— Не нашел? Петр такой жлоб оказался, пристал со своим железом — подай ему его лист немедленно. Ты же знаешь Петра.

— Нет, Петра я не знаю, даже не знаю, кто такой. Но железа нет нигде. Слушай, может, он деньгами возьмет? Или я ему лист алюминия куплю, он дороже.

— Да пошел он знаешь куда! Забудь об этом.

Но я не забыл и через неделю вдруг в Москве случайно наткнулся на железо, купил лист. Приезжаю уже в сумерки на участок, кричу Сергея. Он уже увидел у меня на багажнике железо, идет довольный, зятя с собой ведет.

— Вот хорошо, сразу Петру отнесу, пусть подавится, — сняли лист и скрылись с ним за кустами в темноте.

Назавтра вышел я рано на двор, смотрю: Серега у себя за домом тихонько режет железо. Видно, что-то срочное надо было сделать. И хоть приплел он какого-то Петра, видно, мучила его совесть. Это надо же — вынудил долг отдать!

* * *

У меня всегда была мечта — сделать в доме отопление. Котел, батареи. Чтобы спокойно работать дождливой осенью. К тому же появилось в октябре 1993 г. смутное чувство, что полезно иметь теплый дом, куда можно было бы скрыться из вымороженной Москвы. Глупость, конечно. Скорее Москва всю Россию заморозит и разденет. В общем, втемяшилось в голову — сделать отопление. Как известно, ненужные вещи человеку гораздо нужнее, чем нужные. Поэтому я и не пытался воззвать к собственному разуму.

Наконец, на пятый год дом созрел для такого предприятия, а я заработал для него денег. Я чертил схемы, в уме расставлял по местам сгоны и бочата. Купил котел, и каким-то образом, которого я до сих пор не могу объяснить, мы с продавцом засунули его в мои старые «Жигули». Он никак не должен был влезть туда, а мы никак не должны были суметь его поднять. Уже из этого было видно, что суждено мне было довести дело до конца.

Котел хороший, для твердого топлива. Зашел один строитель посмотреть:

— Хороший котел, у меня такой дома, в Мордовии. Вот сюда надо ТЭН врезать, топить электричеством.

— Так ведь дорого выйдет.

— Почему дорого? Надо прямо на провода клеммы ставить на зажимах. У вас нетрудно, провода прямо к окну подходят. У меня дома так же. Я только немного дровами подтапливаю, а так все на электричестве.

— А зачем же дровами?

— Что вы, как можно! Обязательно надо, чтобы из трубы дым шел. А не то люди подумают, что я ворую электричество. Как можно!

Общественное мнение на страже морали.

Делать отопление — нужен был мастер. Сосед свел меня с таким. Звали его Коля, работал он на каком-то предприятии сантехником. Я объяснил ему задачу.

— Сделать можно, почему же нельзя. Только я никогда не делал, а ведь надо схему составлять. Ладно, я поищу мастера, и мы с ним сделаем.

Это мне никак не годилось — расплатиться с двумя было невозможно. Я стал соблазнять Колю.

— Зачем вам еще кто-то? Беритесь сами, а я буду подручным. Две трети цены вам, одна треть мне. А схема у меня уже есть, и не одна.

Коля не устоял, переборол свою скромность, и мы сговорились. Стал Коля ко мне по вечерам приезжать, смотреть на котел, на стены, что-то шептать, загибать пальцы. Так неделя за неделей. Чувствую, боится Коля начинать — и сразу стал он мне симпатичен, потому что я сам такой же.

Наконец начали. Схемы мои негодились, Коля все упростил до предела и, думаю, это был гениальный шаг. Правда, с математикой он оплошал, и у меня после окончания работы осталось такое количество сгонов, муфт и контрагаек, что я после полного прекращения выдачи в России зарплаты надеюсь протянуть какое-то время, распродавая эти ценные изделия (или меняя их на пшено, если деньги вообще отменят).

Работал Коля хорошо — медленно и неуклонно. Прежде чем что-то сделать, подолгу смотрел на то место, куда собирался вцепиться своим ключом. Затягивал гайки и муфты как-то грустно, как будто не хотел сделать им больно. Я слышал рассказы о том, как делали отопление в других домах, и рассказы эти кончались почти рыданием: когда заливали воду, из-под гаек начинало течь. У Коли только в одном месте просочилось несколько капель, он подтянул контрагайку миллиметра на полтора — и все. Хорошо было у него учиться. Он, видимо, мастером себя не считал и свои суждения высказывал как будто сомневаясь. Почему-то от этого они западали в душу.

Часто Коля не приезжал в назначенное время, его посылали на авральные работы. Трижды копал могилы. То тесть у кого-то умер, то двое рабочих сгорели — переливали импортную краску для разметки шоссе, кто-то закурил, краска взорвалась.

— Как же? — спрашиваю. — Наказали кого-нибудь? Ведь надо было объяснить людям. Наверное, к такой взрывчатой краске не привыкли.

— Да нет, замяли дело. Ребята даже оформлены не были, так подрабатывали. Сейчас не то что в застойные времена. Тогда очень трудно было списать человека. Даже корову было трудно списать, если погибнет. Сразу приезжает следователь — как да почему?

— У вас какое предприятие-то, частное уже?

— Нет, что вы! У нас товарищество. Жаль только, что с ограниченной ответственностью. У нас, говорят, ответственность ограниченная, поэтому мы вам, ребята, зарплату платить не будем.

— Как же не платить? Зачем же вы работаете?

— Нам сказали, что каждому купят новые «Жигули» пятой модели. А если кто хочет доплатить, может брать и «шестерку».

— Когда же купят?

— Сказали, как только дела пойдут на лад.

Ну, думаю, Коля, тебе только в рыночной экономике и жить. Товарищество свое он любил, там с рабочими уважительно разговаривали. Только раз пожаловался, что очень устал — три года в отпуску не был.

— В этот раз прихожу к бригадиру: «Егорыч, мне бы в отпуск». А он: «Да зачем тебе?».

«Ну как же, отдыхать-то надо». «Да зачем тебе?» «К матери поеду, крышу ей починить обещал, да и картошку уже пора копать». «Ну ладно, Коля, вот заказ срочный выполним, разметку кончим — и поезжай денька на три». И все равно не пустил. Да еще ночью посылает на шоссе машины караулить. Страшное дело. Подъезжают и требуют солярку. Кричать? Не докричишься. Берут и сливают. Я уж прошу, чтобы не всю.

— А вы что, шоссе строите?

— Не мы строим, а немцы. От них и главный инженер. Хороший старик, веселый. Пиво любит. Сидит весь день в машине и пьет. «Я, — говорит, — в этом деле мало понимаю, а русские инженеры очень хорошие. Я им не мешаю». На дом себе уже здесь скопил, нам фотографию показывал. Выйду, говорит, на пенсию, буду за городом жить.

— Так что, из всей фирмы один этот старик?

— Нет, еще два техника приезжали, машину для разметки налаживали, краску привезли. То ли немцы, то ли эстонцы. Едят очень много. Вы не поверите, легче собаку прокормить, чем такого человека.

— Ну и товарищество. Вы работаете, а деньги немцы гребут.

— Зато шоссе отремонтировали. А то вот у нас в деревне, где мать у меня, не доезжая Вереи, тоже было товарищество, дорогу взялись строить. Директор у них был ошетинец.

— Кто это ошетинец?

— Национальность такая, с Кавказа. Нет, что я говорю, не ошетинец, а этот... Где недавно война была?

— В Чечне.

— Да, чеченец. Собирайте, говорит, деньги с каждого двора. Мы вам асфальт до деревни дотянем. Деньги собрали, он взял и исчез. Где искать, никто не знает. Вот так бывает, это не застойные времена.

Коля явно полагал, что понятие «застойные времена» означает что-то вроде «золотого века», и часто их поминал. Похоже, он и не подозревал, что эти слова ввели почти как ругательство.

Как-то утром в воскресенье Коля приехал немного вялый. Начал было работать, потом бросил и обратился ко мне.

— Извините, как ваше имя-отчество?

Я ответил, слегка, стухнув. К чему бы эта торжественность? Коля действительно встал по стойке смирно.

— Сергей Георгиевич, разрешите опохмелиться. Вчера могилу копал, потом на поминках был, голова болит.

— Ради бога, Коля, но у меня нет ничего.

У меня это вышло виновато, я боялся, что Коля не поверит.

— У меня есть, я привез.

И мы прекрасно провели часок или два. Я достал банку огурцов, у Коли была на закуску шоколадка.

— Не надо, Коля, отвезите детям.

Коля обиделся:

— Неужели вы думаете, что я детям шоколадки не привезу? Я для них ее и покупал. И еще куплю.

Разливая, Коля посчитал нужным объясниться.

— Раньше, в застойные времена я совсем не пил. Вообще в рот не брал. А как алкогольную кампанию Горбачев начал — помните? — и я в ЛТП попал, так и стал злоупотреблять.

— Как в ЛТП? Почему?

— Я тогда еще в деревне жил. Как кампания началась, с нашей деревни надо было двоих в ЛТП направить. Участковый стал ходить, уговаривать. А вы же знаете, что за народ, у каждого какая-нибудь отговорка. Один сарай достраивает, у другого язва. Участковый ко мне. Ты, говорит, парень молодой, здоровый, поезжай на пару месяцев, и заработаешь неплохо. ЛТП в Дорохове, они там на стекольном заводе подрабатывали, по двадцать пять рублей за ночь. А я тогда мечтал мотоцикл купить. Да и как откажешься. Я и поехал. А ведь в ЛТП, знаете, пить

приходится. Люди пьют, неудобно.

Так вот и попал Коля из застойных времен в демократию. И «Жигулей» не дождался. На другой год спросил я у соседа про Колю. Говорит, уволили его. Товариществу такие не нужны. Да и дела у этого товарищества так и не пошли на лад.

* * *

У всякого мало-мальски честного человека, который строит дом, есть навязчивая идея — где-то найти дешевых пиломатериалов. Между соседями ходят легенды: говорят, в Тучкове есть база, очень дешево, надо только найти там какую-то Елену Петровну, она скажет, когда подъехать. Нет, надо ехать в пионерлагерь «Юный моряк», там наладили тайное производство досок и вагонки. И мотаешься все лето по этим тайным точкам, надеешься, а осенью покупаешь на рынке уже дороже, чем в июне.

Но мне и вправду привалила удача. На одном патриотическом собрании случайно разговорился я с каким-то полковником, и он дал мне телефон:

— Попробуйте. Это городок на Волге, военное производство. Но завод у них стоит, и они наладили переработку леса. Люди хорошие.

Позвонил я, люди и вправду хорошие, только попросили уплатить вперед. Встретились мы в скверике с Юрой, отдал я завернутые в газету мои миллионы, стал ждать. Наконец звонят: встречайте. Чудом миновав ночью кордоны ГАИ, перекупщиков и рэкетиров, КАМАЗ привез мне дешевые доски. Правда, не те, что я просил. Юра объяснил просто:

— Сломался у нас станок, только такие были. Ведь лучше, чем ничего. Да это прекрасные доски — смотрите, какие толстые.

Я расстраиваться не стал, мы же не при тоталитаризме живем, когда план — закон. Да и доски впрямь были замечательные, я таких толстых никогда не видел.

Разгрузили, попили чаю, собрались они ехать. Юра говорит:

— Сергей Георгиевич, пропадаем. Возьмите двух человек на пару недель, вам в доме много чего надо делать.

Это был неожиданный и сильный удар. Я ответил слабо:

— Юра, денег нет. Сам понемногу тяну, приятели приезжают. Не смогу я заплатить.

— Заплатите, сколько сможете. Вы не представляете, в каком мы положении, завод стоит, нам дают по сто тысяч, а у всех семьи. Вам карнизы надо делать, полы стелить — вы с этими досками сами не управитесь.

Куда было деваться?

— Ладно, пусть приезжают. Наскребу миллион, пусть на него и сделают, не больше, дешевого мне не надо. Потом пусть живут, может, найдут еще какую работу.

Так приехали ко мне Василий Михайлович, мастер цеха, и его напарник помоложе, Коля. Со своими топорами, в заводских робах и кроссовках. Из-под городка Кулебаки Нижегородской области. А я стал поваром. Правда, мои кулинарные потуги пропали зря, потому что ели они очень мало и как-то нехотя. Мы, говорят, привыкли к картошке и молоку, остальное невкусно. После обеда Василий Михайлович обошел дом, осмотрел.

— Ну, Сергей Георгиевич. Дом хороший, по метражу вы попадаете под раскулачивание.

— Как так? Когда же?

— Когда, вся эта... с демократией закончится.

— Вы оптимист. Но если так, то постарайтесь. Может, под детский сад пойдет.

— Стараться нам не надо, мы и так нормально сделаем. Хорошо не сделаем, это я заранее предупреждаю, а нормально сделаем.

Это меня успокоило — зачем мне хорошо? Я же не на продажу дом строю, главное — чтобы крышу ветер не уносил.

— За работу возьмем по миллиону, меньше нельзя.

Я понял, что спорить с Василием Михайловичем неуместно и даже не заикнулся. Выкручусь.

Эти люди были рабочими особого типа. Может быть, таких нет нигде, кроме России.

Василий Михайлович и Коля работали на авиакосмическом заводе, делали какие-то компоненты из титана и спецсплавов, точная работа. А жили в деревне, вели там свое хозяйство. Странное получилось сочетание.

Распорядок жизни и разговор у них был вроде бы крестьянский. Вставали они с рассветом — и сразу за работу. Работали непрерывно до темноты, за столом не засиживались. Оба были людьми необычно сильными, хотя и худыми.

В то же время у них была необычная для крестьян склонность к точности и хорошему измерению. Мыслили они в миллиметрах, все время у них под рукой были измерительные инструменты. При этом глазомером обладали таким, что никогда бы я не поверил, если бы не видел своими глазами. Работу, которую я бы делал целый час из-за трудности измерения и выпиливания, Коля делал топором за десять минут — и выходило как будто заводского изготовления. Очень большое внимание уделяли заточке инструментов.

Необычным был и способ изъясняться — удивительно точный и понятный, с использованием того, что дало нам образование — понятий физики и геометрии. У меня была коса, но не было кольца, чтобы ее насадить. Не успел я оглянуться, смотрю — коса насажена. Как? Они взяли большой гвоздь в 20 см, толщиной чуть не в палец, и привязали им косу к древку. Буквально — обернули и завязали узлом. Как это вы сделали, как это возможно? Смеются.

Почему я вспомнил косу? Они немного покосили участок — приятно размяться, трава хорошая. Подошел и я, попросил научить. Василий Михайлович за пять минут изложил главные принципы: ось вращения, все углы и траектории, сдвиг вперед при каждом взмахе, допустимые отклонения, смысл каждого изгиба косы. Все настолько понятно и разумно, что я никого, кроме двух-трех лучших профессоров МГУ и нашего сержанта, помкомвзвода, в один бы ряд с Василием Михайловичем не поставил. Тут была видна огромная школа заводского мастера и строгое мышление. Месяц спустя я наблюдал, как учил косить одного юношу мой сосед-банкир. Человек умный и энергичный, сам из деревни, косит прекрасно. Объясняет — вроде все правильно, но все не то. Выделить главное невозможно, понять смысл того или иного правила — тем более. Какая-то каша в голове.

Много вроде бы мелких замечаний слышал я от этих людей, пока мы были вместе, и как-то спокойнее от них стало. А то ведь совсем на душе было муторно — 1995 год. Не читают они никаких газет, не смотрят телевизор. Но рассуждают, в целом, на уровне получше газеты «Правда». Кстати, о своем лично плачевном состоянии ни разу не заикнулись. Что делать, пока не знают, но за всем внимательно наблюдают. И не пожелал бы я Гайдару и Чубайсу попасть к ним в руки, «когда закончится вся эта... с демократией». А в том, что она закончится, они уверены холодно и спокойно.

Сделали они работу и заторопились домой, на сенокос. Постирали одежду, собрались. Остался один день, и я предложил поехать куда-нибудь, отдохнуть. Они говорят:

— Свозите нас на Бородинское поле. Вся жизнь слышим, а побывать не довелось.

* * *

По деревне ходят лошади. Когда приезжает автолавка, они подходят сзади и суют головы через плечи покупателей, норовят откусить от буханки. Женщины пугаются, кричат. Лошади отскакивают, у них виноватые морды. А недавно они выглядели очень элегантно, на них выезжали верхом хозяева, в пиджаках, картузах. Рядом бежали роскошные борзые.

Заправлял конюшней и псарней молодой человек. Кончил он Тимирязевскую академию, потом стажировался на фермера, где-то в Голландии — Ельцин послал его, почти как Петр I. Должен был просвещенный фермер накормить Россию. Но оказалось, некогда. Похоже, что в нашей колхозно-буржуазной деревне он стал единственным дворянином. Более того, ему московское дворянство даже присвоило титул баронета. Как раз за лошадей.

Приехав из Голландии, он не стал, как питомцы Петра, применять полученные там навыки, а завел лошадей и собак и организовал для нового высшего общества псовую охоту. Видимо, клиентами были не только дворяне, но и купцы и кое-кто еще — с золотыми цепями на

шее. Возродил парень русскую культуру: собаки лают, кто-то трубит в рог. Клиент влезает на лошадь, холуй подносит ему рюмку водки. Красота. И вот, поскакали по давно не паханому полю (какие-то «арендаторы» его держат, ждут приватизации). Охота идет на лис. И надо же, из кустов и впрямь выскакивает лиса и мчится через поле, собаки за ней. Охота, удалась, клиенты счастливы. Матерого зверя затравили. Баронета за это получил — не слишком расщедрился предводитель дворянства.

Может быть, дослужился бы наш просвещенный фермер и до барона, но дело его пошло на убыль. На звероферме под Рузой, где он брал рыжих лис, дела пошли совсем плохо, и лисы кончились. Да как-то внезапно. С последним клиентом чуть не сорвалась охота, а ведь клиент крутой. Да и не может дворянин слово нарушить. Так что взял баронет песка, и, как тот ни визжал и ни просил пощадить его седины, но выкрасили его в рыжий цвет. На этом и пресеклась у нас дворянская струя. Устроился баронет в Москве директором ночного клуба. Что ж, надо и эту сферу облагораживать.

Борзые сначала переловили всех кошек на деревне. А недавно забрела ко мне одна на участок. Смотрю, роется в золе от костра. Оказывается, туда кости выбросили, и она обгорелые кости грызет. Пошел я в дом, намочил хлеба в молоке, поставил в миске. Борзая не идет, ей стыдно. Очень гордая собака. Потом все же подошла, поела. Трудно борзым собакам живется в этот переходный период.

* * *

Пишу сейчас этот очерк, и проходят в памяти по кругу все эти люди. Всех их я назвал своими именами, так они срослись с ними в моей памяти — никак не удавалось придумать другое.

За окном холодная уже ночь, подморозило. Все разъехались, вокруг в лунном свете нагромождение огромных темных силуэтов — недостроенные дома. За ними не видно огоньков деревни. Почти никто не смог вдохнуть в эти дома жизнь, нет детей, иссякли силы. Люди устали и сникли. Перестал приезжать покалеченный Саша — нет больше заказов. Приутих овдовевший Серега, совсем пропал его зять. Даже банкир редко и вяло топит свою баню. Всех взяла за горло рыночная реформа. Эти люди остались русскими, а хотели встроиться в чужую жизнь. Они даже не поняли, куда их зовут, и не могли знать, что всех их, как племя, ждет на этом пути глубокая яма.

Октябрь 1998 г.

Примечания

1

Новосельский С.А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России. Календарь для врачей на 1916 г. СПб., 1916. Цит. по: Андреев Е.М., Добровольская В. Воспроизводство, Шабуров К.Ю. Этническая дифференциация смертности. — СОЦИС, 1992, № 7.

2

Цитаты и данные я беру из статьи исследователя Высшей школы социальных наук (Париж), генерального секретаря Ассоциации по исследованию Центральной Азии г-жи Гиссу Джухангири-Жанно "К вопросу о формировании таджикского национального сознания (1920-1930 гг.), опубликованной в журнале «Восток» (1996, № 2).

3

Кстати, согласно данным социологов, в 1992 г. «подавляющая часть опрошенных рабочих, колхозников, сельской и технической интеллигенции не разделяла идей суверенизации страны, 77% опрошенных выразили сожаление о распаде СССР, даже высказались против независимости Таджикистана... Иные настроения овладели политической и хозяйственной элитой, она решительно высказалась за независимость Таджикистана...» (Олимова С.К. Коммунистическая партия Таджикистана в 1992-1994 гг. — «Восток», 1996, № 2).

4

В примечании автор сообщает, что через несколько лет жулики на комбинате общественного питания МГУ были арестованы и осуждены. Но это сделали не путем прямой демократической акции студентов, а чисто правовым способом — следствие, суд, никакого шума. Забастовщики же, судя по статье, хотели именно прямой демократии: бойкот-забастовка-суд на площади.

5

Кстати, на Кубе точно не знаю, а в ЮАР рубщики съедали за день по 10 кг тростника. Это по заказу скупых плантаторов установили социологи. При этом у врачей случился шок — люди съедали в день полтора килограмма сахара, а у них не было ни атеросклероза, ни кариеса. Эти работы побудили нас заняться исследованием биологически активных соединений сахарного тростника. Их вел во Владивостоке И.И.Брехман, изучавший ранее биостимуляторы дальневосточной флоры. Он был фармакологом олимпийской команды СССР, а потом и отряда космонавтов. В кубинском сахаре-сырце обнаружилось очень интересные вещи, даже не верилось.